

Наталия Кравченко

АНГЕЛЫ АДА

СТАТЬИ, ЭССЕ, ЗАМЕТКИ

Приволжское книжное издательство

Саратов

2004

УДК 820/89.09–1(081)
ББК 83.3(0)
К 78

Кравченко Н. М.

Ангелы ада: Статьи, эссе, заметки. – Саратов:
Приволжское книжное издательство, 2004. – 348 с.

ISBN 5–7633–1061–6

В новую книгу Наталии Кравченко вошли статьи о поэтах прошлого и современности разных стран и эпох, которых объединяет мрачное мироощущение и трагическая судьба: А. Блоке, Ф. Сологубе, И. Анненском, М. Цветаевой, Р. Рильке, М. Шкапской, Е. Кузьминой-Караваевой, Н. Гумилеве, В. Маяковском, П. Верлене, А. Рембо, М. Кузmine, В. Ходасевиче, Г. Иванове, И. Елагине, Б. Поплавском, И. Бродском, Б. Чичибабине, С. Чудакове, Л. Губанове, Б. Рыжем, Е. Блажеевском и других. Автор пытается найти ответ на вопрос, каким образом яд отказа («на ваш безумный мир ответ один – отказ») становится мёдом поэзии, отчего нередко лучшие, ярчайшие стихи – это те, с которыми не хочет примириться наше душевное здоровье.

Кроме того, в книгу включены полемические заметки автора о современной поэзии и саратовских поэтах, лирические эссе и юмористические миниатюры.

ISBN 5–7633–1061–6

УДК 820/89.09–1(081)
ББК 83.3(0)

© Н.М. Кравченко

АНГЕЛЫ АДА

(Заметки об одиозной поэзии)

*Ну что тебе надо еще от меня?
Чугунна ограда. Улыбка темна.
Я музыка горя, ты музыка лада,
ты яблоко ада, да не про меня.
Был музыкой чуда, стал музыкой яда.
Ну что тебе надо еще от меня?*

А. Вознесенский

*Бессмертье – это когда
за окном разговор
о ком-то заводят,
и строчкой его дорожат,
и жалость лелеют,
и жаркий шевелят позор,
и ложечкой чайной
притушенный ад ворошат.*

А. Кушнер

*Отвергаю рай, где проститутка свеча!
Выбираю ад, где ангел в снегу!*

Л. Губанов

Представление о поэзии как о царстве сплошной гармонии, как и слухи о её смерти, сильно преувеличены. Жизнь – это единство смерти и вечного возрождения, воли к существованию и тяги к самоубийству, отчаяния и праздника, света и тьмы... «Не разнять меня с жизнью, ей снится/ убивать – и тотчас же ласкать» (О. Мандельштам). «Две области – сияния и тьмы – исследовать равно стремимся мы», – писал Е. Баратынский. И солнечный, дневной мир Пушкина был дополнен в нашей поэзии ночным, тёмным миром Баратынского и Тютчева. Впрочем, и представление о пушкинской гармоничности тоже не совсем справедливо, – достаточно перечитать его стихотворение «Какая ночь! Мороз трескучий...» с жутким описанием орудий пыток, скорченных на кольях мертвецов, котлов с остывшей золой, с грудями пепла, разрубленными трупами... Этой безоглядной смелости, способности идти до конца в выявлении сути вещей учит нас подлинная поэзия.

Иногда мы, фальшивя, думаем, что достигли гармонии, но это значит лишь то, что мы закрыли глаза на обратную сторону дела. Эта ужасная палка о двух концах и есть наша жизнь. «Ни один бинокль на нас не вскинут./ Я себе представить не могу/ жизни, из которой сумрак вынут,» – писал Б. Пастернак. Свет не существует без тьмы. Иначе ты не сможешь определить его как свет. Ангелы стихов не пишут. Ю. Мориц признавалась: «Я очень рано попала в плохую компанию, лет в десять, и поэтому мои собеседники – пьяный божь Гомер, беженец и крутой «заговорщик» Данте, «трибун» подозрительной ориентации Шекспир, «невыездной» возмутитель спокойствия и хулиган Пушкин, безумный Блок...» Дух, как известно, дышит, где хочет. Стихи растут из сора и из «горькой отравы». «Вечно манили меня задворки/ и позабытые богом свалки./ Не каравай, а сухие корки./ Не журавли, а дрянные галки» (Т. Бек). «Восстает мой тихий ад/ в

стройности первоначальной»,– писал В. Ходасевич, воспринимая хаос и дисгармонию жизни как нечто должное и неизбежное. И в другом стихотворении:

Прервутся сны, что душу душат,
начнётся всё, чего хочу,
и солнце ангелы потушат,
как утром – лишнюю свечу.

Вот об этих ангелах, потушивших свечу в мире своей души, падших ангелах поэзии, ангелах мрака и ада и пойдёт речь в этих заметках.

Как я бесстрашно упаду!
Как с дерева орех созревший,
как сук сгоревший, всех согревший...
А если я хочу – в аду?! –

(не помню, чьё это).

1. «Грешен не так, как вы – иначе»

«Погрузился я в тину нечистую/ мелких помыслов, мелких страстей»,– писал Н. Некрасов, с поэтическим бесстрашием и беспощадностью изображавший в стихах самого себя. «Друзья мои, картёжники! Для вас/ придумаю сравненье на досуге...» Эта способность являться на глаза читателю в неприукрашенном и нелестном виде свойственна многим нашим лучшим русским поэтам, среди которых праведников, как известно, не сыщешь. Не устаю удивляться поэтической и человеческой смелости Блока, писавшего:

Я пригвождён к трактирной стойке.
Я пьян давно. Мне – всё равно.
Вон счастье моё – на тройке
в серебристый дым унесено...
И только сбруя золотая
всю ночь видна... Всю ночь слышна...
А ты душа, душа глухая
пьяным-пьяна, пьяным-пьяна...

Это была форма протеста, способ забвения. Он отстаивал суверенное право поэта на внутреннюю свободу. Поэт – это стихия. Он не чета обывателю. Никто, кроме Бога, не смеет судить его.

Есть категория людей, которым доставляет удовольствие смакование грехов великих, уличение их в человеческих слабостях.

Этим самым они как бы уравнивают их с собой. О таких саркастически писал Пушкин Вяземскому: «Толпа жадно читает исповеди, записки, потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении: он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врёте, подлецы: он мал и мерзок не так, как вы – иначе». У этих пушкинских слов много общего со знаменитым стихотворением Блока «Поэты», с блоковской мыслью о противостоянии поэта обывателю, о том, что сами пороки поэтов не чета порокам черни.

Ты будешь доволен собой и женой,
своей конституцией куцей,

а вот у поэта – всемирный запой,
и мало ему конституций!

Пускай я умру под забором, как пёс,
пусть жизнь меня в землю втоптала,
я верю – то Бог меня снегом занёс,
то вьюга меня целовала!

Как-то Корней Чуковский попросил Блока дать ответы на анкету о Некрасове. Последний вопрос был такой: «Как Вы относитесь к распространённому мнению, что Некрасов был безнравственный человек?» Ответ Блока: «Он был страстный человек. Этим всё сказано». Этим и про самого Блока многое сказано. «Свободным взором красивой женщине смотрю в глаза и говорю: «Сегодня ночь. Но завтра – сияющий и новый день. Приди. Бери меня, торжественная страсть. А завтра я уйду – и запою». («В дюнах»).

Что рыдалось мне в шёпоте, в забытии,
неземные ль какие слова?
Сам не свой тогда был я, без памяти,
и ходила кругом голова.

Спалена моя степь, трава свалена,
ни огня, ни звезды, ни пути...
И кого целовал – не моя вина,
ты, кому обещался, прости...

В воспоминаниях Горького есть удивительный по человеческой подлинности рассказ уличной проститутки, которая провела ночь с Блоком, сама того не зная. Голодная и озябшая, она нечаянно заснула в тёплом гостиничном номере, и больше всего её поразило, что Блок, разбудив её, пожал и даже поцеловал ей руку и ушёл, оставив 25 рублей. «Послушайте, говорю, как же это? Конечно, очень сконфузилась, извиняюсь, – так всё это вышло, необыкновенно как-то. Ушёл, а слуга говорит: «Знаешь, кто с тобой был? Блок, поэт – смотри!» – И показал мне портрет в журнале.– Боже мой, думаю, как глупо вышло!»

У Блока есть стихотворение «Унижение», где он передаёт впечатление от посещения публичного дома:

Красный штоф полинялых диванов,
пропылённые кисти портьер...
В этой комнате, в звоне стаканов –
купчик, шулер, студент, офицер.

Этих голых рисунков журнала
не людская касалась рука,
и рука подлеца нажимала
эту грязную кнопку звонка.

Чу! По мягким коврам прозвенели
шпоры, смех, заглушённый дверьми...
Разве дом этот – дом в самом деле?
Разве так суждено меж людьми?

Только губы с запёкшейся кровью
на иконе твоей золотой
(разве это мы звали любовью?!)
преломились безумной чертой...

Ты смела! Так ещё будь бесстрашной!
Я не муж, не жених твой, не друг.
Так вонзай же, мой ангел вчерашний,
в сердце острый французский каблук!

Высокое, прекрасное, чудесное очень часто вырастает у Блока из низменного, вульгарного, убогого. Поэзия волшебного видения, рождающаяся из жалкой обыденщины – это тема его знаменитой баллады «Незнакомка», написанной им в апреле 1906 года в Озерках. Это был захолустный дачный посёлок под Петербургом. «По вечерам над ресторанами...» Какие там рестораны! Скромный железнодорожный буфет, куда Блок любил частенько заглядывать. Он садился на облюбованное место у широкого венецианского окна, выходившего на железнодорожную платформу. Зрелище было унылое: пыльные кусты, рельсы, стрелки, семафоры. Иногда проносились поезда, и тогда платформу заволакивало облако пара. Он медленно пил дешёвое красное вино – бутылку, вторую, третью... Постепенно всё преображалось: и захмелевшие посетители, и сонные лакеи, и случайно забредшая профессионалка с претензией на шик – в помятых шелках и в широкополой шляпе с потрёпанными страусовыми перьями. Из дыма и пара медленно возникала она – единственная и недостижимая. Дело было не в количестве выпитого вина, а в могучей силе вдохновения.

И странной близостью закованный,
смотрю за тёмную вуаль,
и вижу берег очарованный
и очарованную даль.

И перья страуса склонённые
качаются в моём мозгу,
и очи синие бездонные
цветут на дальнем берегу.

В моей душе лежит сокровище,
и ключ поручен только мне.
Ты, право, пьяное чудовище!
Я знаю, истина – в вине.

Это стихотворение, особенно его последние строки часто воспринимают буквально, цитируя при пьяном случае: «Я знаю, истина – в вине». Пошлость мусолила эти стихи о ресторане, вине и девичьем стане, находя в них примирение с собой. Видели доступное, внешнее, при этом зачастую игнорировалось его драматическое содержание. Все знают это достаточно популярное стихотворение, но мало кто понял его до дна. Блоковская незнакомка – это не гоголевская панельная красотка из «Невского проспекта», прикинувшаяся божественным видением и сведшая с ума художника Пискарёва. У Блока всё намного глубже. Там – беспощадное разрушение иллюзий, созданных воображением мечтателя, здесь – сотворение иллюзии во имя свободной мечты, торжествующей над пошлостью. Как писал Блок в статье «Ирония»: «Барахтаясь в канаве, буду полагать, что парю в небесах, захочу – не приму мира: докажу, что Беатриче и Недотыкомка одно и то же. Так мне угодно, ибо я пьян. Пьян иронией, смехом, как водкой».

Это то, что называют солипсизмом: представление о мире как порождении творческого Я, о несуществовании бытия за пределами творческого сознания.

Ты живёшь безумно и погано,
улица, доступная для всех, –
грохот пыльный, хохот хулигана,
пьяной проститутки ржавый смех.

Копошата мерзкие подруги –
злоба, грязь, порочность, нищета.
Как возникнуть может в этом круге
вдохновенно светлая мечта?

Но возникнет! Вечно возникает!
Жизнь народа творчеством полна,
и над мутной пеной воздвигает
красоту всемирную волна.

Ф. Сологуб

У Сологуба это называлось «творимой легендой». Мистерия Сологуба – превращение Альдонсы в Дульцинею, яви в фантазию. «Безумец бедный, Дон-Кихот,/ преобразает в Дульцинею/ он деву будничных работ». Сологуб утверждал: «Данного счастья нет. Есть только счастье творимое».

По жестоким путям бытия
я бреду, бесприютен и сир.
Но зато вся природа – моя,
для меня наряжается мир.

Пусть невозможно что-то изменить в этом мире,

Но что мне помешает
воздвигнуть все миры,
которых пожелает
закон моей игры?

«Стихи вовсе не чувства, как думают люди... они – опыт», – написал когда-то Райнер Мария Рильке .

У Владислава Ходасевича был не только бесценный культурный и стиховой опыт, но был ещё какой-то древний, довременной, тайный и ужасающий опыт: опыт непрекращающихся катастроф, светопреставлений, падений в бездну.

Играю в карты, пью вино,
с людьми живу – и лба не хмурю.
Ведь знаю: сердце всё равно
летит в излюбленную бурю.

София Парнок как-то написала в семейный альбом Ходасевича такие стихи:

С детства помню: груши есть такие –
сморщенные, мелкие, тугие,
и такая терпкость скрыта в них,
что едва укусишь – сводит челюсть.
Так вот для меня и эта прелесть –
злых, оскомистых стихов твоих.

«Муравьиный спирт, – говорил о его стихах Бунин, – к чему ни прикоснётся – всё выедет».

Колочий ветер гонит прах, –
и наших песен злая скука,
язвя, кривится на губах...

Вот как описывает внешность Ходасевича Андрей Белый: «Жалкий, зелёный, больной, с личиком трупика, с выражением зеленоглазой змеи, он мне казался порой юнцом, убежавшим из склепа, где он познакомился уже с червем; вздев пенсне, расчесавши пробориком чёрные волосы, серый пиджак затянувши на гордую грудку, года удивлял нас уменьем кусать и себя, и других, в этом качестве напоминая скорлупчатого скорпиончика». Вторит ему и Цветаева в письме Бахраху: «Ходасевич вовсе не человек, а маленький бесёнок, змеёныш, удавёныш. Он остро-зол и мелко-зол, он – оса, или ланцет, вообще что-то насекомо-медицинское, маленькая отравка».

Насколько этот внешний облик соответствовал внутренней сути – знал лишь он сам. У Ходасевича есть потрясающее стихотворение «Перед зеркалом», где он пристально вглядывается в своё отражение, пытаюсь познать самого себя.

Я, я, я. Что за дикое слово!
Неужели вон тот – это я?
Разве мама любила такого,
жёлто-серого, полуседого
и всезнающего, как змея?

Разве мальчик, в Останкине летом
танцевавший на дачных балах, –
это я, тот, что каждым ответом
желторотым внушает поэтам
отвращение, злобу и страх?

Он сам был не рад себе, сам страдал от своего несовершенства.

Смотрю в окно – и презираю.
Смотрю в себя – презрен я сам.
На землю громы призываю,
не доверяя небесам.
Дневным сиянием объятый,
один беззвездный вижу мрак...
Так вьётся на гряде червяк,
рассечен тяжкою лопатой.

«И с отвращением читая жизнь мою...» – мог бы повторить он вслед за Пушкиным, который единственным светлым пятном оставался для него в Европе. Пушкинским стихом Ходасевич пытается закрыться там от черноты и грязи, что несли в себе войны,

революции, жизненная разруха. Поэт всматривается с пристальным вниманием в людей и явления окружающего мира, даже самые непоэтические, ища способа претворить их в поэзию.

Весенний лепет не разнежит
сурово стиснутых зубов.
Я полюбил железный скрежет
какофонических миров.
И в этой жизни мне дороже
всех гармонических красот –
дрожь, пробежавшая по коже,
иль ужаса холодный пот.
Иль сон, где, некогда единый –
взрываясь, разлетаюсь я,
как грязь, разбросанная шиной
по чуждым сферам бытия.
И, проникая в жизнь чужую,
вдруг с отвращеньем узнаю
отрубленную, неживую
ночную голову мою.

Это стихи из сборника В.Ходасевича 1927 года «Европейская ночь», вышедшего на Западе, где поэт неожиданно для нас раскрывается какой-то гадковатой и мрачной любовью к безобразию ночлежек и чуланов, к парижским инвалидам и клошарам.

Мне хочется сойти с ума,
когда с беременной женой
безрукий прочь из синема
идёт по улице домой.

В своих описаниях парижского дна он порой переходит черту дозволенного: так дико видение старика с его одинокой страстью в подземном туалете, занимающегося онанизмом. «А из соседней конуры/ за ним старуха наблюдает». В этих стихах – попытка передать ощущение всего безвыходно земного, невыносимо человеческого... Это пристрастный и кошмарный комментарий к великой Книге Бытия.

Измученные ангелы мои!
Сопутники в большом и малом!
Сквозь дождь и мрак, по дьявольским кварталам
я загонял вас. Вот они,

мои вертепы и трущобы!
Ох, я не знаю устали, когда
схожу, никем не знаемый, сюда
в теснины мерзости и злобы.

Когда в душе всё чистое мертво,
здесь, где разит скотством и тленьем,
живит меня заклятым вдохновеньем
дыханье века моего.

Я здесь учусь ужасному веселью:
постылый звук тех песен обретать,
которых никогда и никакая мать
не пропоёт над колыбелью.

В стихотворении «Баллада» Ходасевич пишет о «тяжёлой лире», которую вручает ему ангел под штукатурным небом и солнцем в 16 свечей в петербургской комнате с окном на Невский. И комната преобразается в чёрные скалы, а сам поэт – в Орфея.

Я сам над собой вырастаю,
над мёртвым встаю бытием:
стопами в подземное пламя,
в текущие звёзды – челом,

и вижу большими глазами, –
глазами, быть может, змеи –
как пению дикому внемлют
несчастные вещи мои.

И в плавный, вращательный танец
вся комната мерно идёт,
и кто-то тяжёлую лиру
мне в руки сквозь ветер даёт.

И нет штукатурного неба
и солнца в шестнадцать свечей:
на гладкие чёрные скалы
стопы опирает Орфей.

Спускаясь в ад бытия, поэту очень важно оставаться Орфеем. Видеть не только ад повседневности, но и суметь разглядеть ангела в адском мраке.

В конце 90-х годов Михаил Кузмин пережил тяжёлый духовный кризис, который сопровождался чувством вины и стремлением «очиститься», «смыть с души грех». Он пишет в дневнике: «Но как снять тяжесть несмываемого греха, как очиститься? Очищение может быть в странствиях и мытарствах».

После «странствий» по Италии Кузминым овладевают религиозные поиски, основанные на стремлении отречься от «плоти», открыто выраженной чувственности. Он пытался очиститься аскезой и молитвой от того, что в тот момент почитал грехом, пытался заместить чувственные переживания религиозным и мистическим опытом. Но из этого ничего не вышло. Г. Иванов в своих воспоминаниях приводит рассказ Кузмина: «Я даже руки на себя наложить хотел. О самоубийстве стал помышлять. Я даже вериги носил, а грешить не мог бросить. И грех от этого даже как будто ещё слаще становился».

Кузмин сделал последнее решительное усилие: постригся в монахи и почти год провёл в монастыре около Генуи. Постился, спал на досках, изнурял плоть, молился «до кровавого пота». Ночи напролёт простаивал на коленях в тёмной церкви. Однажды он довёл себя до обморока и несколько часов пролежал один на холодном полу. А когда очнулся – увидел ангела. «Не такого, как на картинах, а настоящего ангела. Ангел нагнулся надо мной, взял меня на руки и понёс. Будто я ничего не вешу. И я понял – это он мою душу несёт. Никогда ни прежде, ни потом я не испытывал такого блаженства, такой благодати. И вдруг ангел улыбнулся мне ангельской улыбкой и поцеловал меня прямо в губы. И вернул меня к жизни. Я пришёл в себя и узнал его. Это был мой послушник Джиованни. И в то же время это был ангел. Да, ангел. Ангел принёс меня в

мою келью. Я с ним провёл весь следующий день и ночь. А на второе утро я ушёл из монастыря. Совсем. Навсегда. Я понял, что никакого греха нет. Люди придумали. И больше уже никогда себя не мучил».

Пришёл издалека жених и друг.
Целую ноги твои.
Поначертал вокруг меня свой круг.
Целую руки твои.
Как светом отделён весь внешний мир.
Целую латы твои.
И не влечёт земной кумир.
Целую крылья... плечи твои... губы твои...
На сердце выжжено твоё клеймо:
Любовь.

Только Кузмину, наверное, так удавалось в искусстве претворять земное, греховное, низкое – в чистую духовность своих произведений.

Творчество Фёдора Сологуба, как редко чьё-нибудь другое – заставляет вспомнить старый философский афоризм о том, что святость есть преображённая энергия зла, так же, как красота лежит где-то совсем рядом с земной грязью, гений – со злодейством. Недаром его называли «русским Бодлером», считая, что «цветы зла» – лучшее определение смысла его творчества. Сологубу скучно, как пушкинскому Фаусту, и даже ужасное, порочное, страстное не может вывести его из этой апатии. Он не знает, для чего живёт, не знает даже, живёт ли он вообще, он самому себе – чужой. В его сердце – усталость, опустошённость.

Человек иль злобный бес
в душу, как в карман, залез,
наплевал там и нагадил,
всё испортил, всё разладил
и, хихикая, исчез.
Дурачок, ты всем не верь, –
шепчет самый гнусный зверь, –
хоть блевотину на блюде
поднесут с поклоном люди –
ешь и зубы им не щерь.

Мир людей он воспринимал как звериное царство.

Мы – пленённые звери,
голосим, как умеем.
Глухо заперты двери,
мы открыть их не смеем.

Поэт безжалостно обнажает свой внутренний мир, свои переживания, срывает покровы с самого низменного, в чём не принято признаваться.

В этих жилах струится растленная кровь,
в этом сердце немая трепещет тоска,
и порочны мечты, и бесстыдна любовь,
и безумная радость дика.

Сологуба считали колдуном и садистом. В своих стихах он и бичевал, и казнил, и колдовал. Чёрная сила играла в них.

Когда я в бурном море плавал,
и мой корабль пошёл ко дну,
я так воззвал: «Отец мой Дьявол,
спаси, помилуй, я тону».

Признав отцом своим Дьявола, он принял от него и всё чёрное его наследство: злобную тоску, одиночество, холод сердца, отвращение от земной радости и презрение к человеку. Черти, бесы, сатанята, упыри, недотыкомки, всякая лесная нечисть – любимые персонажи его стихов. «Собираю ночью травы/ и варю из них отвары...» Говорили, что он сатанист, и это внушало жуть и в то же время интерес. Быть сатанистом в те времена было интересным, загадочным, придавало новые краски.

Я жил как зверь пещерный,
холодной тьмой объят,
заветам ветхим верный,
бездушным скалам брат.
Но кровь моя кипела
в томительном огне,
и призрак злого дела
творил я в тишине.
Над мраками пещеры,
над влажной тишиной
скитались химеры,
воздвигнутые мной.
На каменных престолах,
как мрачные цари,
в кровавых ореолах
мерцали упыри.

Сологубу принадлежит открытие дотоле запретного мира в русской литературе 19 века: мира человеческого подсознания, диких страстей страшного мира передонощины, мелкобесья, управляющего человеком. Именно с Сологуба начинается русский модернизм с его огромным миром человеческого зла, отчаяния, цинизма, эпатажа, с выворачиванием сознания наизнанку... Скандальной известности Сологуба во многом способствовали такие элементы его творчества, как болезненная эротика, садические стихи, автобиографические опыты, отмеченные следами садо-мазохического комплекса или низкого бытового натурализма. Все эти вещи написаны под знаком Дьявола, царя всяческой нечисти и нежити, которому Сологуб продал свою душу и к которому обращался в минуты жизненных катастроф:

Не дай погибнуть раньше срока
душе озлобленной моей,
я власти тёмного порока
отдам остаток чёрных дней.
И верен я, отец мой Дьявол,
обету, данному в злой час,
когда я в бурном море плавал
и ты меня из бездны спас.

Для того, чтобы вновь вернуть себе ощущение жизни в пустыне своей тоски и скуки, Сологубу нужно что-нибудь резкое, извращённое, то, что нарушает обычную монотонность.

Люблю летать я в поле оводом
и жалить лошадей,
люблю быть явным, тайным поводом
к мучению людей.

Ему нужна боль, своя или чужая, боль, соединённая с любовью. Он часто говорит о бичеваниях женщины, о «бесстыдных истязаниях», и только та страсть для него сладка, которая соединена с жестокостью. Мазохический «вызов» – стремление к запретному удовольствию ценой унижения, демонстрация собственной униженности – устойчивый мотив его творчества.

Судьба дала мне плоть растленную,
отравленную кровь.
Я возлюбил мечтою пленную
безумную любовь.
Мои порочные томления,
всё то, чем я прельщён,
в могучих чарах наваждения –
многообразный сон.

Анна Ахматова в 1912 году подарила Сологубу свою первую книгу «Вечер» с такой надписью:

Твоя свирель над тихим миром пела,
и голос смерти тайно вторил ей,
а я, безвольная, томилась и пьянела
от сладостной жестокости твоей.

Однако вся эта «демоничность» во многом была у Сологуба напускной. Он хотел таким казаться из уязвлённой гордости, от одиночества, а в душе был нежно-ранимым человеком. Тэффи, которая дружила с Сологубом, писала, что всё искала ключ к этому странному человеку, хотела до конца понять его и не могла: «Чувствовалась в нём затаённая нежность, которой он стыдился и которой не хотел показывать». «У него было много личин, – писал Голлербах. – Он любил иногда прикидываться колдуном, циником, нигилистом, эротоманом, забиякой, сатанистом, ещё кем-то. А внутри него жил простой и хороший русский человек, Фёдор Кузьмич Тетерников». Из письма свояченицы Сологуба 1908 года Ольги Черносвитовой: «Что касается до его «пороков», то стоит побыть 10 минут в обществе этого простого, серого, скромного школьного инспектора, стоит посмотреть на его хозяйственный, старомодный, мещански-бережливый уклад жизни, чтобы сказать несомненно, что «пороки» сии и странности – продукт поэтической фантазии».

А вот София Парнок действительно была одержима пороком запретной страсти и отчаянно боролась с грехом за божественное в себе. Но у неё, как и у Кузмина, ничего из этого не получалось...

Еще не дух, почти не плоть...
Так часто мне не надо хлеба,
и мнится: палец уколоть –
не кровь, а капнет капля неба.

Но есть часы: стакан налью
вином до края – и не полон,
и хлеб мой добела солю,
а он губам моим не солон.

И душные мне шепчут сны,
что я ещё от тела буду,
как от беременной жены,
терпеть причуду за причудой.

О темный, тёмный, тёмный путь,
зачем так тёмн ты и долог?
О, приоткрывшийся чуть-чуть,
чтоб снова запахнуться, полог!

Себя до Бога донести,
чтоб снова в ночь упасть, как камень,
и ждать, покуда до кости
тебя прожжёт ленивый пламень!

Марина Цветаева, подруга Парнок по несчастью (или счастью?) признавалась, что «о земном заплачет и в раю». Не боясь быть, как её предшественница Ева, изгнанной из рая, Марина бесшабашно восклицает:

Заповедей не блюла, не ходила к причастью.
Видно, пока надо мной не пропоют литию,
буду грешить, как грешу, как грешила – со страстью!
Господом данными мне чувствами – всеми пятью!

Цветаевские героини грешат с какой-то истовостью и одновременно с чувством великой и непререкаемой правоты перед людьми и Богом. Даже Богу не даёт она права судить свою любовь:

Ах, далеко до неба,
губы – близки во мгле.
Бог, не суди! Ты не был
женщиной на земле!

* * *

Горечь! Горечь! Вечный привкус
на губах твоих, о страсть!
Горечь, горечь, вечный искус
окончательнее пасть.

Ю. Нагибин в рассказе «Пик удачи» писал, оправдывая свою героиню (прообразом которой была Белла Ахмадулина): «Что общего между какой-то искательницей приключений и человеком, чувствующим груз звёзд и все тайные содрогания мира?»

И Пастернак – о том же:

И сады, и пруды, и ограды,
и кипящее белыми воплями
мирозданье – лишь страсти разряды,
человеческим сердцем накопленной.

* * *

...Но объясни, что значит грех,
и смерть, и ад, и пламень серный,
когда я на глазах у всех
с Тобой, как с деревом побег,
срослась в своей тоске безмерной.

(«Магдалина»)

Меня поразило одно место в «Дневнике Ю. Нагибина», где он с болью пишет о Б. Ахмадулиной, с которой только что расстался. Рана ещё свежа, он страдает и не выбирает выражений. Но... было одно «но», которое возносило эту женщину над всеми её пороками и недостатками. И сам Нагибин прекрасно сказал об этом в своём дневнике. Он представил себе её летящей в самолёте, который вдруг терпит аварию в воздухе. За те 5-7 минут, пока он падает, в человеке просыпается всё низкое, тёмное, непотребное. Нагибин представил себе эту орущую, визжащую, дерущуюся, кусающуюся давилню, которая закупорила сама себе прорыв в хвост самолёта и сама же задыхалась в ней. Этот клубок цепляющихся за жизнь, обуянных звериными инстинктами людей. И только одна фигура, – пишет он, – останется неподвижной, вовлеченной лишь в падение самолёта, а не в человеческое падение. Это будет она, Белла.

«Только побледнеет, только покраснеет твоё дорогое гибнущее лицо, только сожмутся некрасивые детские пальцы, чуть вскинется рыжая голова, но ты не покинешь своей высоты. А ведь в тебе столько недостатков! Ты распутна, в 22 года за тобой тянется шлейф, как за усталой шлюхой, ты слишком много пьёшь и куришь до одури, ты лишена каких бы то ни было сдерживающих начал, ты мало читаешь и совсем не умеешь работать, ты вызывающе беспечна в своих делах, надменна, физически нестыдлива, распущенна в словах и жестах. Но ты не кинешься в хвост самолета!» Это была та внутренняя высота, которую имел в виду Пушкин, когда говорил: «грешен не так, как вы – иначе».

Жан Кокто писал: «Люди наконец поняли: поэт проклят с рождения, обречен на ужасающее одиночество, он – сумасшедший». «Проклятые поэты» – так называется книга французского поэта 19 века Поля Верлена.

Воображение, больное от природы,
сознанию их вернуть стремится смысл и лад.
В их жилах кровь течёт, похожая на яд,
кипящей лавою поток струится алый,
мгновенно пепелит и рушит идеалы.

Поль Верлен, совершивший революцию во французской поэзии, сломав «шею риторике», чья лирика по своей чистоте, непосредственности, музыкальности не имеет себе равных, оказавший огромное влияние на многих русских поэтов (именно Верлену принадлежит строка «Пусть жизнь горька, она твоя сестра», ставшая потом названием книги Б. Пастернака), вёл далеко не благонравный образ жизни.

Он надолго пережил своего друга А. Рембо, и последние его годы были годами бродяжничества и пьянства. Обитатель трущоб, завсегда с кабаками и притонами, он общается со всяким сбродом, ночует на чердаках и подвалах. Его приглашают как шута на роскошные банкеты, чтобы позабавить общество выходками «нового Вийона». И именно в это время начинается расцвет его славы. Верлен становится кумиром молодёжи 80-х годов, которая вдруг нашла его, влюбилась в него и провозгласила «королём поэтов», своим вождем и мэтром. Переводчик многих стихов Верлена Александр Ревич посвятит потом ему стихотворение «Город Верлена»:

...Спасибо, ах, Господи боже, –
и снова знакомый квартал;
случайный пришелец, похоже,
ты здесь до рожденья бывал.
Сидел за столом под маркизой,
прихлёбывал аперитив
и видел, как в сутехи сизой,
глаза в никуда обратив,
в промятом цилиндре, куда-то
ступал, не сгибая колен,
старик с головою Сократа,
нетрезвый блаженный Верлен.
И скрылся на том перекрёстке,
за краем кирпичной стены,
оставив фонарные блёстки,
дожди, подворотни и сны.

Да, Верлен прожил далеко не праведную жизнь. Но вот что сказал о нём Анатолий Франс: «Нельзя подходить к этому поэту с той же меркой, с какой подходят к людям благоразумным. Он обладал правами, которых у нас нет».

Думаю, что в полной мере эти слова можно отнести и к другу Верлена Артюру Рембо, которому была посвящена треть его книги «Проклятые поэты». Если Верлен был необычайно талантлив, то Рембо – в этом мнении сходятся все критики – гениален. Абсолютная уникальность феномена Рембо в двух датах: начало творчества в 15 лет (1869), окончание и уход из него в 19 (1873). Таким образом, всего 5 лет, которые исследователи делят на 3 периода – ранний, средний и поздний, причём поздний – это всё то, что подросток написал в 18 и 19 лет. Но гораздо удивительнее другое, – за эти 5 лет Рембо успел пройти путь, для которого европейской и, в частности, французской поэзии понадобилось целых 50, то есть до середины 20-х годов 20 века. Рембо был преждевременным ребёнком 20 столетия.

Поэзия к тебе сойдёт среди ураганов,
движеньё сил живых подымет вновь тебя, –
избранница, восстань и смерть отринь, воспрянув,
на горне смолкнувшем побудку вострубя!

Поэт поднимется и в памяти нашарит
рыданья каторги и городского дна –
он женщин, как бичом, лучом любви ошпарит
под канонадой строф – держись тогда, шпана!

Он и сам был таким шпаной – вечным скитальцем, бродягой, гаврошем, сбежавшем ещё подростком в Париж из своего захолустного городка Шарлевиля.

В карманах продранных я руки грел свои;
наряд мой был убог, пальто – одно названье.
Твоим попутчиком я, Муза, был в скитанье
и – о-ля-ля! – мечтал о сказочной любви.

Зияли дырами протёртые штаны.
Я – мальчик-с-пальчик – брёл, за рифмой поспешая.
Сулила мне ночлег Медведица Большая,
чья звёзды ласково шептали с вышины.

Сентябрьским вечером, присев у придорожья,
я слушал лепет звёзд; чела касалась дрожью
роса, пьянящая, как старых вин букет.
Витал я в облаках, рифмуя в иступленье,
как лиру, обнимал озябшие колени,
как струны, дёргая резинки от штиблет.

Позже в своём самом знаменитом прозаическом произведении «Пора в аду» Рембо вспоминал то время: «Когда я, бесприютный, изголодавшийся, оборванный, скитался зимними ночами по дорогам, чей-то голос заставлял сжиматься моё окоченевшее сердце: «Слабость или сила – выбирай! Ты выбрал силу».

Рембо ставил перед собой цель – сотворение новой поэзии путём создания новой, исключительной личности. Он считал себя «ясновидцем», которому на роду написано проникать в глубину самых великих тайн человеческой души. В письме к Полю Демени от 15 мая 1871 года Рембо пишет: «Всё дело в том, чтобы сделать душу чудовищной, наподобие того, что компрачкосы делали с лицом. Вообразите человека, культивирующего на своём лице бородавки. Поэт делает себя ясновидцем путём долгого и систематического расстройств всех своих органов чувств. Он ищет самого себя, он пробует на себе все яды, чтобы оставить лишь их квинтэссенцию. Это нестерпимая мука, поэту требуется сверхъестественная сила духа, зато он станет великим больным, великим преступником, великим проклятым – и великим Учёным! Ибо достигнет неведомого».

Это была не просто поэтическая программа, это была программа жизни. С решимостью мученика Рембо шагнул в «огненное кольцо», которое должно было его уничтожить. Путь, который он сознательно себе выбрал, был воистину крестным, как позднее сказал Верлен. Судьба жестоко карает за попытку вырваться за пределы, отведённые человеку.

Ясновидением Рембо называл свою патологическую способность мыслить образами, жить в мире своих фантазмогорических видений, в мире иллюзий. «Я свыкся с простейшими из наваждений, – пишет он в «Алхимии слова», – явственно видел мечеть на месте завода, школу барабанщиков, руководимую ангелами, шарабаны на небесных дорогах, салоны в озёрной глубине, видел чудищ и чудеса...» Причём все эти видения и прорывы в неведомое происходили не без помощи гашиша и опиума, которые расстраивали все органы чувств поэта.

Многие стихи Рембо не поддаются определённому смысловому прочтению и допускают возможность различных интерпретаций. Это «странная лирика», «где каждый шаг – секрет», как выразится 70 лет спустя А. Ахматова. К такого рода стихам относится и его гениальный «Пьяный корабль»(1871). Его можно перечитывать бесконечно. Необычайная насыщенность образов, буйство фантазии, необузданная, изощрённая метафоричность. И поразительная способность воссоздать в стихе свою судьбу, свою поэтическую суть. А ведь в момент его написания Рембо не было и 17-ти лет! Послав это стихотворение по почте прославленному Полю Верлену, Рембо получил восторженный ответ и приглашение к нему в гости, в Париж. Так началась новая стезя его жизни.

Книга Рембо «Пора в аду», посвящённая истории взаимоотношений с Верленом, словно озарена светом адского пламени: «Волшебная дыба! Ура небывалому делу и дивному телу, в первый раз – ура! Очарованье, познание, истязанье! Всё начиналось сплошной мерзостью, и вот всё кончается пламенно-льдыстыми ангелами». Преступная любовь сопровождалась ссорами, доходившими до мордобоя и поножовщины. В одном из полицейских рапортов сообщалось: «Эти двое дрались и терзали друг друга, как дикие животные, чтобы испытать потом радость примирения». Конец всему этому положил выстрел Верлена в друга. Один был отправлен в больницу, другой – в тюрьму. Позже в цикле «Потерянный яд» Верлен подведёт итог их отношениям с Рембо:

От ночей блондина и брюнета
не осталось ни воспоминаний,
ни рубашки общей, ни желаний –
даже кружев солнечного лета.

Рембо пишет стихотворение «Песня из самой высокой башни», в которой 19-летний поэт, как с высокой башни, смотрит на пройденный путь и видит на нём только потери, заблуждения и разочарования.

Отрешён от всего я,
что хлебнул молодым.
Всё страданье бывшее
растворилось, как дым.
Но от жажды тлетворной
стала кровь моя чёрной.

Рембо порывает с прежним миром: «Прощайте, химеры, идеалы, заблуждения! Ищите меня среди потерпевших кораблекрушение...– пишет он в «Поре в аду».– Я, который называл себя магом или ангелом, освобождённым от всякой морали, я возвратился на землю, где надо искать себе дело, соприкасаться с шершавой реальностью...» И после блестящего начала поэтического пути Рембо бесповоротно уходит из литературы, уехав в Африку и занявшись там торговлей. «Когда я вернусь, у меня будут стальные мышцы, загорелая кожа, неистовый взор. Взглянув на меня, всякий сразу поймёт, что я из породы сильных»,– мечтал он. Увы, в реальности всё оказалось иначе.

Ему было очень плохо в его добровольном изгнании. Письма Рембо напоминали ту часть «Божественной комедии» Данте, где поэт описывал круги ада: «Пустыни, населённые тупыми неграми, бездорожье, отсутствие почты и приезжих... Пот льёт по телу ручьями, желудок сводит от боли, мозги плавятся, дела идут хуже некуда... кой чёрт понёс меня в эту проклятую страну! Кой чёрт дёрнул меня заняться торговлей в этом аду!» Он мечтал заработать побольше денег, чтобы вырваться из этого ада, осесть где-нибудь в спокойном месте, жениться, создать семью. Счастье, как известно, надо искать на проторённых дорогах. Какими пророческими оказались заключительные строки

«Пьяного корабля», где, словно каким-то внутренним потусторонним зрением он провидел уже тогда, в 17 лет то, к осознанию чего пришёл в 35 после стольких скитаний и мучений!

Коль мне нужна вода Европы, то не волны
её морей нужны, а лужа, где весной,
присев на корточки, ребёнок, грусти полный,
пускает в плаванье кораблик хрупкий свой.

Вот что, в сущности, нужно человеку. Как поздно он это понял.

Тяжёлая болезнь подкосила Рембо. Злокачественная опухоль, ампутация ноги. Он был вынужден распродать всё, что заработал за 10 лет, за бесценок. К нему едет сестра Изабель, которая самоотверженно ухаживает за ним. Рембо был практически парализован, бредил. Поразительно, но всё это он уже предсказал в своей книге: «Я должен был заслужить ад за гнев, ад за гордыню, ад за сладострастие – целую симфонию адских мук! Я умираю от усталости. Я в гробу, я отдан на съедение червям, вот ужас так ужас! Ах, вернуться бы к жизни! Хоть глазком взглянуть на её уродства. Тысячу раз будь проклята эта отравка! И вздымается пламя с горящим в нём грешником».

В воспоминаниях Изабель есть удивительное место, где она рассказывает о том, как в предсмертном бреду 37-летний поэт всё ждал корабля, который возьмёт его на борт, и бормотал какие-то странные слова, похожие на стихи... Он умер не торговцем – поэтом.

Бориса Поплавского, одного из самых талантливых поэтов русской эмиграции 20-30-х годов, называли «русским Рембо». На чрезвычайно высокой оценке его таланта сходились такие разные, обычно противоположные в своих оценках литературные «зубры», как З. Гиппиус и Н. Бердяев, В. Ходасевич и Г. Адамович. Это был человек-легенда. Многих он коробил какой-то дикой смесью самобытности и испорченности. В нём, казалось, соединялось несколько совершенно разных людей. Атлет с могучими бицепсами, боксёр, посетитель спортивных состязаний и – наркоман со знакомствами в уголовном мире. Хулиган, нередко устраивавший скандалы в литературных гостиных, и – мистик, проводящий сутки за молитвами. Трудно представить, как это всё уживалось в одном человеке. Поплавский – такая же неразгаданная загадка, как и Рембо, имевший большое влияние на него не только как поэт, но и как личность.

Чуть ли не с детства Поплавский употреблял наркотики, о чём можно судить даже по его стихам 18 года: «Караваны гашиша», «Стихи под гашишем».

Мы ходили с тобой кокаиниться в церкви.
Улыбались икон расписные глаза.
Перед нами огни то горели, то меркли.
А бывало, видений пройдёт полоса.

Это было в Москве, где большие соборы,
где в подвалах курильни гашиша и опия,
где в виденьях моих мне кривили улыбки жестокие
стозажных домов декадентские норы.

В ответ на упрёки родителей Борис говорил: «Поэт должен изведать все ощущения».

В Париже Поплавский оказался не по своему выбору: совсем мальчиком его увёз туда отец, бежавший с остатками врангелевской армии. Когда читаешь его стихи – охватывает какое-то первобытное творческое состояние, ощущение первородной творческой мудрости, как у Блока. Нежность, щемящая нота, мотив незащитности перед жизнью.

Мы поняли, мы победили зло,
мы всё исполнили, что в холоде сверкало.
Мы всё отринули, нас снегом замело.
Пей, верный друг, и разобьём бокалы.

Не тратить сил! Там, глубоко во сне,
таинственная родина светает.
Без нас зима. Года, как белый снег.
Растут, растут сугробы, чтоб растаять.
И только ты один расскажешь младшим
о том, как пели, плача, до рассвета,
и только ты споёшь про жалость к падшим,
про вечную любовь и без ответа.

Но были и другие стихи, в которых скандалист и опиоман Поплавский любил щегольнуть своей асоциальностью:

Подписываюсь левою ногою,
сморкаюсь через левое плечо,
вожу с собою истину нагою,
притрагиваюсь там, где горячо.

Каждый вечер Поплавский проводил в «Ротонде» – грязном, полутемном дешёвом кафе, где к двум часам ночи у стоек баров собирался всякий сброд: праздные гуляки, натурщицы, предтечи будущих хиппи – длинноволосые «монпарно», проигравшиеся картёжники, сутенёры... Это был один из кругов парижского дна, парижского ада. Тут словно воскресал Двор Чудес, казалось, сейчас сюда войдёт Франсуа Вийон. Это кафе стало излюбленным местом сборищ эмигрантских поэтов и художников. Поплавскому казалось, что здесь, когда уже не останется в эмиграции никаких журналов и собраний, «в кафе, в поздний час, несколько погибших людей скажут настоящие слова».

Я не участвую, не существую в мире.
Живу в кафе, как пьяницы живут...

«Царевичем монпарнасского царства» назвал Поплавского Николай Оцуп. Он любил, чтобы его слушали, хотя не мог не знать, что этому Монпарнасу были недоступны его рассуждения с цитатами из Валери, Жида, Бергсона, и что его стихи так же недоступны, как и его рассуждения. Единственное, что могло сблизать Поплавского с этими убогими людьми – это то, что и он, и они не вращались в жизнь, не знали ни крепкой любви, ни семьи, ни прочной зависимости человеческих отношений. Поплавскому трудно жилось. Он был очень одинок. В дневнике записывал горькие слова: «Я по-прежнему киплю под страшным давлением, без аудитории, без жены, без детей, без страны».

Шум воды голоса заглушает,
наклоняется берег к воде.
Замирает душа, отдыхает,
забывает сама о себе.

Здесь привольнее думать уроду,
здесь не видят в мученьях его.
Возвращается сердце в природу
и не хочет судить никого.

С 17-ти лет Поплавский вёл дневник, дневник, не предназначенный для посторонних глаз, обнажающий автора сверх всякой меры, где было много шокирующих подробностей, порой омерзительных в своём натурализме. «Зачем такой дневник, Борис?» – спрашивал его друг, Н. Татищев. «А чтобы не впасть в соблазн всегда записывать свою «хорошую» и «прекрасную» личность, чтобы уметь созерцать всё моё безобразие», – отвечал он. Поплавский не боялся писать о «некрасивом», инстинктом зная, что кто пишет одно «красивое», то есть выделяя из области поэзии всё «некрасивое», тот засушивает себя, что случилось с такими поэтами, как Гёте, например, который «засушивал цветы поэзии». Н. Берберова писала в 1939 году о Поплавском: «Лучшее, что осталось от него – это его дневниковая исповедь и те страницы романа «Домой с небес», которые близки к этой исповеди».

Который час? Смотрите, ночь несут
на веках души, счастье забывая.
Звенит трамвай, таится Страшный Суд,
и ад галдит, судьбу перебивая.

Монпарнас, бессонные ночи, изнурительные блуждания, дурные знакомства... Но не только в этом было дело. Поплавский бы остался таким, каким был, везде, в любых условиях, и внутренняя драма его была гораздо сложнее и глубже, нежели печальная история праздного гуляки обычного типа. Кстати, и его обожаемый Рембо был гулякой, да ещё каким. Прошло однако, полвека, и люди того же склада, которые когда-то презирали Рембо, теперь уже, надев очки, изучали каждую его запятую и переплетали его стихи в тысячефранковые сафьяны. Нельзя судить человека по образу его жизни. Поплавский к тому же не только болтал по ночам в кафе. Он целыми днями просиживал в библиотеке, он запоем писал, он часами сидел один и думал. Если бы понятие «работы» сводилось только к тому, что люди должны ходить на службу и добывать средства на пропитание, мир был бы, вероятно, спокойнее, порядочнее и благополучнее. Но, наверное, он был бы и неизмеримо беднее.

Не верю в свет, заботу ненавижу.
Слез не хочу и памяти не жду.
Паду к земле быстрее всех и ниже.
Всех обниму отверженных в аду.

Родовым проклятием многих поэтов было безумие: Батюшков, Апухтин. На зыбкой грани разума и сумасшествия балансировали Хлебников, Белый, Блок. «Не дай мне Бог сойти с ума», – «брезгливо черкнул» Пушкин, узнав о потере рассудка Батюшковым. Никому не стоит зарекаться от сумы, тюрьмы и «жёлтого дома», а уж поэту и подавно, он туда – первый кандидат, «на роковой стоит очереди». «С нами психиатры не справятся», – как писал Кушнер. Подробно осветила этот мир – душевнобольных, обитателей сумасшедших домов – петербургская поэтесса Мария Шкапская (1891-1952). Он был ей хорошо знаком: её отец в последние годы жизни страдал от тяжёлой душевной болезни, сама она училась на медицинском факультете психоневрологического института, работала сиделкой в сумасшедшем доме. В своей автобиографии писала: «Очень тяжёлая наследственность по мужской линии в смысле душевных заболеваний, обеспечивающих

большое внутреннее горение в первой половине жизни и мучительную и трагическую гибель – в конце».

Я была в сумасшедшем доме,
обошла четыре палаты,
где везде на полу линолеум,
а стены обиты ватой.
Безнадёжен покорный ступор,
но, как звери, страшны маньяки,
голос резкий, звучный – как в рупор,
рукопашные схватки, драки.
Это наши младшие братья.
Это наш неокрепший разум
за свои ослепленья платит,
за минутную власть наказан.
Рядом с нашим реальным миром
их особый мир фантастичен,
населённый бесовским клиром,
или тихий, немой, безличный.
Но и в этом мире, как в нашем –
столько боли, столько страданья,
что совсем-совсем неважно, –
за которым есть основанья.

Так о людях, лишённых рассудка, ещё никто не писал. Шкапская как бы реабилитировала этот мир. Она знала его изнутри.

Встала женою Лота –
глаз мне не оторвать.
Зубья стальных решёток,
и в седьмой палате кровать.
Быть мне, быть обречённой!
Если б забыть на миг
этот отцовский крик
в клинике умалишённых.
Крик этот время мерит,
крик мне на кровь клеймом, –
знаю – зубастой дверью
съест меня жёлтый дом.

Она не сойдёт с ума, хотя всю жизнь этого боялась. Получит диплом сиделки, квалифицированной по уходу за душевнобольными, и будет подрабатывать дежурством в клиниках.

Шкапская вся – на грани, на грани фолла. Она писала об утрате девственности, о половой любви, деторождении, абортах, выкидышах, женских разочарованиях. Критика относилась к её стихам с предубеждением, считая их чересчур «физиологичными». Считалось, что женщине неприлично доходить до такой степени откровенности.

Да, говорят, что это нужно было...
И был для хищных гарпий страшный корм,
и тело медленно теряло силы,
и укачал, смиряя, хлороформ.

И кровь моя текла, не усыхая –
не радостно, не так, как в прошлый раз,
и после наш смущённый глаз
не радовала колыбель пустая.
Вновь, по-язычески, за жизнь своих детей
приносим человеческие жертвы.
А Ты, о Господи, Ты не встаёшь из мёртвых
на этот хруст младенческих костей!

«До Вас женщина не говорила так о себе»,– писал ей несколько прибалдевший от прочитанного М. Горький.

Было тело моё без входа,
и палил его чёрный дым.
Чёрный враг человеческого рода
наклонялся хищно над ним.
И ему, позабыв гордыню,
отдала я кровь до конца
за одну надежду о сыне
с дорогими чертами лица.

подавим в себе низкую иронию: поэзия Шкапской потому и поэзия, что запечатлено в ней вечное и подлинное бытие. В её стихах оживает истина женской судьбы.

Ах, дети, маленькие дети,
как много вас могла б иметь я
вот между этих сильных ног –
осуществлённого бессмертья
почти единственный залог.
Когда б ослеплена миражем
минутных ценностей земных,
ценою преступления даже
не отреклась от прав своих.

«Вот между этих сильных ног» – да, это сильно сказано. И у самой Цветаевой с её непревзойдённой лирической дерзостью немного найдётся подобных физиологизмов, поскольку Цветаева мыслила себя всё-таки прежде всего воплощённой душой, которую плоть только обременяет. В стихах Шкапской всё иначе: тут не дух воплощён, а плоть одухотворена, и главное её оправдание – в деторождении, продолжающем род и делающем женщину сопричастной бессмертью.

Под сердцем тепло и несмело
оно шевелилось и жило.
Но тело, безумное тело,
родной тяготы не сносило.
И мне всё больней и жальче,
и сердце стынет в обиде,
что мой нерождённый мальчик
такого солнца не видит.

Не снись мне так часто, крохотка,
мать свою не суди.
Ведь твоё молоко нетронутым
осталось в моей груди.
Ведь в жизни – давно узнала я –
мало свободных мест.
Твоё же местечко малое
в сердце моём как крест.

Что ж ты ручонкой маленькой
ночью трогаешь грудь?
Видно, виновной матери –
не уснуть!

Эта боль о нерождённом ребёнке не покидала её никогда, даже когда родила и вырастила двух сыновей и дочь. Она кричала в своих стихах о том, о чём все женщины обычно молчат. Душа её кричала.

Один из правдивейших наших поэтов Борис Чичибабин (1923-1994), отсидевший срок за «антисоветскую агитацию» (то есть за стихи, которые он доверчиво читал всем, не разбирая людей), в 51 году вернулся из Вятлага в свой родной Харьков. Но первые годы после освобождения были, по его признанию, пострашнее лагерных. Меченый политической статьёй, с тюремным клеймом отверженного, он не мог и помышлять о продолжении учёбы или устройстве на работу. Помог случай: один ценитель чичибабинских стихов, начальник снабжения трамвайно-троллейбусного управления предложил ему место у себя. Отныне здесь, на задворках города, в захламлённом металлоломом, штабелями шпал и катушками провода помещении проходили труды и дни поэта. Он, чей духовный поиск простирался к галактикам Данте и Гёте, Пушкина и Толстого, в своей бухгалтерской конторке ежедневно составлял отчёты, делал заявки, писал деловые письма.

Я был простой конторской крысой,
знакомой всем грехам и бедам.
Водяру дул, с вожжами грызся,
тишком за девочками бегал.
И всё-таки я был поэтом,
сто тысяч раз я был поэтом,
я был взаправдашним поэтом
и подыхаю как поэт...

Это был подлинный поэт, с трагическим видением мира, с вечно кровоточащей душой, «уязвлённой страданиями» своего народа.

Я вижу зло, и слышу плач,
и убегая, жалкий, прочь,
раз каждый каждому палач
и никому нельзя помочь.
Меня сечёт Господня плеть,
и под ярмом горбится плоть,
и ноши не преодолеть,
и ночи не перебороть.

Последняя книжка стихов Чичибабина выходит в 68 году, на закате оттепели. И с тех пор – молчание, полное забвение.

В чинном шелесте читален
или так, для разговорца,
глухо имя Чичибабин,
нет такого стихотворца...

Чуждый сталинским и застойным временам, поэт не вписался и в перестроечную эпоху.

Я верен Богу одиноку
и, согнутый, как запятая,
пиляю всуперечь потоку,
со множеством не совпадая.

За несколько дней до смерти Чичибабина танки России вторглись в Чечню. Услышав это по радио, он – рассказывала потом жена, – как-то задёргался и не своим голосом заорал слова, которых в стихах у него нет. (Редкий случай адекватности событию матерщины, незаменимости, хоть и недостаточности слов. Слаб тут великий и могучий). Чичибабин умер, узнав о Чечне. Он был первой жертвой этой грязной войны. 15 декабря 1994 года перестало биться его сердце.

Мне не надо больше смут и бед,
славы, лени.
Только душу выдохну тебе
на колени.
Упаду на них горячим лбом.
Ох, как больно!
Вся земля – не как родильный дом,
а как бойня.
В первый раз приходит Рождество
в чёрной роли.
Не осталось в мире ничего,
кроме боли.

Незрячая эпоха в упор не видела своего духовного поводыря. («К моей звезде, таинственной, далёкой, иду на свет единственной дорогой, слепого века строгий поводырь»).

Уйдёт вода из рек, и птиц не станет певчих,
и окаянной тьмой затмится белый свет.
Но попусту звенит дурацкий мой бубенчик
о нищете мирской, о суете сует.

Когда за мной придут, мы снова будем квиты.
Ведь на земле никто ни в чём не виноват.
А всё ж мы все на ней одной виной повиты,
и всем нам суждена одна дорога в ад.

Ещё одно мало кому известное имя – поэт 60-х годов Сергей Чудаков. Весьма одиозная, даже криминальная личность. Поэты редко бывают праведниками, но то, что натворил за свою жизнь этот поэт – помимо стихов – тянуло сразу на несколько статей

уголовного кодекса. Он жил один, вольно, как ветер в поле – похабно, грязно, недостойно отпущенного ему таланта, но жил так, как хотел он. Его стихи, отмеченные печатью подлинного неповторимого дарования, открывали нам изнутри злачный мир притонов, ночных клубов, психушек, задворок жизни. А всё, что талантливо и самобытно – имеет право на существование.

Я тебя не ревную.
Равнодушна со мной,
ты заходишь в пивную.
Сто знакомых в пивной.

В белых сводах подвала
сигареточный дым.
Без пивного бокала
трудно быть молодым.

Вне претензий и штучек,
словно вещи в себе –
морфинист и валютчик,
и сексот КГБ.

Кто заказывал принца?
Получай для души
царство грязного шприца
и паров анаши.

Заражение крови,
смерть в случайной дыре.
Выражения, кроме
тех, что есть в словаре.

Я не раб, не начальник,
молча порцию пью,
отвечая молчаньем
на улыбку твою.

Я убийца и комик,
опрокинутый класс.
Как мы встретились, котик,
только слезы из глаз.

По теории Ницше
смысл начертан в ином:
жизнь загробная нынче,
а реальность – потом.

В мраке призрачных буден,
рванувшись цвести,
мы воскреснем и будем
до конца во плоти.

Там борьба без подножки,
без депрессии кайф.
И тебя на обложке
напечатает «Лайф».

Словно отблески молний,
мрак судьбы оттеня, –
это действует морфий
в тебе на меня.

Жизнь посвятив стихам, он был совершенно равнодушен к их судьбе. Писал на чём попало – на обёрточной бумаге, на уворованных из «Ленинки» или у приятелей книжках, или просто надиктовывал их по телефону кому-нибудь и тут же о них забывал, никогда не хранил. Стихи отправлялись в путешествие – наподобие записки, которую терпящий кораблекрушение запечатывает в бутылку и без всяких надежд бросает в море.

Отец, генерал, рано умер, оставив Чудакова в унаследованной огромной квартире, которую тот превратил в богемное гнездо. Гости дамского пола оставляли на стенах отпечатки своих босых ступней.

Ничего не выходит наружу.
Твои помыслы детски чисты.
Изменяешь любимому мужу
с нелюбимым любовником ты.

Ведь не зря говорила подруга:
– Что находишь ты в этом шуте?
Вообще он не нашего круга,
неопрятен, живёт в нищете.

Я свою холостую берлогу
украшаю с большой простотой.
Обвожу твою стройную ногу
на стене карандашной чертой.

Не хочу никакого успеха –
лучше деньги навеки займу.
В телевизор старается Пьеха,
адресуется мне одному.
Мне бы как-нибудь лишь продержаться
эту пару недель до зимы.
Не заплакать и не рассмеяться,
лишь бы в клинику не увезли.

Впоследствии на даче одного профессора марксизма Чудаков организовал любовное шоу и угодил сначала в тюрьму, а потом в психушку, причём жёсткого режима.

Когда я заперт в нервной клинике,
когда я связан и избит,
меня какой-то мастер в критике
то восхваляет, то язвит.

Направо стиль, налево образы,
сюда сравнение, там контраст.
О боже, как мы все обосраны.
Никто сегодня не подаст.

В своём нежелании зависеть материально от советской власти Чудаков дошёл до сутенёрства: продавал девиц знаменитостям и сотрудникам республики Чад. Он был истинным юродом, соединявшим в себе плутовство, талант и сумасшествие. Он сам вывел формулу своей жизни: «Амплуа сутенёра,/ продолжение отбора,/ положение актёра/ на подмостках позора». Пётр Вегин пишет, что Чудаков предал свой талант ради похоти. Это не так. Очевидно, с Музой он был безупречней, чем с людьми. Муза так же капризна, как и слава. И часто благосклонна не к «молодым и политически грамотным», а к обитателям социального дна. Её не смущают в избранниках ни бомжовые привычки, ни профессиональное занятие воровством, ни регулярное посещение публичных домов. Она не прощает лишь одного – корыстного к себе отношения. А Чудаков был безогляден и бесшабашен в своём разгуле.

Его стихам свойственна рефлексия и самоирония.

Поставлю против света
недопитый стакан.
На ёлочках паркета
гуляет таракан.

Я в замке иностранном,
как будто Жанна д`Арк.
Система с тараканом –
домашний зоопарк.

Положен по закону
простой советский быт.
Ушами к телефону
приклеен и прибит.

Я вижу в нём препону.
Не надо ждать звонков.
Никто по телефону
не скажет: Чудаков.

Ещё на полкуплета
литературный ход.
На ёлочках паркета
встречаю Новый год.

В начале 70-х Чудакова судили за растление малолетних и за активное участие в рынке юных наложниц. Он был едва ли не крупнейшей персоной в этом предприятии и стриг с него большие купоны. Процесс был скандальный.

Во время судебного заседания, улучив момент, когда речи и страсти блюстителей закона достигли апогея, а бдительность конвойных притупилась, Чудаков сиганул прямо со скамьи подсудимых в окно, – ищи-свищи, поминай, как звали. А в лютом декабре 73-го по художественным столичным кругам прошёл слух, что известный библиотечный вор и поэт, знаменитый сутенёр и великий знаток живописи и кино Сергей Чудаков замёрз в московском подъезде. На эту весть оперативно откликнулся из США его полный антипод

– не только в географическом, но и в метафизическом понимании этого слова – И. Бродский (когда-то – до его отъезда – они были приятели). Это стихотворение называлось «На смерть друга»:

...Имяреку, тебе, сыну вдовой кондукторши, от
то ли Духа Святого, то ли поднятой пыли дворовой,
похитителю книг, сочинителю лучшей из од
на паденье А.С. в кружева и к ногам Гончаровой,
слововержцу, лжецу, пожирателю мелкой слезы,
обожателю Энгра, трамвайных звонков, асфodelей,
белозубой змее в колоннаде жандармской кирзы,
одинокому сердцу и телу бесчётных постелей.
Да лежится тебе, как в большом оренбургском платке,
в нашей бурой земле, местных труб проходимцу и дыма,
понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке,
и замёрзшему насмерть в параднике Третьего Рима.
Может, лучшей и нету на свете калитки в Ничто.
Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей не надо,
вниз по тёмной реке уплывая в бесцветном пальто,
чьи застёжки одни и спасали тебя от распада.
Тщетно драхму во рту твоём ищет угрюмый Харон,
тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно.
Посылаю тебе безымянный прощальный поклон
с берегов неизвестно каких. Да тебе и не важно.

Но Чудаков, в своём путешествии по дну советской помойки десятки раз подвергавшийся смертельной опасности, и тут изловчился и обманул судьбу. Он воскрес в своём бесцветном пальто уже в новом качестве и амплуа. Амплуа педагога МХАТА.

Он мог обмануть советскую власть, но не новый беспредел. «Лица кавказской национальности», которым он сдавал свою квартиру, оставаясь жить на кухне, свели с ним за что-то счёты: растворили в кислоте на помойке. От него не осталось ни последней даты, ни единой фотографии, ни одной опубликованной строчки. Вот одно из последних его стихотворений:

Ипполит, в твоём имени камень и конь.
Ты возжёт в чреве Федры, как жжёнку, огонь.
И погиб, словно пьяный, свалившийся в лифт.
Персонаж неолита, жокей Ипполит.

Колесницы пошли на последний заезд.
Зевс не выдаст, товарищ Будённый не съест.
Только женщина сжала программку в руке,
чуть качнула ногою в прозрачном чулке.

Ипполит, мы идём на смертельный виток!
Лязг тюремных дверей и сверканье винтовок.
Автогонщик взрывается: кончен вираж,
всё дальнейшее – недостоверный мираж.

Хотелось бы подытожить эту горькую судьбу строчками Б. Ахмадулиной (сказанными, правда, о другом поэте):

Никто не покарает, не измерит
вины его. Не вышло ни черта.
И всё же он, гуляка и изменник,
не вам чета. Нет. Он не вам чета.

Мало кто знает, что так называемые «либеральные» 60-е обернулись постоянной гражданской казнью для целого поколения поэтов, которым сегодня было бы 60. Было бы, но уже никогда не будет. К имени Сергея Чудакова можно в этом смысле присоединить имя ещё одного «падшего ангела» нашей словесности – основателя «Самого Молодого Общества Гениев» (СМОГ) Леонида Губанова.

Мы повержены, но не повешены,
мы придушены, но не потушены,
и словами мы светимся теми же,
что на белых хоругвях разбужены.

Что концы наши в наших истоках,
и что нет отречения и страха.
Каждый стих наш – преступной листовкой,
за который костёр или плаха!

Поколение Губанова было удушено в колыбели, но их первые бунтарские крики всегда будут звучать эхом в истории.

Прошлое! Ты думаешь, я жалею на настоящее?
Это настоящее? Нет, хоть убей!
Пусть мы пропащие, но – парящие,
как пара влюблённых тех голубей.

«Замолчанным поколением» назвала его Ольга Седакова. А критик Наталья Иванова – «поколением с перебитыми ногами».

И смех недужный, смех недужный
стоит у века за спиной.
И наша гениальность дружит
со шлюхой, водкой и виной.
Таланты пропадают без вести.
Ни слова вам, ни похоронной.
Роскошный катафалк из бедности
увозит их сердца холодные.

* * *

Гори, костёр, гори, моя звезда!
И пусть, как падший ангел, я расстрелян,
но будут юность в МВД листать,
когда стихи любовницы разделят.
А мне не страшно, мне совсем светло,
земного шара полюбил я шутки...
В гробу увижу красное стекло
и голубую подпись незабудки!

Его называли Есениным 60-х, сравнивали с поэтическим ангелом Франции Артюром Рембо, называли прямым преемником раннего Маяковского. Всё это в равной степени верно и в равной степени далеко от музыки Губанова. Интуитивный гений, «инфант террибл», культовая фигура московской богемы. «Образцовая» поэтическая судьба: пьянство, дурдом, смерть в 37 лет.

Нет ни двора и ни кола,
но всё равно счастливой тенью
звоню во все колокола
растерянному поколенью.

Мне хорошо на островке
своей души неизмочаленной.
Как Бонапарт, я налегке
ношу лицо своё печальное.

Это был подлинный самородок. Гениальные строчки, правда, шли у него в Ниагаре словесного потока, где было много и пены, и мусора, и он не всегда умел отличать одно от другого, но его уникальная талантливость была несомненна даже для тех, кто считал его психом и алкоголиком. Это был самородок крупный, редкой породы, необработанный, в принципе шлифовке не поддающийся.

Неровен час, как хлынет ливень,
по сердцу чаш, по чашам лилий.
Неровен час.
Задрезжит стекло у мамы,
заплачет в тридцать три ручья –
ах, твоему сынку ума бы.
Неровен час.
Уже довольно сердце билось
и красною подушкой стало
для всех – кому сестра немилость,
для всех, кому жена – усталость.
Мир вспоминает о Нероне,
а я о хлебе не дослушал.
Неровен славы час – неровен,
и этот день, и дождь досужий.
Ни первый, ни последний – новый.
Так выпьем, господа, лучась.
Неровен час, как хлынет слово –
неровен час!

В этих неистово-истовых строчках – и есенинская надрывность, и «священное безумие», и потайной смысл.

У вас погашены лампы,
и тёмный ангел к вам спешит
не от ликующего сада –
от окровавленных вершин.
Он вам предложит спелых вишен

и будет комплименты нежить...
А я один в дорогу вышел
на фонарях надежды вешать.

Его поэзия абсолютно самобытна и неповторима. Он первичен. Он создал собственный уникальный поэтический мир. Там его царство, его свобода, его явь, а реальность мирская, людская существовала лишь для того, чтобы, ненароком в неё ворвавшись, порезвиться, покуролесить, замутить стоячую воду. Его строки подчас – нескрываемо эпатирующие, скандальные, не вмещающиеся ни в какие каноны:

Ты вошла, разодета...
Много вас, лебедей и блядей.
Я устал, дайте мне для клозета
что-нибудь мягкое из жизни великих людей!

* * *

Теперь мне хоть корону, хоть колпак –
едино – что смешно, что гениально.
Я лишь хотел на каждый свой кабак
обзавестись доской мемориальной!

Губанова таскали на допросы, запирали в психушки – эти идеологические душегубки эпохи развитого социализма, куда швыряли поэтов, неудобных для светлого будущего.

Спрячу голову в два крыла.
Лебединую песню прокашляю.
Ты, поэзия, довела,
донесла на руках до Кащенко.

* * *

Я провел свою юность по сумасшедшим домам,
где меня не смогли разрубить, разделить пополам...

По темпераменту, стихийности, надрыву, да и по масштабу дарования Губанов был как никто близок Есенину. Есенин был его кумиром, богом, учителем. В его стихах многое от этого поэта. Как они неоглядны, просторны, размашисты!

Судьба – как девочка отчаянная,
что на бульвар, пьяна в куски,
а я люблю её случайно,
обняв до гробовой доски!

Имён тенистых не забуду
и слез искристых не пролью.
Я поцелую сам Иуду
и сам Евангелие пропью.

Карета подана! Прощай,
моя неслыханная юность,
мой королевски чёрный чай
и рюмок сладкозвонных лютость.

Прощай, за юбками вранья
моя невиданная наглость;
Я – как старик, что пьёт коньяк,
когда до смерти час осталось.

Его называли великим собутыльником эпохи. «Ищите самых умных по пивным, а самых гениальных по подвалам!» – шокировал он благопристойного читателя. Хотя, впрочем, читателя своего он был при жизни лишён, так что шокировать особенно было некого. «Автографы мои по вытрезвителям, мои же интервью – по кабакам», – ёрничал он. Но в этих иронических строках сквозила горечь.

Прости меня, Москва,
за буйство и за боль –
венчала нас тоска,
а веселит запой.

В середине 60-х Губанов покори́л Москву: ураганом проносился он по мастерским художников и скульпторов, богемным гостиным, студенческим общежитиям, волоча за собой хвост обезумевших поклонниц, безостановочно читая стихи и хмелея от бешеного успеха и водки.

Я хочу сегодня опять напиться
вместе с Дьяволом, там, за уютным столиком,
где вы грустно можете подавиться
непутёво-смешной моей историей. –

писал он в стихотворении «Пьяная церковь».

И когда вы очнётесь в завистливой похоти
и скандалы мои в вас тепло перекрестятся,
будьте прокляты вы, что не стоите ногтя,
что сломал я по пьянке на вашей же лестнице!

Свои первые стихи Губанов прокричал навстречу лошадиным мордам конной милиции, разгонявшей непокорных поэтов, осмелившихся читать у памятника Маяковского тексты, не прошедшие коммунистическую цензуру.

Я наклонюсь над прорубью моей –
о будь ты проклят, камень из камней!
Где вечно подлость будет на коне,
а мы, как хворост, гибнем на огне.

Публичные выступления в кафе, у памятников, в клубах были пресечены, главных героев – кого выслали из Москвы за тунеядство, кого поместили лечиться от шизофрении. Любая сфера письменной деятельности: журналы, альманахи, книги – для смогистов была закрыта.

Вот так и будет в мире булькающем,
судьба историю обточит.
На каждого поэта будущего
трёх палачей рожают ночью.
На каждый крик – шесть пар глухих,
назло провидцу – люди слепнут.
И если бы Христос писал стихи –
он тоже б был отвергнут!

И даже любовь у него – какая-то адская, неистовая, сатанинская.

Ты неизменна и неизменна,
голубка белая моя.
Ты – соль земли, ты кровь вселенной
и родниковая струя.
Ты – узкий след в начале брода,
ты – бред, закованный в тиши.
Ты – жуткая штрафная рота
моей потерянной души!

Твоею испуганной душою
клянусь лебеди за хатой.
Я чистоты твоей не стою,
я зацелован и захаркан.

...Целую ручку у ручья
и волосы у водопада,
когда готовится ничья
греха с заплаканной лампадой.

...Что, душка? Выпьем браги кружку,
мне страшно от любви твоей –
когда в надушенных подушках
греху возводят мавзолей!

...На что мне бред, на что мне лёд?
На что мне брови, как заимка?
Что, если родина убьёт?
Ведь смерть поэта не в новинку.

Любовь к Родине у Губанова не имеет ничего общего с национал-шовинистическим угаром. Это зрячая любовь свободного человека, чья мысль не зашорена, а глаза не завязаны розовой повязкой. Может быть, поэтому тема родины часто переплетается у Губанова с темой палачества, казни:

У берёзок были слезы по очам
белых баб, святых колодцев и хибарок.
Русь стояла на китах да на Иванах,
а в историю плыла – на палачах.

Россия иль Расея,
алмаз или агат...
Прости, что не расстрелян
и до сих пор не гад!

Он умоляет родину не казнить своих лучших сынов:

О родина, любимых не казни,
уже давно зловещий список жирен.
Святой водою ты на них плесни,
ведь только для тебя они и жили.

А я за всех удавленничков наших,
за всех любимых, на снегу расстрелянных,
отверженные песни вам выкашливаю
и с музой музицирую раздетой.

И, тяпнув два стакана жуткой водочки,
увидю я, что продано и куплено.
Ах, не шарфы на этой жирной сволочи,
а знак, что голова была отрублена!

Да, он любил её «странною любовью», то есть самой настоящей и искренней. В стихотворении «Разговор с Россией» он признаётся ей в любви:

Люблю тебя и немую, заржавленную,
люблю тебя и глухую, и грубую,
растерзанную, бухую и глупую.
Люблю тебя в журавлях над зоной,
в предательствах, шептунах и звонах!

Как это у Блока: «да, и такой, моя Россия, ты всех краёв дороже мне». Даже такой. Родину, как и мать, не выбирают.

Раскрасневшись, словно девочки,
розы падают к ногам.
Не меня поставят к стеночке,
наведут на грудь наган.
И на лестницы парадные
брызнет кровь и там, и тут.
Не меня в туманы ватные,
скрутив руки, поведут.
Вся в царапинах и ссадинах,
в присвистах и бубенцах,
моя родина, ты – гадина,
и стоишь на подлецах.

Но даже в этих строчках, бьющих, как хлыстом, наотмашь, больше любви к родине и боли за неё, чем в хвалебных гимнах и панегириках наших записных русолюбов и квасных патриотов, любящих Россию профессионально, без этой всепонимающей, всепроникающей боли.

Я сослан к Музе на галеры,
прикован я к её веслу.
Я стал похож на символ веры,
на свежий ветер и весну.
О Муза, я поклонник грога,
о Муза, я волшебный шаг,
о Муза, я письмо от Бога
и шёпот сатаны в ушах.

В отличие от непубликовавшегося, невостребованного Губанова Борис Рыжий (поэт 90-х) был обласкан вниманием критики и читательским признанием. Частые публикации в столичных журналах, премии Андрея Белого, «Северной пальмиры», «Антибукера», в 20 лет – выход собственной книги, участие в Роттердамском поэтическом фестивале. Но за всем этим внешним анкетным благополучием и преуспеванием роился «страшный мир», мир душевных междоусобиц и смертельных разладов, который Борис Рыжий воссоздавал в своих стихах.

Надиктуй мне стихи о любви,
хоть немного душой покриви,
моё сердце холодное, злое
неожиданной строчкой взорви.
Расскажи мне простые слова,
чтобы кругом пошла голова.
В мокром парке башками седыми,
улыбаясь, качает братва.
Удивляются: «Сколь тебе лет?
Ты, братишка, в натуре поэт».
Это всё приключилось с тобою,
и цены твоей повести нет.
Улыбаюсь, уделав стакан
за удачу, и прячу в карман,
пожимаю рабочие руки,
уплываю, качаясь, в туман.
Расставляю все точки над ё.
Мне в огне полыхать за враньё,
но в раю уготовано место
вам – за веру в призванье моё.

Из ранних «свердловских» стихов Рыжего встаёт образ такого поэта-пацана с окраины индустриального города:

Я на крыше паровоза ехал в город Уфалей
и обеими руками обнимал моих друзей...
И на каждом на вагоне, волей вольною пьяна,
«Приму» ехала курила вся свердловская шпана.

Вся субкультура свердловской горной академии строилась на культе силы во всех её проявлениях. Там учились далеко не рафинированные интеллигенты: один из его группы вскоре погиб в пьяной драке, другой вступил в легион, имя которому – организованная преступность, третий – «присел на наркоту». Было странно, как Рыжий с его интеллектом, душевной тонкостью, ранимостью мог вписаться в подобный социум. Был период, когда он восторженно писал:

Какие люди, боже праведный,
сидят на корточках в подъезде.
Нет ничего на свете правильной
их пониманья дружбы, чести.

И в другом стихотворении:

В том доме жили урки –
завод их принимал...
Я пыльные окурки
с друзьями собирал.
...Но стороною беды
не многих обошли.
Убитого соседа
по лестнице несли.
Я всматривался в лица,
на лицах был испуг.
...А что я не убийца –
случайность, милый друг.

Обладая приклатнённой походкой, уличными манерами, зёковской пластикой и длинным шрамом от бритвы на щеке, будучи чемпионом Свердловска по боксу среди юниоров («я, представляющий шпану, спортсмен-полудебил»), Рыжий тем не менее был человеком совершенно другого уровня и другой закваски, чем это можно предположить по некоторым его стихам. Сын известного учёного-ядерщика, аспирант университета с красным дипломом, потом – кандидат наук, интеллигент, умница, самобытнейший поэт. Каким-то непостижимым образом в нём это уживалось.

Криминальные личности ошибочно думали, что он пишет про них и для них. Его наперебой приглашали в сауны и казино, в разные значные места и компании, считали своим. Рыжего это самого удивляло:

С плоской примой в зубах:
кому в бровь, кому в пах,
сквозь сиянье вгоняя во тьму.
Только я со шпаной ходил в дружбанах,
до сих пор не пойму, почему.

Одна из его подруг вспоминает, как Рыжий позвонил ей в 2 часа ночи: «Привет! Ты знаешь, я пытался вчера выдернуть тебя в одно место, я здесь сейчас нахожусь, тут настоящие жулики, у них такое отношение к жизни! А какая фонетика общения! Ты обязана это послушать: это просто Даль!» Европейец не поймёт: как ни парадоксально, но Б. Рыжий любил этот несчастный и страшный мир. Этот мир был частью его души.

...Глядишь на милые улыбки
и слышишь шёпот за спиной –
редакционные улитки
столы волочат за собой.

Ну, публикация... Ну, сотня...
И без неё бы мог прожить...
Не лучше ль, право, в подворотне
С печальным уркой водку пить?

* * *

Отхлебну, не поперхнувшись взглядом.
Дрожь пройдет.
Мне плевать, какая мерзость рядом
ест и пьёт.
Плюнь и ты. Садись как можно ближе.
Не вини.
Мне всегда хотелось быть таким же,
как они.

* * *

...Слоняясь по окраинным дворам,
я руку жал убийцам и ворам.

* * *

Пусть Вторчермет гудит своей трубой,
пластполимер пускай свистит протяжно.
А женщина, что не была с тобой,
альбом откроет и закурит важно.
Она откроет голубой альбом,
где лица наши будущим согреты,
где живы мы, в альбоме голубом,
земная шваль: бандиты и поэты.

Рыжий жил в этом мире, безобразии которого служило питательной средой его поэзии,
он умел извлекать из него краски для своей поэтической палитры.

Молодость, свет над башкою, случайные встречи.
Слушает море под вечер горячие речи,
чайка кричит и качается белый корабль.
Этого вечера будет особенно жаль.
Купим пиджак белоснежный и белые брюки,
как в кинофильме, вразвалку подвалим к подруге.
Та поразмыслит немного, но вскоре решит:
в августе этом пусть, ладно уж, будет бандит.
Всё же какое прекрасное позднее лето!
О удивление: как, у Вас нет пистолета?
Два мотылька прилетают на розовый свет
спички, лицо озаряющей. Кажется, нет.
Спичка плывёт, и с лица исчезает истомы.
Нет, Вы не поняли, есть пистолет, только дома.
Что ж Вы не взяли? И Чёрное море в ответ
гордо волнуется: есть у него пистолет!
Есть пистолет, чёрный браунинг в чёрном мазуте.

Браунинг? Врёте! Пойдёмте и не протестуйте.
В небе ночном зажглась сто вторая звезда.
Любите, Боря, поэзию? Кажется, да.

Образ его лирического героя – блатного пацана – это далеко не Рыжий. Сам он намного сложнее и глубже.

Мой герой ускользает во тьму,
вслед за ним устремляются трое.
Я придумал его, потому
что поэту не в кайф без героя.

Он бездельничал, «русскую» пил,
он шмонался по паркам туманным.
Я за чтением зреньё садил,
да коверкал язык иностранным.

Это – бей его, ребя! Душа
без посредников сможет отныне
кое с кем объясниться в пустыне
лишь посредством карандаша.

Воротник поднимаю пальто,
закурив предварительно: время
твоё вышло. Мочи его, ребя,
он – никто.

Он совсем не таков, каким может показаться неискушённому или невнимательному читателю. Многие поклонники его таланта не способны расслышать высокие регистры его голоса, различить тонкие модуляции этой поэзии – они довольствуются её поверхностным слоем, звучанием «блатной музыки» или «есенинской ноты». Разумеется, хулиганский жаргон и приблатнённый лирический герой Рыжего – не просто модный «прикид», что-то такое было, конечно, в составе его крови. Только экзистенциальная бездна, раскрывающаяся за лучшими стихами поэта – иного качества и размаха, иного масштаба.

Парк осенний стоит одиноко,
и к разлуке и к смерти готов.
Это что-то задолго до Блока,
это мог сочинить Огарёв.
Это в той допотопной манере,
когда люди сгорали дотла.
Что написано, по крайней мере
в первых строчках, припомни без зла.
Не гляди на меня виновато,
я сейчас докурю и усну –
полусгнившую изгородь ада
по-мальчишечьи перемахну.

Из стихов Рыжего мы узнаём многие факты его далеко не праведной, но удивительно притягательной своим порочным обаянием жизни: пьянство (кто из народных любимцев не пил? Есенин, Высоцкий) – у Рыжего был пивной алкоголизм уже в

запущенной стадии, и, как следствие – наркологическая клиника, дурдом – все прелести поэтической биографии современного поэта, кумира молодёжи.

В сырой наркологической тюрьме,
куда меня за глюки упекли,
мимо ребят, столпившихся во тьме,
дерюгу на каталке провезли...
Стоял вопрос, как говорят, ребром
и заострялся пару-тройку раз.
Единственный – один на весь дурдом –
я знал на память продолженья фраз.
Но я молчал, скрывался и таил,
и осторожно на сердце берёг –
что человек на небо уносил
и вообще – что значит человек.

* * *

Снег за окном торжественный и гладкий,
пушистый, тихий.
Поужинав, на лестничной площадке
курили психи.
Стояли и на корточках сидели
без разговора.
Там, за окном, росли большие ели,
деревья бора.
План бегства из больницы при пожаре
и всё такое...
Но мы уже летим в стеклянном шаре.
Прощай, земное!
Всем всё равно куда, а мне подавно,
куда угодно.
Наследственность плюс родовая травма –
душа свободна.
Так плавно, так спокойно по орбите
плывёт больница.
Любимые, вы только посмотрите
на наши лица!

Только азартом, горением может быть оправдана жизнь, только полнокровная жизнь может быть источником полнокровной поэзии, которая недоступна обывателям и снобам с холодной кровью.

Что махновцы, вошли красиво
В незатейливый город Н.
По трактирам хлебали пиво
да актёрок несли со сцен.

Чем оправдывалось всё это?
Тем оправдывалось, что есть
за душой полтора сонета,
сумасшедшинка, искра, спесь.

Обыватели, эпигоны,
марш в унылые конуры!
Пластилиновые погоны,
револьверы из фанеры.

Вы – стоящие на балконе
жизни – умники, дураки.
Мы – восхода на алом фоне
исчезающие полки.

Как это перекликается с блоковским: «он будет доволен собой и женой,/ своей конституцией куцей...»

Чтобы жизнь трещала и ломалась,
и прощалась с ней душа жива,
в небесах музыка сочинялась
вечная – на смертные слова.

Поэт – согласно Рыжему – это тот, кто при помощи «смертных слов» очищает от грязи и возносит к небесам пошловатый мотивчик действительности. Но мотивчик, на который кладутся слова, всё равно нужно брать у жизни, какой бы убийственно жалкой она ни казалась.

Плохой репродуктор фабричный,
висящий на красной трубе,
играет мотив неприличный,
как будто бы сам по себе...

Крути свою дрянь, дядя Паша,
но, лопни моя голова,
на страшную музыку вашу
прекрасные лягут слова.

Так он понимал предназначение поэта: поэт – бухой лабух на похоронах дальнего мира, уличный музыкант в ночной метафизической подворотне.

Над саквояжем в чёрной арке
всю ночь играл саксофонист.
Пропойца на скамейке в парке
спал, постелив газетный лист.

Я тоже стану музыкантом
и буду, если не умру,
в рубахе белой с чёрным бантом
играть ночами на ветру.

Чтоб, улыбаясь, спал пропойца
под небом, выпитым до дна, –
спи, ни о чём не беспокойся,
есть только музыка одна.

Ещё один из самых значительных поэтов конца минувшего века – не нашедший себя в этой жизни, умерший 5 лет назад Евгений Блажеевский.

Я маленький и пьяный человек,
я возжелал в России быть пиитом.
Нелепый, как в музее – чебурек,
или как лозунг, набранный петитом.

Но этот «маленький и пьяный человек» обладает космическим мироощущением, способностью чувствовать человеческую боль и выражать ее в слове.

Мои просторы, как декабрь, наги,
но мне знакома зоркость зверолова.
И боль, как пёс, присела у ноги,
и вместе мы выслеживаем Слово.

Космос его поэзии питается грязью подвалов и трущоб, нищетой случайных жилищ.

А жил я в доме возле Бронной
Среди пропойц, среди калек.
Окно – в простенок, дверь – к уборной
и рупь с полтиной – за ночлег.

Но в нем живет аристократическое пренебрежение к житейской неустроенности. Это аристократ духа, которому дороже всего «похмельная, но мудрая свобода».

Мы – горсточка потерянных людей.
Мы затерялись на задворках сада
и веселимся с лёгкостью детей –
любителей конфет и лимонада.
Мы понимаем: кончилась пора
надежд о славе и тоски по близким,
и будущее наше во вчера
сошло-ушло тихонько, по-английски.
Ещё мы понимаем, что трава
в саду свежа всего лишь четверть года,
что, может быть, единственно права
похмельная, но мудрая свобода.
Мы в пене сада на траве лежим,
Портвейн – в бутылке, как письмо – в бутылке,
читай и пей! И пусть чужой режим
не дышит в наши чистые затылки.

Блажеевский не умел жить по чужим законам – законам стаи, не понимал, как это можно врываться в литературу какими-то группами и хвалить то, что не нравится, только потому, что ты с кем-то в одной обойме. Ещё в 74-ом он написал стихотворение, начинавшееся строкой: «Я выпадаю из обоймы вновь...»

А мой удел, по сути, никакой.
Во мраке человеческих конюшен
я заклею квадратную доской,

где выжжено небрежное «не нужен».
Не нужен от Камчатки до Москвы,
неприменим и неуместен в хоре
за то, что не желаю быть как вы,
но не могу – как ветер или море...

Здесь, может быть, ключ к основной трагедии Блажеевского: природное неприятие любой несвободы и в то же время невозможность достижения абсолютной свободы в том виде, как он её понимал. «Российская сущность свободы – распад, растворение, мрак...»

Сборник стихов Юнны Мориц «Лицо» запечатлел истинное лицо нашего времени, лицо эпохи – сведённое судорогами внутреннего кризиса. Лицо такого времени выглядит мерзко – отсюда и соответствующая лексика (увы, далёкая от языка классиков), отсюда и авторские рисунки, выполненные пеплом окурков. Скверность жизни, скверность судьбы, в том числе и собственной. «Талант – это не смесь/ того, что любят люди,/ а худшее, что есть/ и лучшее, что будет».

Я с гениями водку не пила
и близко их к себе не подпускала.
Я молодым поэтом не была,
слух не лелеяла и взоры не ласкала.

И более того! Угрюмый взгляд
на многие пленительные вещи
выталкивал меня из всех плеяд,
из ряда – вон, чтоб не сказать похлеще.

И никакие в мире кружева
не в силах были напустить тумана
и мглой мои окутать жернова
и замыслы бурлящего вулкана.

В отличие от неё Татьяна Бек признаётся во всех смертных грехах:

Как расколотый орех,
это грянуло в горах...
Я была твой тайный грех,
ты – мой очевидный крах.

* * *

Человеку неба мало...
Дочка музыки земной,
кем я только не бывала
в этом мире под луной!

Знала, как крапива жжётся
(из неё варила суп),
и любила троёжёнца
как отпетый однолюб,

и валялась по канавам
в ликование и тоске,

изъясняясь на корявом
полоумном языке.

Невольно вспоминается Ахматова: «Оставь, и я была как все,/ и хуже всех была,/ купалась я в ночной росе/ и пряталась в чужом овсе,/ в чужой траве спала». Но... поэт грешен не так, как мы – иначе. «Это – купол небес голубой,/ это – жизнь, как божественный промах...» – пишет Т. Бек.

Как роща над овражной бездною,
вот-вот готовая в обвал...
Я – бестолочь, я вами брезгую,
кто в оторопи не бывал.

В сущности, это то же мироощущение Блока:

Так жили поэты... Читатель и друг,
ты думаешь, может быть, хуже –
твоих ежедневных бессильных потуг,
твоей обывательской лужи?

Нет, милый читатель, мой критик слепой,
по крайности, есть у поэта
и косы, и тучки, и век золотой,
тебе ж недоступно всё это.

И – Цветаевой:

Всяк целовал, кому не лень,
но – всех перелюбя,
быть может, в тот чернейший день
очнусь белей тебя!

К числу «одиозных» поэтов не могу не добавить ещё одного, саратовского, хотя далеко перешагнувшего, на мой взгляд, границы «местной» поэзии – Александра Ханьжова. Первая его книжка («Круги надежды», 1997) и первая передача о нём на ТВ вышли, когда сам автор сидел в тюрьме.

Всё идёт своим чередом:
я в тюрьме, и тюрьма мой дом.
Впереди Божий суд – и надо
привыкать к филиалам ада.
Стиль «не столь отдалённых мест»
не пристал для живых существ.

...Один мне по жизни итог –
гореть в преисподней со всеми!
Не даст мне амнистии Бог:
мы все – прокажённое племя.

Пьянство, драки, суицид – обыденные вещи для андеграундного поэта. За Ханьжовым числились ещё ЛТП, психдиспансер, семилетний срок. «Пьяная драка, то, что у нас в России называется бытовуха, закончилась трагически, – пишет В. Семенов в

предисловии ко второму сборнику Ханьжова. – В следующий раз я увидел его в арестантской робе. Он и в тюрьме остался поэтом».

Тот дом за трёхлетний срок
не переменялся личиной.
Всё тот же щербатый порог
и та же калитка с пружиной.
Всё та же узорная дверь,
и всё там по-прежнему, кроме
того, что она теперь
ему отдаётся в том доме.

Особенно сильное впечатление производит его цикл «Тюремный дневник». Там есть строки, от которых перехватывает горло.

У меня есть яблоня любимая в саду.
Каждый год я в передачах яблок жду.
Как обычно, не привозит их никто.
Забывают всегoдично, но зато

каждой осенью в чахоточном бреду
я по саду урожайному бреду...

То ли с неба дождик, то ли слизь...
Яблоня любимая, дождись!

(«Осенняя лагерная песнь»)

(Как жаль, что эти стихи попались мне, когда поэта уже не было в живых. Я бы обязательно привезла ему любимых яблок. Думаю, что это сделали бы многие, будь стихи тогда опубликованы – такова сила в них искреннего чувства).

Стихи Ханьжова читаются с тяжёлым чувством. Слова, нетипичные для поэтического вдохновения: «конвой», «шухер», «шконка», «острог» – вызывают ассоциации с лагерной поэзией В. Шаламова, Б. Чичибабина («Красные помидоры кушайте без меня»). Но – «всюду жизнь». И в остроге находятся свои радости.

Мне славный портсигар прислали в дар.
С ним 5 платков и кофе растворимый.
Не кофе, а нектар. А портсигар
эпохи культа личности. Разгар
репрессий. Раритет неоспоримый.

Теперь я не печалюсь ни о ком,
и женщин, и друзей своих прощаю:
бразильский кофе выпит с кипятком,
единственным оставшимся платком
«фартовый» портсигар свой начищаю.

Конечно, в зоне человек – никто,
и нравы здесь грубей и резче,
и ненавистней люди, но зато
возлюбленнее вещи.

* * *

С этапа попадая в лагерь свой,
доволен я и шконкой угловой,
и полотенцем, тёплым и пушистым...
Убог уют усталого раба!
Но, как бы ни скребла меня судьба,
я и в аду останусь гедонистом.

Все мы знаем известные строки Ахматовой о том, что стихи растут из сора. Но есть вещи ещё более мусорные, чем этот безобидный сор. Об этом очень точно сказал Давид Самойлов, поправив Ахматову:

Ах, наверное, Анна Андревна,
Вы вовсе не правы.
Не из сора рождаются стихи,
а из горькой отравы,
а из горькой и жгучей,
которая корчит и травит.
И погубит. И только травинку
для строчки оставит.

Но эта травинка порой взламывает асфальт, чтобы пробиться к сердцу читателя.

Я знаю, было б не грешно
уйти из этой жизни сучьей,
но пик отчаянья давно
преодолен судьбой ползучей,
и дно навек мне суждено.

С тех пор, как стадности устав
велит признать свои ошибки,
как вольно лгут мои уста,
как веет с вежливой улыбки
виляньем пёсего хвоста.

О вечный вопль: о времена,
о нравы! Истина всё та же:
строптивость жить обречена
под стражей и всегда на страже,
сидеть на дне и пить до дна.

Горькие строки. Но какие точные и афористичные:

Потому что мира муки
всё равно согнут в итоге:
меньшинство – наложит руки,
большинство – протянет ноги.

Хотелось верить, что этого не случится. В России, как известно, поэту надо жить долго, чего, как правило, не бывает. Ханьжов не стал исключением.

В последний раз (и, собственно, в первый) я его видела на вечере в «Камелоте» летом 2002 года. Он читал еле слышно, бесцветным голосом, и весь был, казалось, такой лёгкий, ветхий, бесплотный, такой весь – «неотсюда», что при первом взгляде на него мучительно думалось: не жилец. По тому преувеличенному вниманию и старательной заботе, которыми Ханьжова окружали в тот вечер, было видно, что так думалось не только мне. Я подошла к нему после его выступления, говорила какие-то слова, в которых вдруг почувствовала органичную необходимость, рассказала, как два года назад читала о нем лекцию в Областной библиотеке. Он безучастно слушал, вежливо наклонив набок голову, что-то односложно отвечал. Я так и не поняла, было ли ему приятно сказанное или оставило равнодушным. Через несколько месяцев его не стало. А в 2004 году вышел его второй – посмертный сборник «Пора возвращения» – наиболее полное собрание сочинений поэта.

Сижу среди избы на табуретке.
В руках судьбы мы все марионетки.

Врубаюсь в ритм привычного вертепа.
Вся жизнь моя трагична и нелепа.

Но чувствую: уже который год
умелый кукловод меня ведёт.

Душа блуждает. Она чутка к проявлению зла и дисгармонии в мире. Она ищет, как нас спасти. И, попадая в самые жуткие низины, всё-таки возносится к несказанным высотам.

Малыш, смеющийся взхлёб,
и хлеб, что в заводи намок,
и волосы, налипшие на лоб,
и водоросли между пальцев ног.

Я это лето так в душе берёг,
что в две зимы средь псов и недотёп
прожил-отбыл и не разбился об
тебя, полудурдом-полуострог.

И связанный, и брошенный в подвал,
затравленный и битый столяр,
я был свободен и необорим...

И сны мои качал и согревал –
просёлочной дороги вдоль –
цветущих одуванчиков Гольфстрим.

2. «Стихи с истерзанными лицами»

Истинная поэзия всегда трагична. Поэтому словосочетание «трагический поэт» тавтологично и бессмысленно. Поэт и есть сама трагедия, как бы внешне благополучно ни складывалась его жизнь.

И мне не нужно инквизиции,
когда и так на Страшный Суд

стихи с истерзанными лицами
предсмертный крик мой отнесут.

Л.Губанов

Поэзия – это не журнальные подборки, не литература. Это жизнь, какой она бывает в лучшие мгновения – неважно, счастливые или печальные. Это то, что поэт вытаскивает нам из огня, в котором сгорают наши дни.

Поэзия, ты разве развлеченье?
Ты – отвлеченье, вовлеченье ты.
Бессмысленное, горькое реченье,
письмо луны среди полной тьмы,

– писал Б. Поплавский, давший, на мой взгляд, лучшее определение поэзии.

М. Волошин называл И. Анненского «нерадостным поэтом». Грусть, тоска, одиночество, отчаяние – едва ли не главный мотив его творчества. Он даже слово Тоска писал с большой буквы. «Но я люблю стихи/ и чувства нет святых./ Так любит только мать/ и лишь больных детей»,– признавался он. Блоку в «Тихих песнях» незнакомого тогда ему автора открылась человеческая душа, «убитая непосильной тоской, дикая, одинокая и скрытная». Вячеслав Иванов отмечал в стихах поэта «целую гамму отрицательных эмоций – отчаяния, ропота уныния, горького скепсиса». При этом биография школьного инспектора, директора гимназии И. Анненского выглядела вполне уважаемой и благополучной. Никто бы не поверил в его трагедию, в его многочисленные обиды, увидев сейчас кабинет поэта красного дерева, бюст Еврипида на огромных книжных шкафах... Но где те весы, на которых можно взвесить страдания людей?

Если трагизм Анненского был скорее метафизического порядка, то пессимизм поэзии Ф. Сологуба имеет социальные причины.

О правде мира что б ни сказали,
всё это – сказки, всё это – ложь.
Мечтатель бледный, умри в подвале,
где стены плесень покрыла сплошь.
Подвальный воздух для чахлой груди
и обещанье загробных крыл.
И вы хотите, о люди, люди,
чтоб жизнь земную я полюбил?!

В письме критику С.А. Измайлову он пишет: «Вот вы, господа критики, нападаете на меня за то, что я будто бы не люблю жизнь. Любить без разбора вообще не стоит, и жизнь любить можно только достойную любви. А вот эта жизнь, где не отличить друга от врага, где люди издеваются друг над другом...о, эта жизнь!»

Ручья лесного нежный ропот
сменяет рынка смутный гул.
Признания стыдливый шёпот
в базарных криках потонул.
...Безочарованность и скуку
давно возрадив в своей душе,
мне жизнь приносит злую муку
в своём заржавленном ковше.

А. Фет, этот певец любви и природы, счастья и тенистых аллей, был мрачным ипохондриком в жизни. Причин тому было немало: тайна рождения, выяснившаяся в отрочестве и осознанная как катастрофа, вынужденная, утомительная, многолетняя офицерская служба, трагическая любовь, закончившаяся гибелью любимого человека, женитьба по расчёту, злобная недоброжелательность критики, равнодушие читателей, дурная психическая наследственность. «Если спросить, как называются все страдания, все горести моей жизни, я отвечу: имя им – Фет», – писал он в 1874 году. Но по безоблачным стихам поэта этого ни за что не скажешь.

Г. Иванов тоже обладал довольно тяжёлым характером, отличался пессимизмом и склонностью к депрессии. Вечером он говорил И. Одоевцевой: «Слава богу, прошёл день, и ничего не случилось». «А что должно было случиться?» – недоумевала жена. Они словно существовали в разных измерениях.

Ежедневной жизни муку
я и так едва терплю.
За ритмическую скуку,
дождик, я тебя люблю.

Барабанит, барабанит,
барабанит, ну и пусть.
А когда совсем устанет,
и моя устанет грусть.

В самом деле – что я трушу,
хуже страха вещи нет.
Ну и потеряю душу,
ну и не увижу свет.

В его стихах часто звучит мотив бессмысленности мира, где всё отравлено ядом безысходности.

Ты ещё читаешь Блока,
ты ещё глядишь в окно,
ты ещё не знаешь срока –
всё неясно, всё жестоко,
всё навек обречено.

Словом, извечное «ночь, улица, фонарь, аптека»: проходят дни, года, века, но ничего не меняется к лучшему в этом мире.

Всё в этом мире по-прежнему.
Месяц встаёт как вставал,
Пушкин именьё закладывал
или жену ревновал.
И ничего не исправила,
не помогла ничему
смутная, чудная музыка,
слышная только ему.

В первые годы эмиграции, несмотря на терзавшую его ностальгию, Г. Иванов жил довольно благополучно. Но в годы войны всё изменилось. Они с женой оказались на

оккупированной территории. После войны русская эмиграция по недоразумению обвинила его в сотрудничестве с немцами. Жизнь поэта превратилась в ад. «Стал нашим хлебом цианистый калий,/ нашей водой – сулема./ Что ж, притерпелись и попривыкали,/ не походили с ума». После всех мытарств и беспросветной нужды поэты оказались в доме престарелых на юге Франции. Г. Иванов был абсолютно сломлен и уничтожен всем, что с ними произошло. Им овладела полная апатия.

Я научился понемногу
шагать со всеми – рядом, в ногу.
По пустякам не волноваться
и правилам повиноваться.
Встают – встаю. Садятся – сяду.
Стозначный номер помню свой.
Лояльно благодарен Аду
за звёздный кров над головой.

Поэзия позднего Иванова – это сплошное отчаяние, судорога боли, скрытая под маской самоиронии.

Зима идёт своим порядком –
опять снежок. Ещё должок.
И гадко в этом мире гадком
жевать вчерашний пирожок.

И в этом мире слишком узком,
где всё потери и урон,
считать себя с чего-то русским,
читать стихи, считать ворон.

Разнежась, радоваться маю,
когда растаяла зима...
О Господи, не понимаю,
как все мы, не сойдя с ума,

встаём-ложимся, щёки бреем,
гуляем или пьём-едим,
о прошлом-будущем жалеем,
а душу всё не продадим.

Вот эту вянущую душку –
за гривенник, копейку, грош –
дороговато? – за полушку.
Бери бесплатно! Не берёшь?..

И всё-таки, если мы попробуем закрыть книгу и постараемся забыть отдельные стихи Г. Иванова, отдельные его строки – то в памяти останется ощущение света – основной признак всякого творчества, достойного имени поэзии. Нигилизм, скепсис и желчь позднего Г. Иванова очищены высоким страданием и подлинным богоданным поэтическим даром. Грязь вперемежку с нежностью, грусть, переходящая в издевательство, умышленно смешанные с поэтическими условностями куски самой низменной, повседневной обывательщины, а над всем этим – тихое, таинственное,

немеркнувшее сияние, будто оттуда, сверху; даётся этому человеческому крушению смысл, которого сам человек не в силах был найти...

Ещё более мрачен взгляд на мир Иосифа Бродского. В его стихах нет лёгкости и кажущейся беспечной бравады Г. Иванова, в них – ощущение душевной усталости, опустошённости, холодного и трезвого отчаяния. В «Мексиканском дивертисменте» поэт как бы подводит итог своим жизненным наблюдениям:

Скушно жить, мой Евгений. Куда ни странствуй,
всюду жестокость и тупость воскликнут: «Здравствуй,
вот и мы!» Лень загонять в стихи их.
Как сказано у поэта: «на всех стихиях».
Далеко же он видел, сидя в родных болотах!
От себя добавлю: на всех широтах.

Бродский имеет в виду пушкинское «на всех стихиях человек тиран, предатель или узник». Пессимизм Бродского идёт ещё дальше пушкинского. «Только с горем я чувствую солидарность», – пишет он. Это поэт безутешной мысли. В отличие от романтического поэта ему нечего противопоставить холоду мира. «Небеса пусть», на них надежды нет, а холод и мрак в своей душе едва ли не сильнее окружающей стужи. И всё-таки утешение есть. Поэзия, как бы ни была она трагична и мрачна, дарит нам наслаждение своим фонетическим, интонационным, завораживающим обликом.

Что нужно для чуда? Кожух овчара,
щепотка сегодня, крупица вчера,
к их пригоршне завтра добавь на глазок
огрызок пространства и неба кусок.

А если ты дом покидаешь – включи
звезду на прощанье в четыре свечи,
чтоб мир без вещей освещала она,
вослед тебе глядя во все времена.

«Пространство стиха не обязательно должно быть залито светом, – пишет А. Кушнер. – Ещё лучше, если оно погружено в полутьму. Плох только нарочитый, ни за что не отвечающий и кокетливый мрак». То есть неподлинное страдание, рисовка, игра в него.

Книга стихов В.Ходасевича «Путём зерна» отличалась от предыдущих ранних его книг большей остротой и откровенностью. Вместо несколько наигранного трагизма «Молодости», взвинченных чувств, условных поэтических ситуаций, здесь появляется подлинный трагизм, основанный на личном душевном опыте.

И в этой жизни мне дороже
всех гармонических красот –
дрожь, пробежавшая по коже,
иль ужаса холодный пот.

Иногда жизнь ему кажется слишком гармоничной, и он испытывает потребность эту гармонию нарушить, сместить что-нибудь в этом мире.

Всё жду: кого-нибудь задавит
взбесившийся автомобиль,
зевака бедный окровавит
торцовую сухую пыль.

И с этого пойдёт, начнётся:
раскачка, выворот, беда,
звезда на землю оборвётся,
и станет горькою вода.

Прервутся сны, что душу душат,
начнётся всё, чего хочу,
и солнце ангелы потушат,
как утром – лишнюю свечу.

Это стихотворение Ходасевич написал в день получения известия о смерти Блока. Оно всё проникнуто мотивом трагической гибели. А И. Анненский из всех композиторов больше других любил Вагнера, чья дисгармоничная музыка была сродни его душе. «Может быть, потому, – пишет он в письме, – что вечность не представляется мне более звёздным небом гармонии, мне кажется, что там есть и чёрные провалы, и синие выси, и беспокойные облака, и страдания. Может быть просто потому, что я несчастен и одинок». «Я одинок, как последний глаз у идущего к слепым человека!» – патетически восклицал Маяковский. Особенно остро ощущали своё одиночество поэты-эмигранты.

Бредут влюблённые по скверу,
по листьям, как по янтарю.
А я шотландскому терьеру
о смысле жизни говорю.
И ты проходишь там
под звёздами один,
в своём краю реклам,
в своём краю витрин.
...Где собеседник милый,
В каком живёшь краю?
У вод Мононгахилы
я одинок стою.
А подо мною – зыби
несущийся поток.
И сам я на отшибе,
и стих мой одинок.

И.Елагин

«Я ни с кем, одна, всю жизнь, без читателей, без друзей, без круга, без среды, без всякой защиты, причастности, хуже, чем собака, а зато... А зато – всё», – с горечью и гордостью писала Цветаева. Впрочем, Цветаева чувствовала себя одиноко и обособленно не только в эмиграции, это было органическим свойством её натуры. В. Ходасевич в очерке «Младенчество» писал: «Мы с Цветаевой, выйдя из символизма, ни к чему не пристали, остались навек одинокими, дикими». В самом деле, именно эти двое среди больших поэтов первой трети 20 века не связали свой путь ни с каким художественным и философским направлением эпохи, ни с какими школами, группами, цехами. Н. Берберова

назвала Ходасевича «поэтом без своего поколения». Это было осознанно избранное литературное одиночество.

Навсегда разорванные цепи
мне милей согласного звена.
Я, навек сокрытый в тёмном склепе,
не ищу ни двери, ни окна.

Ходасевич записывает поразившую его строку Пушкина, из которой выросло его стихотворение: «Ты –царь. Живи один» («Поэту»). Но не может ею утешиться: «Ну вот. Живу один. А где же царство?».

Для И. Бродского же одиночество было скорее благом, чем страданием. Это был в высшей степени самодостаточный человек, нуждающийся в людях несравненно меньше, чем другие.

У всего есть предел: в том числе у печали.
Взгляд застревает в окне, точно лист в ограде.
Можно налить воды. Позвенеть ключами.
Одиночество есть человек в квадрате

* * *

Ночь. Дожив до седин,
ужинаешь один.
Сам себе быдло,
сам себе господин.

* * *

Я одинок. Я сильно одинок.
Как смоква на холмах Генисарета.
В ночи не украшает табурета
ни юбка, ни подвязки, ни чулок.

Голос, который звучит в его стихах, кажется страшно одиноким. Бродский как будто вовсе не ищет взаимодействия с людьми. Первые три года его западной жизни прошли почти в тотальном одиночестве. За исключением коротких вылазок в Нью-Йорк он, как в вакууме, жил в Анн Арборе, хотя ни разу никому не пожаловался в письме, даже хорохорился: «Я в высшей степени сам по себе, и в конце концов, мне это даже нравится – когда некому слова сказать, опричь стенки».

Через тыщу лет из-за штор моллюск
извлекают с проступившим сквозь бахрому
оттиском «доброй ночи» уст
не имевших сказать кому.

А человек, создавший мир в себе и носящий его, рано или поздно, – пишет Бродский, – становится инородным телом в той среде, где он обитает. И на него начинают действовать все физические законы: сжатия, вытеснения, уничтожения.

Не ослепни смотри! Ты и сам сирота,
отщепенец, стервец, вне закона.
За душой, как ни шарь, ни черта. Изо рта –
пар клубами, как профиль дракона.

Бродский – это певец одиночества. Он сам выбрал – из гордости? – одиночество как форму независимости. От всего, от всех.

Но это только ты.
А фон твой – ад.
Смотри без суеты
вперёд. Назад
без ужаса смотри.
Будь прям и горд.
Раздроблен изнутри,
на ощупь твёрд.

Ему принадлежит фраза: «Если жизнь становится невыносимой – надо взять тоном выше». Это очень трудно. Это значит каждую минуту соответствовать некоей когда-то взятой высоте, ноте – жить в состоянии поэтического фальцета. Бродскому это удавалось. Это стремление к непосильной поэтической, духовной и нравственной высоте особенно ярко выражено у него в стихотворении «Осенний крик ястреба», где птица набирает такую высоту, что уже не может преодолеть встречные потоки воздуха, которые выносят её в ионосферу.

...Но как стенка – мяч,
как паденье грешника – снова в веру,
его выталкивает назад.
Его, который ещё горяч!
В чёрт те что. Всё выше. В ионосферу.
В астрономически объективный ад
птиц, где отсутствует кислород,
где вместо проса – крупа далёких
звёзд. Что для двуногих высь,
то для пернатых наоборот.
Не мозжечком, но в мешочках лёгких
он догадывается: не спастись.

И когда приходит осознание своей судьбы, её неотвратимости – рождается крик, рождается в свободном полёте обречённого. Бродский смотрел на Землю не с земной плоскости, а с других сфер. Как ястреб, с которым чувствовал родство душ. Но постепенно понимаешь, что всё это в Бродском – его скепсис, надменность, позиция стоицизма – лишь крепкая самозащитная корка. Изначальное осознание, как ему чужероден мир. Так называемая закомплексованность. И, может быть, лучшие стихи у него появляются, когда эта корка взламывается. Когда поэт беззащитен перед непосредственным, непрошенным чувством.

Я любил тебя больше, чем ангелов и самого,
и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих.
Поздно ночью, в уснувшей долине, на самом дне,
в городке, занесённом снегом по ручку двери,
извиваясь ночью на простыне –

как не сказано ниже по крайней мере –
я взбиваю подушку мычащим «ты»
за морями, которым конца и края,
в темноте всем телом твои черты,
как безумное зеркало, повторяя.

Многие его стихи, написанные там, выдают его душевный неуют и неприкаянность. Достаточно прочесть «Осенний вечер в скромном городке», чтобы почувствовать это.

Здесь снится вам не женщина в трико,
а собственный ваш адрес на конверте.
Здесь утром, видя скисшим молоко,
молочник узнаёт о вашей смерти.
Здесь можно жить, забыв про календарь,
глотать свой бром, не выходить наружу
и в зеркало глядеться, как фонарь
глядится в высыхающую лужу.

В 95 году покончил с собой поэт и писатель Юрий Карабчиевский. Уехав незадолго до этого в Израиль, он не смог там жить, вернулся. «Вне России начинаю чувствовать себя погребённым заживо. Как бы при жизни тела – погибель души», – писал он. Но и здесь ему было не лучше.

...Сегодня в тоске коридора,
испарину чувствуя лбом,
я понял бессилие спора
любого, с любимым, о любом.

Впервые за многие сроки
я понял далёкий намёк:
Мы так же с тобой одиноки,
как каждый из нас одинок.

И как этот факт ни обыден,
но холод прошёл по спине.
Погасим же свет и увидим,
посмотрим, увидим в окне,

как в ночь удаляется кто-то,
в снегу оставляя тропу,
и на три крутых поворота
закроем свою скорлупу.

Поэт, как правило, трудно вписывается в социум, в повседневную действительность. У И. Елагина, как у всякого рядового эмигранта, первое время не было в Нью-Йорке ни кола, ни двора.

Я случайный бродяга,
человек без корней,
и ни гимна, ни флага
нет у музыки моей.

Позже, в 60-е годы, в его стихи вошла ослепительная Америка. В стихотворении «В Гринвич Вилидж» он рисует её ночной облик:

Здесь всякий приятель со всяким,
и всякий здесь всякому рад.
Артисты, пропойцы, гуляки.
Толкаются, пьют, говорят.

Над столиком тонкий светильник
мелькает в зелёном стекле.
Привет тебе, мой сомогильник,
ещё ты со мной на земле.

Привет тебе, мой современник.
Ещё ты такой же, как я,
дневной неурядицы пленник
над рюмкой ночного питья.

Какая-то тусклая жалость
из труб серебристых текла.
Какая-то дрянь раздевалась
на сцене ночной догола.

Картины кострами сложите
и небо забейте доской!
Не надо уже Афродите
рождаться из пены морской.

Не всплыть ей со дна мифологий,
и пена её не родит.
Тут девка закинула ноги,
тут кончился век афродит.

Я пальцами в такт барабаню,
я в такт каблуками стучу,
и тоже со всей этой дрянью
в какую-то яму лечу.

Елагин пытался, подобно Набокову, стать американцем, но у него это не получалось. Он был слишком русским душою. Не стал своим на Западе и Г. Иванов. «Что мне нравится – того я не имею. Что хотел бы делать – делать не умею», – признавался он в своей неприспособленности к деловому ритму капиталистической жизни. Жил бесцельно, бездумно, по инерции.

Туман. Передо мной дорога.
По ней привычно я бреду.
От будущего я немного,
точнее – ничего не жду.
Без гонорара, без короны,
со всякой сволочью на ты...

Никому здесь не нужна его поэзия.

Творю из пустоты ненужные шедевры,
и слушают меня оболтусы и стервы.

В эмиграции Г. Иванова называли «проклятым поэтом». Многие считали почему-то, что он с горя спивается, хотя пил он всегда в меру, и всё время спрашивали его: правда ли, что он пьёт чистый спирт? На что поэт отвечал невозмутимо: «Да, и не только чистый, но и нашатырный».

Этим плечам ничего не поднять.
Нечего, значит, на Бога пенять.
Трубочка есть. Водочка есть.
Всем в кабаке одинакова честь.

На самом деле Г. Иванов вовсе не был отверженным неудачником. Скорее, наоборот, баловнем судьбы. За исключением лишь последних лет своей жизни. Чего нельзя сказать о Б. Поплавском, «самом эмигрантском из всех эмигрантских писателей», как назвал его Владимир Варшавский, имея в виду душевный надлом, что был в его стихах. Как никто другой, Поплавский выразил в своём творчестве не только трагедию русской эмиграции, но и трагедию отторжения от какой бы то ни было почвы вообще: вчерашний день – Россия, покинутая в глубоком детстве, сегодняшний день – Париж, давший пристанище, но не давший дома, впереди – трагедия и мука безысходности, «снег, идущий миллионы лет». Брат его выбрал обычную эмигрантскую стезю, став таксистом. Поплавский же предпочёл нужду и вольность.

Вскипает в полдень молоко небес,
сползает плёнка облачная, ёжась.
Готов обед мечтательных повес.
Как римляне, они вкушают, лёжа.

Как хорошо у окружных дорог
дремать, задравши голову и ноги.
Как вкусен непитательный пирог
далёких крыш и чёрный хлеб дороги...

Поэзия была для него единственной стихией, в которой он не чувствовал себя как рыба, выброшенная на берег. Это была единственная родственная ему среда.

Как холодно. Душа пощады просит.
Смирись, усни. Пощады слабым нет.
Молчит январь, и каждый день уносит
последний жар души, последний свет.

Закрой глаза, пусть кто-нибудь играет.
Ложись в пальто. Укутайся, молчи.
Роняя снег в саду, ворона грает.
Однообразный шум гудит в печи.

Испей вина, прочтём стихи друг другу.
Забудем мир. Мне мир невыносим.
Он только слабость, солнечная вьюга
в сиянье роковом нездешних зим.

Огни горят, исчезли пешеходы.
Века летят во мрак немых неволь.
Всё только вьюга золотой свободы,
лучам зари приснившаяся боль.

Поплавский постоянно носил очки с чёрными стёклами, скрывавшими его взгляд, отчего его улыбка была похожа на улыбку слепого. Носил их в любую погоду, говорили, будто даже девушки в постели не видели его без очков. И этого ему было мало, он ещё натягивал на глаза большую кепку с огромным козырьком. Словно боялся смотреть в глаза людям, вернее, боялся, что кто-то посмотрит ему в глаза. Он ничего не боялся – ни драк, ни смерти, только этого. Была и другая версия, – что он прятал под очками свои расширенные от наркотиков зрачки. В дневнике записывал: «Особые мои приметы: невроз, не позволяющий мне смотреть в глаза людям».

Скрыться в снег. Спасти от грубых взглядов.
Жизнь во мраке скоротать в углу.
Отдохнуть от ледяного ада
страшных глаз, прикованных ко злу.

На переплётах его тетрадей, на корешках книг, везде попадались записи: «Жизнь ужасна. Печаль оттого, что никто никого не любит». Чувство невыносимости мира, сознание своей ненужности и слабости рождало строки:

В зимний день на небе неподвижном
рано отблеск голубой погас.
Скрылись лампы. Гаснет шорох жизни.
В тишине родился снежный час.

...Спать. Лежать, покрывшись одеялом,
точно в тёплый гроб, сойти в кровать.
Слушать звон трамваев запоздалых.
Не обедать. Свет не зажигать.

Видеть сны о дальнем, о грядущем.
Не будите нас, мы слишком слабы.
Задувает в поле наши души
холод счастья, снежный ветер славы.

Сила и глубина метафизического отчаяния поэта не затмевают удивительной гармонии этих строк. И самые мрачные стихи дарят нам ощущение блаженства – таково врождённое свойство поэзии. «Прекрасные стихи несчастий не боятся,/ не портят слезы их,/ безумье им идёт, как сладкий дух акаций», – пишет А. Кушнер. «Чуть-чуть они горчат – не стоит огорчаться...» В другом стихотворении он, «по здешнему счастью специалист», говорит, что, будь его воля – он ничего не стал бы менять в этом мире, оставил бы в нём «всё как есть»: «Даже горе оставил бы, даже зло/ под расчисленным блеском ночных светил». Иначе как бы мы могли отличить одно от другого?

В статье «Размышления о скудости нашего репертуара» А. Блок писал: «Русские гениальные писатели все шли путями трагическими и страшными, они урывали у вечности мгновения для того, чтобы после упасть во мрак и томиться в этом мраке до нового озарения». При этом Блок называл Грибоедова и Гоголя. Грибоедов жалуется своим друзьям на пустоту и «ипохондрию»: «Пора умереть! Не знаю, отчего это так долго тянется. Тоска несусветная». «Сделай одолжение, – просит он своего друга С. Бегичева, – подай совет, чем мне избавить себя от сумасшествия или пистолета, а я чувствую, что то или другое у меня впереди».

Поэт вовсе не обязан любить жизнь и клясться ей в своей любви. Фет, например, смотрел на жизнь едва ли не с отвращением. Но чем будничней, прозаичней и нестерпимей она для него была, тем упоительней, благоуханней представала в поэзии. Или Баратынский. Кажется, нет в русской литературе более мрачного, трагического поэта. Но звуковая гармония его стихов, прекрасное полнозвучное дыхание едва ли не вопреки воле автора делают их утешительными. Он и сам знал об этом: «Болящий дух врачует песнопенье». Звучание, ритмика, интонация обладают завораживающей силой. По-видимому, это связано с происхождением стиха, он ведь и был заговором, заклинанием, волшебством. Разве не волшебны, например, эти строки Анненского?

Мне надо дымных туч с померкшей высоты,
круженья дымных туч, в которых нет былого,
полузакрытых глаз и музыки мечты,
и музыки мечты, ещё не знавшей слова...

Это «Мучительный сонет» – одно из лучших созданий поэта. Драматизм переживаний у него возникает не только в отношении к другим людям, но и в отношении к природе.

Мне тоскливо. Мне невмочь –
я шаги слепого слышу.
Надо мною он всю ночь
оступается о крышу.
И мои ль, не знаю, жгут
сердце слезы, или это
те, которые бегут
у слепого без ответа,
что бегут из мутных глаз
по щекам его поблѣклым
и в глухой полночный час
растекаются по стѣклам.

Природа в стихах Анненского трагична самой своей красотой, одухотворённостью и неповторимостью мгновения, которое она дарит человеку. Её образы овеяны тоской по безвозвратно уходящему времени:

Сейчас наступит ночь. Так черны облака...
Мне жаль последнего вечернего мгновенья:
там всё, что прожито – желанья и тоска,
там всё, что близится – унылость и забвенья.

Мир природы, каким он видится поэту, трагичен и своей хрупкостью, незащищённостью, тем, что он так же невечен, смертен, как человеческая жизнь:

Иль я не с вами таю, дни?
Не вяну с листьями на клёнах?
Иль не мои умрут огни
в слезах кристаллов раскалённых?

Мир поэзии Анненского населён вещами, которые интересуют его не сами по себе, а своей соотнесённостью с человеком. Вещи у него выступают как символы, знаки его душевного опыта, они как бы посредники между душой и миром. Так, умирание выдыхающегося воздушного шарика («всё ещё он тянет нитку и никак не кончит пытку») до боли напоминает поэту самого себя:

Только тот над головой,
тёмно-алый, чуть живой,
подождал пока над ложем
быть таким со мною схожим.

Поэт выявляет трагическое сходство вещи с человеком – в несчастье, старости, одиночестве. Об этом – его стихотворение «Старая шарманка»:

Лишь шарманку старую знобит,
и она в закатном мленье мая
всё никак не смелет злых обид,
цепкий вал кружа и нажимая.
И никак, цепляясь, не поймёт
этот вал, что ни к чему работа,
что обида старости растёт
на шипах от муки поворота.
Но когда б и понял старый вал,
что такая им с шарманкой участь,
разве б петь, кружась, он перестал
оттого, что петь нельзя, не мучась?

Словно эхом откликается И. Елагин:

Всё на свете мучится,
что красою светится.
Этим свет и крутится,
этим свет и вертится.

«Страдать нужно, молодой человек, а потом уже стихи писать», – наставлял юного Мережковского Достоевский. Этих поэтов учить страданию не надо. Они знают его азбуку назубок.

Под ногами скользь и хруст,
ветер дунул, снег пошёл.
Боже мой, какая грусть!
Господи, какая боль!

В.Ходасевич

Первый снег мне былое напомнил,
о судьбе, о земле, о тебе.
Я оделся и вышел из комнат
успокаивать горе в ходьбе.
Но напрасно вдоль белых чертогов
шум скользит, как река в берегах.
Всё такая же боль на дорогах,
всё такое же горе в снегах...

Эти стихи написал Б. Поплавский в день, когда его невеста Наталья Столярова уехала в Россию, как она думала, ненадолго. Но это был роковой 37-й год. Больше они не увиделись никогда.

Будет тёплое пиво вокзальное,
будет облако над головой,
будет музыка очень печальная –
я навеки прощаюсь с тобой.
Больше неба, тепла, человечности,
больше чёрного горя, поэт.
Ни к чему разговоры о вечности,
а точнее, о том, чего нет...

А это уже другой Борис, Рыжий. Ирония не спасает. Стихотворная легковесность оправдывается полновесностью страдания.

Ну что ж, что прекрасна погода,
что души витают, любя –
всегда ведь находится кто-то,
кто горечь берёт на себя,

– пишет Рыжий. Но этот кто-то – прежде всего он сам.

Ты меня отпусти, я живу еле-еле,
я ничей навсегда, иудей, психопат.
Нету чёрного горя, и чёрные ели
мне надёжное чёрное горе сулят.

Дело даже не в словах, а в интонации, в особом щемящем звуке, заставляющем сжиматься наше сердце.

В. Ходасевич когда-то сказал Г. Иванову, что его стихам не хватает настоящего горя. Эмиграция и стала для него таким горем. Трагическая безысходность изгнания, нехватка воздуха, постоянная тоска по родным местам сделали его большим поэтом.

Голубизна чужого моря,
блаженный вздох весны чужой
для нас скорей эмблема горя,
чем символ прелести земной.

За столько лет такого маянья
по городам чужой земли
есть отчего прийти в отчаянье,
и мы в отчаянье пришли.

...Ничего не вернуть. И зачем возвращать?
Разучились любить, разучились прощать,
забывать никогда не научимся.
Спит спокойно и сладко чужая страна,
море ровно шумит. Наступает весна
в этом мире, в котором мы мучимся.

Он пытается защититься от этого мирового ужаса и вселенской тщеты холодом и равнодушием, которые служат бронёй истинному поэту. Пытается учиться этому у Блока, который писал: «Всё на земле умрёт: и мать, и младость,/ жена изменит и покинет друг,/ но ты учись вкушать иную радость,/ глядясь в холодный и полярный круг./ И к вздрагиваньям медленного хлада/ усталую ты душу приучи,/ чтоб было здесь ей ничего не надо,/ когда оттуда ринутся лучи». И у Г. Иванова читаем:

Лунатик в пустоту глядит,
сиянье им руководит.
Чернеет гибель снизу.
И даже угадать нельзя,
куда он движется, скользя,
по лунному карнизу.

Расстреливают палачи
невинных в мировой ночи –
не обращай вниманья!
Гляди в холодное ничто,
в сиянье постигая то,
что выше пониманья.

Г. Иванов и хотел бы обрасти такой защитной коркой ледяного бесстрастия, да у него не получается.

Когда же я стану поэтом
настолько, чтоб всё презирать,
настолько, чтоб в холоде этом
бесчувственным светом играть?

Но в том-то и дело, что он уже был поэтом, у которого, по выражению Гейне, трещина расколовшегося мира прошла через сердце.

Эстеты восхищались изысканной формой стихов Анненского, не замечая, не слыша их мучительной человеческой драмы. Это всё равно что на крик боли удовлетворённо констатировать, что у человека прекрасные голосовые связки. Отчего он кричит – им всё равно. Главное, что громко и выразительно. Этой нравственной глухотой эстетов возмущался В. Ходасевич. Между тем каждый стих его кричит об ужасе – нестерпимом и безысходном ужасе жизни.

Ведь если вслушаться в неё –
вся жизнь моя – не жизнь, а мука.

Об этом же – иронические строки Бродского:

У пейзажа черты – вывернутого кармана.
Пение сироты радует меломана.

Поэзия И. Елагина, несмотря на свою предельную театрализованность, сильна не внешним эффектом, а внутренним драматизмом.

И, начиная кидаться
в прожекторную струю,
поэт в своих декорациях
ставит драму свою.

Скорее, покупатель мой, спешу.
Я продаю товар себе в убыток.
Не хочешь ли билет в театр души,
который я зову театром пыток?

Я режиссёра столько раз просил
о том, чтоб мне переменили роль.
А эту исполнять нет больше сил,
не вынесу я больше эту боль.

«Какая боль ещё разбудит нас!» – прозорливо воскликнул в одном из стихов Б. Рыжий. А задолго до него Маяковский, который, по словам Л. Гинзбург, «большую часть из того, что люди делают в жизни, не делал или делал плохо, а умел только любить и писать стихи», взывал, всматриваясь в наши будущие лица:

Грядущие люди! Кто вы?
Вот я – весь боль и ушиб.
Вам завещаю я сад фруктовый
моей великой души.

Пастернак говорил о его лирике: «Я очень любил раннюю лирику Маяковского. На фоне тогдашнего паясничанья её серьёзность, тяжёлая, грозная, жалующаяся, была так необычна. Это была поэзия мастерски вылепленная, горделивая, демоническая и в то же время безмерно обречённая...»

Солнце! Отец мой! Сжался хоть ты и не мучай!
Это тобою пролитая кровь моя льётся дорогою дольней.
Это душа моя клочьями порванной тучи
в выжженном небе на ржавом кресте колокольни!

Ранний Маяковский – поэт пронзительной душевной муки, обиды и жалобы. Что такое Маяковский без трагической лирики? Один сплошной плакат. Он и футуризм понимал прежде всего как противостояние обыденному, привычному и отвратительно спокойному течению жизни. Наиболее ярко это проявилось в его трагедии «Владимир Маяковский» (1913 год), сыгранной в петербургском театре «Луна-парк» любительской труппой общества художников «Союз молодёжи». Первая футуристическая пьеса привлекла внимание культурной элиты. Театр был полон: в ложах, в проходах, за кулисами набилось множество народа. К. Чуковский вспоминал: «Ждали колоссального скандала, пришли ужасаться, негодовать, потрясать кулаками, свистать, – а услышали тоскующий лирический голос, жалующийся со страстной искренностью на жестокость и бессмысленность окружающей жизни.

Придите все ко мне, кто рвал молчание,
кто выл оттого, что петли полдней туги,
я вам открою словами простыми, как мычание,
наши новые души, гудящие, как фонарные дуги.

Большинство было разочаровано, но кое-кому в этот день стало ясно, что в России появился могучий поэт, с огромной лирической силой».

В. Шкловский писал Ю. Тынянову о Маяковском во второй половине апреля 30-го года: «Он был искренне предан революции. Нёс сердце в руках, как живую птицу. Защищал её локтями. Его толкали. И он чрезвычайно устал. Личной жизни не было. Поэт живёт на развёртывании, а не на забвении своего горя. Он страшно незащищён».

Ты шлешь моряков на тонущий крейсер,
туда, где забытый мяукал котёнок.

Это он сам, всеми забытый Маяковский, мяучит и хочет, чтобы его пригрели. Когда ему было особенно тяжело, он просил друзей: «Отнесись ко мне».

У лет на мосту, на презренье, на смех,
земной любви искупителем значась,
должен стоять, стою за всех,
за всех расплачусь, за всех расплачусь.

Он не стыдился своих слез.

Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина стонет, корчится...

* * *

Брошусь на землю, камня корою
в кровь лицо изотру, слезами асфальт омывая...

Он зачёркивал строки о косом дожде, находя их чересчур чувствительными, он «себя смирял, становясь на горло собственной песне», называл себя «волом», даже «волицем», о своих стихах говорил, что они «бегемоты», что у него «слоновья шкура», которую не пробить никакой пулей. На самом деле он жил без обыкновенной человеческой кожи.

Но мне люди – и те, что обидели –
вы мне всего дороже и ближе.
Видели –
как собака бьющую руку лижет?

Художник Ю. Анненков вспоминал, как в 29 году в Париже встретился с Маяковским в ресторане. Тот спросил его, когда он собирается в Москву. Анненков ответил, что не собирается, так как хочет остаться художником. «А я – возвращаюсь, так как я уже перестал быть поэтом. Теперь я – чиновник», – сказал он тихо и зарыдал. Служанка ресторана, напуганная рыданиями, подбежала: «Что такое? Что происходит?» Маяковский жестоко улыбнулся и ответил по-русски: «Ничего, ничего. Я просто подавился косточкой».

В памяти невольно всплывают строки Есенина: «И уже говорю я не маме,/ а в чужой и хохочущий сброд:/ «Ничего, я споткнулся о камень./ Это к завтраму всё заживёт».

Маяковский написал в предсмертном письме, что «любовная лодка разбилась о быт». На самом деле его жизнь разбилась о поэзию. Он погиб, изготавливая лирические стихи. Он отравился ими.

Одна из дочерей Тютчева, Дарья, была фрейлиной императрицы Марии Александровны. Она так и не вышла замуж. В молодости у неё было глубокое чувство к Александру II. Дарья поделилась своей тайной с отцом, и тот с большим тактом и пониманием чувств дочери сумел отговорить её от опрометчивого шага. Результатом этого разговора стало прекрасное стихотворение поэта, посвящённое большой и верной любви дочери:

Когда на то нет Божьего согласия,
как ни страдай она, любя, –
душа, увы, не выстрадает счастья,
но может выстрадать себя...

Сам Тютчев эту чашу страданий испил до дна. После смерти последней и главной своей любви Лёли Денисьевой он пишет А. Георгиевскому, мужу её сестры: «Пустота, страшная пустота... Даже вспомнить о ней – вызвать её, живую, в памяти, как она была, глядела, двигалась, говорила, и этого не могу. Страшно, невыносимо...»

Любила ты, и так, как ты, любить –
нет, никому ещё не удавалось!
О Господи! и это пережить...
И сердце на клочки не разорвалось...

Тютчев на протяжении долгого времени жадно стремился встречаться с людьми, знавшими Денисьеву, в разговорах с ними она хоть в воображении оживала для поэта. Он даже писал тогда: «Право, для меня существуют только те, кто её знал и любил». Он объездил все места в Петербурге, где они бывали вместе с Лёлей. И всё же это не могло облегчить его душу. Старшая дочь Анна, к которой Тютчев приехал в Германию, была потрясена его состоянием. «Он постарел лет на 15, – пишет она сестре, – его бедное тело превратилось в скелет». Через 7 месяцев после своей утраты он встретился с Тургеневым, который вспоминал потом, как Тютчев «болезненным голосом говорил, и грудь его сорочки под конец рассказа оказалась промокшей от падавших на неё слез». Всё это свидетельствует о безусловно жизненной (а не только художественной) правде созданных тогда его трагедийных стихотворений, вошедших в сокровищницу мировой лирики.

Нет дня, чтобы душа не ныла,
не изнывала б о былом,
искала слов, не находила,
и сохла, сохла с каждым днём, –
как тот, кто жгучею тоскою
томился по краю родном
и вдруг узнал бы, что волною
он схоронен на дне морском.

Это было время страшного, беспощадного, неумолимо отчаянного раскаяния, которое столько раз предрекала она. Тютчев жестоко укорял себя, что, в сущности, именно он сгубил её тем двусмысленным положением, в которое поставил. Сознание

вины удесятерило его горе. Иногда казалось, ещё чуть-чуть – и рассудок не выдержит самоистязания. Ничто не излечивало от душевного недуга, не выводило из состояния страшного одиночества. Не спасло и бегство из Петербурга – сначала в Женеву, потом – в Ниццу. Нигде он не мог спастись от самого себя.

О, этот юг, о, эта Ницца!
О, как их блеск меня тревожит!
Жизнь, как подстреленная птица,
подняться хочет – и не может...
Нет ни полёта, ни размаху –
висят поломанные крылья,
и вся она, прижавшись к праху,
дрожит от боли и бессилья.

Он пишет дочери Дарье: «Не было ни одного дня, который я не начинал бы без некоторого изумления, как человек продолжает ещё жить, хотя ему отрубили голову и вырвали сердце».

О Господи, дай жгучего страданья
и мертвенность души моей рассей;
Ты взял её, но муку вспоминанья,
живую муку мне оставь по ней.

Мучения души присущи всякому истинному поэту, любых времён и эпох.

Казалось, что и боль подсована
и поднимается, как в градуснике.
А сердце, как большой подсолнух,
где выскребли всё семя радости.

Л.Губанов

Я – умственный, конечно, инвалид.
Черты безумия во мне преобладают.
Как ни корми, душа моя болит,
когда другие жизни голодают.

Ю.Мориц

Как писал А.Кушнер, «исторически эти невроты/ объясняются болью за всех,/ переломным сознанием и бытом/, эти нервность, и бледность, и пыл,/ что неведомы сильным и сытым».

Многие неискушённые в поэтическом деле люди искренне полагают, что поэзия – это когда «красиво», «изячно», изысканно, принимая за красоту благостность, слащавость и приторность, что по существу – пошлость. У Б. Рыжего есть саркастическое стихотворение, навеянное строчками неизвестного автора, выложенными кремом на торте: «Перед вами торт «Букет». Словно солнца закат – розовый...Прекрасен, как сок берёзовый». Автор, видимо, думал, что выразился очень поэтично, не понимая, что эти тошнотворно сладенькие вирши, адекватные своему сливочному содержанию – воплощение великой пошлости поэзии, вернее, её самозванной сестры, нередко успешно выдаваемой за настоящую. И это не так уж смешно и безобидно, как кажется на первый взгляд.

Вот и мучаюсь в догадках,
отломив себе кусок –
кто Вы, кто Вы, автор сладких,
безупречных нежных строк?
Впрочем, что я – что такого,
в мире холод и война.
Ах, далёк я от Крылова,
и мораль мне не нужна.
Я бездарно, торопливо
объясню в двух словах –
мы погибнем не от взрыва
и осколков в животах.
В этот век дремучий, страшный –
открывать ли Вам секрет?
Мы умрём от строчки Вашей:
«Перед вами торт «Букет»...

Есть опасность в том, что обычно противопоставляется маргинальной поэзии: неумеренный «телячий» восторг, дешёвое жизнелюбие, не оплаченное ни страданием, ни болью, ни отчаянием. Лермонтов сказал о поэте, что он «покупает неба звуки, он даром славы не берёт». И плата бывает непомерно высока, порою – ценою в жизнь.

Встречаются стихи формально безукоризненные, безупречные по стилю и слогу, где во всём соблюдено чувство меры. Это как будто всё та же гармония, но стихи почему-то не трогают. О подобных стихах обычно говорят: холодное совершенство. Гармония их создана не вдохновением, а мастерством. Поэзия, рождённая истинным вдохновением – это всегда «уголь, пылающий огнём». Прекрасно сказал об этом И. Елагин:

И что там какие-то тайны –
секрет мастерства, –
пусть будут, как звёзды, случайны
ночные слова,
пусть падают криво и косо
в овраги стиха, –
вот так же летят под колёса
листвы вороха.
Но помни, что с болью, со стоном,
как грех на духу,
вот так же слова исступлённо
отдашь ты стиху,
но помни, что ты настоящий –
лишь всё потеряв,
что запах острее и слаще
у срезанных трав,
что всякого горя и смрада
хлебнёшь ты сполна,
что сломана кисть винограда
во имя вина.

Поэту всё во благо, всё впрок. Только перегорев в огне своих бед и страстей, переплавив всё это в золото строчек, он становится тем, кем остаётся в благодарной памяти потомков. Как говорила Цветаева: «А зато... А зато – всё».

Л. Губанов, долгие годы лишённый аудитории, нормального творческого общения, парил в одиночестве, готовил свои машинописные сборники. И – как ни странно – был благодарен судьбе, державшей его в чёрном теле и этим закалившей, не дававшей расслабиться.

А чёрный всадник на коне,
он держит плётку в пятерне,
он ничего не говорит,
он зубы скалит на гранит,
и только конь его храпит,
и только Бог меня хранит.
Спасибо, плётка, что была
всегда румяна да бела,
что от угла и до угла
меня гоняла, как пчела.
За то спасибо, что жиреть
мне не дала, и в тишине
следила, как бы не привык
я мёдом мазать свой язык.
Спасибо вам за этот гнёт.
Кто не исхлёстан был – тот врёт,
а я от боли хоть и пил,
но всё же душу сохранил.
И золотую россыпь слов
сумел не утопить в вине.
И Сатаны бледнеет зов,
и крылья крепнут на спине.

У Г. Иванова часто встречаются строки, отравленные ядом безверия и безысходности:

Как обидно – чудным даром,
божьим даром обладать,
зная, что растратишь даром
золотую благодать.
И не только зря растратишь,
жемчуг свиньям раздаря,
но ещё к нему доплатишь
жизнь, погубленную зря.

Но – ничего не зря в мире поэта. «Писателю и умирать полезно», – как говорил Л. Синявский. И собственную жизнь, и свою поэзию Г. Иванов сумел обратить в легенду. По его словам, дело поэта – создать «кусочек вечности ценой гибели всего временного – в том числе нередко и ценой собственной гибели». С опозданием на несколько десятилетий ивановский «кусочек вечности» стал достоянием и нашего читателя.

Приближается звёздная вечность,
рассыпается пылью гранит.
Бесконечность, одна бесконечность
в леденеющем мире звенит.
Это музыка миру прощает
то, что жизнь никогда не простит.

Это музыка путь освещает,
где погибшее счастье летит.

* * *

Мир оплывает, как свеча,
и пламя пальцы обжигает.
Бессмертной музыкой звуча,
он ширится и погибает.
И тьма уже не тьма, а свет.
И да – уже не да, а нет.

«Всё, всё, что гибелью грозит, для сердца смертного сулит неизъяснимы наслажденья». В одной из своих статей 32 года Б. Поплавский писал: «Мы живём уже не в истории, а в эсхатологии», и это ощущение конца цивилизации, приближения апокалипсиса пронизывает всё его творчество.

Пылал закат над сумасшедшим домом,
там на деревьях спали души нищих.
За солнцем ночи, тлением влекомы,
мы шли вослед, ища своё жилище.

Была судьба, как белый дом отвесный,
вся заперта, и стража у дверей,
где страшным голосом на ветке лист древесный
кричал о близкой гибели своей.

Поплавский не утруждал себя поисками работы на Западе. Он хотел быть свободным для занятий в библиотеке, для творчества. Когда делал предложение невесте, предупредил: «Денег у меня не будет никогда, я обречён на нищету, но свободой не поступлюсь». И, словно в продолжение этого разговора – строки из его дневника: «Она упрекала меня: – Из Вас ничего не выйдет. Вы не хотите работать. – Кто-нибудь же должен так жить.

О, я, мечтая и безнадежно улыбаясь туманам, я оправдан перед собою...»

Поплавский сознательно обрекает себя на «неуспех»: неудача для него в чём-то более музыкальна, чем удача. «Удаваться и быть благополучным мистически неприлично», – писал он. Музыка для него определяет гармоничность жизни. Самосохранение, борьба за успех, за популярность для него антимузыкальны. (Нечто вроде пушкинского «служенье Муз не терпит суеты».) И, как иллюстрация к этой мысли, ещё одна цитата, из автобиографического романа Поплавского «Домой с небес»: «Нет, Олег, она и не заметит твоего отчаяния, потолстеет, по-скотски огрубеет, выйдя замуж за белобрысого молодого человека себе на уме, который всё понял и умеет себя держать, родит, вступит в жизнь, как волчица, корова, кобыла, всеми четырьмя копытами вращается в навоз... и застынет, оплывёт жиром среди карт, книг, благотворительности собачьей, свиной, конурной жизни. А ты, Олег, иди теперь, несись, как планета, оторвавшаяся от солнечного притяжения, своею головокружительной дорогой пустыни, сходя с ума от скорости, пустоты и свободы...»

Его нищета добровольна, ибо «погибающий согласуется с духом музыки». Сам мир, как он его понимает, оправдан только музыкой. Поплавский применяет это слово так, как употреблял его Блок («Эта чёрная музыка Блока»). За это слово настойчиво держались и Ходасевич, и Г. Иванов. Но Поплавский сказал о музыке нечто такое, чего до него не сказал никто. Н. Берберова называла его «гениальным неудачником».

Выйди в поле, бедный горожанин.
Посиди в кафе у низкой дачи.
Насладись, как беглый каторжанин,
нищетой своей и неудачей.
Пусть за домом ласточки несутся.
Слушай тишину, смежи ресницы.
Значит, только нищие спасутся.
Значит, только нищие и птицы.

«В роскошной бедности, в могучей нищете/ живи спокоен и утешен», – вспоминается воронежский Мандельштам. «Это я, обанкротившись дочиста, уплываю в своё одиночество», – вторит им Елагин. Красота поражения. Роскошь нищеты. Музыка неудачи. «Сильным и сытым» хозяевам жизни, вступающим в неё «всеми четырьмя копытами», этого не понять. Это хорошо понимает Татьяна Бек:

У меня сарафан, у меня босоножки без пяток
и могучая странность – выпаривать счастье из бед.
...Да, была горемыкой. Но если рассмотрим остаток –
он блажной, драгоценный и даже прозрачный на вид.

Понимал Бродский:

Как велики страдания твои.
Но, как всегда, не зная, для кого,
твори себя и жизнь свою твори
всей силою несчастья своего.

Закончить этот раздел я снова хочу стихами местного автора. Павла Шарова я открыла для себя случайно, года два тому назад. Мне попала в руки газета «Сфера» десятилетней давности, где были помещены подборки саратовских поэтов, и я сразу обратила внимание на стихи этого – двадцатилетнего тогда – юноши. Они произвели на меня сильное впечатление, и я запомнила это имя. А потом я увидела Павла на поэтическом вечере в «Камелоте», где он читал свои новые стихи из только что вышедшей книжки «Рукопись». Стихи эти меня поразили какой-то энергией отчаяния, энергетикой боли, бесстрашием правды. Они не просто трогали – царапали, скребли, били по нервам, и отталкивали, и влекли одновременно. Я написала потом всё, что думала об этих стихах, в своей книге «По горячим следам» в новелле, которую сгоряча назвала «Гений». И я не боюсь этого слова, хотя гений он или нет – покажет время, большое видится на расстоянии, а в своём отечестве, как известно, пророков не водится. Но то, что это поэт подлинный, со своей темой, интонацией, с высоким уровнем мастерства – факт неоспоримый.

В начале 2004 года у Шарова вышла ещё одна, третья книга «В четверг после дождя», которая ещё больше укрепила меня в высокой оценке его дарования.

Ночью на кухне. И сна нет,
нет ни в одном глазу.
Лунное небо манит
душу – она внизу
ползает, от бессилья
воет, не может в толк
взять: кто подрезал крылья?!

Ибо летать – это долг
душ. Да, летать. А в яме
жизни, слепым, как червь,
ползать – ан дудки! Я не
сытая падалью чернь.
Ночь. Сигарета. Где уж
тут мне уснуть. Вот так,
верно, и старец-дервиш,
глядя на Зодиак,
верил созвездьям, немо
к ним обращал мольбу.
Но безучастно небо,
если клеймо на лбу –
даже клеймо провидца!
Мир – поросячий хлеб.
Людям милей чечевица,
чем первородства хлеб.

Многим стихи Шарова покажутся слишком мрачными. И немало уже упрёков в их адрес по сему поводу звучало. Но я считаю, что если поэт так воспринимает мир, если ему в нём подчас темно, неуютно, холодно, больно – зачем это скрывать, обманывать себя, свою душу, читателя. Мы все глубоко метафизичны, и незачем душить эту глубину. Жизнь ведь вовсе не так благостна, как нам бы хотелось, она всякая бывает, надо иметь мужество видеть и другую, тёмную сторону луны. Нельзя отменить метафизичность страдания. Поэт отражает мир так, как его ощущает – предельно честно и адекватно. А то, что порой выдаётся за гармоничность мироощущения – нередко не что иное, как толстокожесть и неспособность чувствовать чужую боль. Вот сделайте мне красиво – а до остального – мрачного и больного – мне нет никакого дела. Как это у Л. Миллер? «Да уймись, говорят, – светит солнышко дивно./ Что ты все о дурном? Даже слушать противно». У А. Кушнера есть такие строчки:

Ты думаешь, что ты стихи читаешь,
прочтёшь строку и, вздрогнув, перечтёшь.
Ты руку в боль чужую погружаешь
и, горяча ль, на ощупь узнаёшь.

Стихи Шарова будят в нас эту способность – чувствовать чужую боль. А в этом и состоит главное назначение поэзии.

Убелённые крыши.
И не спится. И в горле комок.
Полюби меня, слышишь!
В этом мире, где всяк одинок.

Моим внутренним криком,
как ножом, так изранена ночь,
что пред ангельским ликом
не сумею себя превозмочь.

Сроду не был паяцем
и шутом, но не праведник, чай.

А житуха по яйцам
бьёт серпом – получай!

Нет, совсем не умею
объясняться словами: пуста
оболочка. Не умею,
и ложится печать на уста.

Не святым страстотерпцем –
но явился я грешником в мир.
Что же делать мне с сердцем?
Пред тобою и наг я, и сир.

Всё закончится плачем,
он вот-вот разорвёт мою грудь.
Человек-то незначим,
коль у мира животная суть.

Как остаться мне голым
человеком на голой земле,
где бездушье – уколом,
и весь мир на игле?!

Как могу, заклинаю,
лоб о полночи стену разбив,
как дитя, пеленаю
крик: «Меня полюби!»

Чистый голос тоски, открытая лирика без привычной сейчас иронической маски. Побеждать одиночество в одиночку подвластно далеко не многим... Берёт за глотку абсолютная, обескураживающая искренность поэта. На презентации его последней книги в Областной универсальной библиотеке схожее впечатление было не у меня одной. Издатель Ю. Сидоренко даже откликнулся на стихи Шарова такими строчками:

...Не стоит тянуть в изумлении брови,
экран этой жизни всегда полосит.
Поэт перед вами, раздетый до крови,
и тёплая кожа на стуле висит.

Книгу Шарова тогда на вечере приобрели многие. Но мне хотелось бы поговорить сейчас о других, ещё не опубликованных его стихах.

Я устал ломать голову, размышляя: ну чей
я? Бога? Или, может быть, чёрта?
Принадлежу ли к породе я сволочей
или всё-таки человек, что звучит, как известно, гордо.

...Небытие, оно ведь гораздо ближе к нам, чем
принято думать – прячется вон за шкафом!
Ну а в жизни вокруг тебя та же чернь,
что и в прежние времена. Ей бы кайфом
перебить в себе душу, живую боль...

Казалось бы, перед нами нечто, написанное человеком с терапевтической целью самим для себя. Но – на грани с дневниковой открытостью – ему удаётся создать значимое не только для себя одного, и это главная загадка и удача его поэзии.

Ночь опоила густым первачом.
Друг мой, зачем говорить? и о чём?
Ангел в окошке, бес за плечом.

Выпавший снег не отбелит души.
В сердце пожар, и туши – не туши,
пепел останется лишь. За гроши

продал я молодость, и по пятам
гонится старость. Вот тридцать, а там –
возраст Христа. Этот город-бедлам,

в смертных грехах за глаза обвиня,
знать не желает тебя и меня,
чистую правду на кривду сменял.

Вот я сажу с сигаретой сам-друг.
Полночь берёт на измор, на испуг.
Но шевельнется надежда: а вдруг?

Вдруг всё получится. И не поздняк
(ну улыбнись!) мне метаться. Сквозняк
тянет из форточки. Жизнь-товарняк

где-то стоит на запасных путях.
Жизнь это, в сущности, просто пустяк.
Только одним в ней «всё просто ништяк»,

тошно другим. Из породы других
я, а иначе зачем вдруг затих
гул, и подмости?.. И гибнуть на них

нам суждено... Опоившая ночь
сходит на нет... лишь себя превозмочь
...в ступе судьбы свою жизнь истолочь.

Сомнения, неуверенность в себе и мироустройстве, тоска, бесцельность, бессмысленность существования – частые мотивы стихов Шарова. Сколько было нападков на них за это, обвинений в пессимизме, отсылок к светлому гармоничному Пушкину – вот у кого надо учиться отношению к жизни! Ой ли? А как вам у него такое:

Цели нет передо мною,
сердце пусто, празден ум
и томит меня тоскою
однозвучный жизни шум.

Шарова часто упрекают в упадочных, даже суицидных настроениях, в том, что его возраст ещё не даёт ему права на подобные заявления. Но вспомним, что в таком же возрасте Пушкин писал:

Но мне в унылой жизни нет
отрады тайных наслаждений.
Увял надежды ранний цвет,
цвет жизни сохнет от мучений.

Или то, что позволено Пушкину, не позволено быку?

Дар напрасный, дар случайный,
жизнь, зачем ты мне дана?

Но не будем уподобляться митрополиту Филарету, ханжески поучавшему и поправлявшему классика. Будем принимать поэта таким, каков он есть.

Незадолго до самоубийства Всеволод Гаршин писал другу: «Хорошо или нехорошо выходило написанное, это вопрос посторонний, но что я писал в самом деле одними своими несчастными нервами и что каждая буква стоила мне капли крови, то это, право, не будет преувеличением...» С неменьшим основанием эти слова можно отнести и к стихам Павла Шарова. Как писал Кушнер: «Всех ещё мы не знаем резервов,/ что ещё обнаружат – бог весть./ Но спроси нас: нельзя ли без нервов? / Как без нервов, когда они есть!»

Шаров, кажется, не пишет, а переживает свои стихи. Нервность, интонационная неровность: сбивчивость, перебой строки, срывы, всплески... У его стихов учащённый пульс. Они резки, импульсивны, похожи на чертёж электрокардиограммы. Читая их, понимаешь, что такое адреналин в крови.

Из дома гонит прочь, взащей,
метлой поганой,
и вниз за мной пять этажей
бежит лягавой –
вот-вот настигнет и порвёт
на клочья душу –
моё безумие. В пролёт
я брошу тушу,
я брошу тело, но душа –
она со мною, –
а тот, кто в спину мне дышал
стезёй земною, –
был это ангел или бес,
а то ли некто
в перчатках, с финкой, – он исчез
во тьме проспекта
длиною в жизнь. И у него
со мной не вышло
того-сего. И оттого –
кулак мне в дышло!
Я добежал, хотя за мной
Оно. И пробкой –
из двери! А над черепной
моей коробкой

возникнул нимб. Но рядом Зверь.
Запахло серой
и тьмой египетской. Теперь
прощайся с верой!..

Обыденное понятие о психической норме и психическом здоровье несовместимо с законами творческого мира. Как писала Мария Шкапская, «куда-то ведут – куда?/ слова на спутанном плане./ Безумье и жизнь всегда/ на острой, как бритва, грани». Поступать как все, жить по прописям – губительно для художника. Творчество – создание нового, а значит, быть творцом, по определению, могут лишь «отклоняющиеся» люди. Вся культура с точки зрения обыденного сознания – большой странноприимный дом, если не сказать больше.

Моё безумие – оно
как вирус некий:
им всё вокруг поражено –
леса и реки,
земля и небо. Человек.
Мозг биосферы.
Пространство. Время. И навек
лишь запах серы.

Спускаясь в ад, и в жизненной преисподней важно оставаться Орфеем. Кроме ада – повседневного, кухонного, уличного – важно увидеть другое, то, что глазами не увидишь. В истинном поэте всегда живо стремление к совершенству, гармонии, «сквозь тернии – к звёздам». Способность разглядеть ангела в адском мраке, в любой тьме.

Веет холодом вечным и страхом:
равнодушное к охам и ахам,
небо давит бетонной плитой
мне на плечи. Как выдержать? Стой
до конца, пока твой позвоночник
не сломался. Но где тот источник
животворный? К нему бы припасть –
только дудки! Разинута пасть
бога Хроноса – эта воронка
засосёт и Орфея. Где тонко,
там и рвётся. А тонко – везде!
Улететь бы к далёкой звезде,
зная точно: погасла, и свет лишь
вдохновляет на подвиг. Но медлишь,
всю-то жизнь медлишь ты, а душа
обветшала. Её тормоша –
ну очнись же! – ты слышишь: «Sic transit...»
А звезда та далёкая дразнит.

Трагическое мировосприятие – сама природа, органика и суть этого поэта. Советы «поменять» его на более светлое и оптимистичное – бессмысленны. «Пера я не переучу и горла не переиначу», – как писал Тарковский. Поменять мировосприятие значило бы перестать быть именно таким поэтом, а скорее всего даже вовсе перестать им быть. Стать никем, выровняться по поэтическому ранжиру. Мы должны считаться с конкретным мироощущением художника, признавать его право на собственный поэтический мир,

живущий по законам его творческой воли. Продираясь сквозь шипы и тернии этого неуютного, дисгармоничного «страшного мира», получаешь иное пространство, другой взгляд. Взгляд с изнаночной стороны, с «чёрного хода». «Сквозь слез», как писали в старину.

Мне выпал чёрный день,
как жребий, выпал.
И я тебя не выбрал,
о жизнь! Ты – тень
тех облаков, где я
жил прежде этой жизни.
И пух их одеял
в той облачной отчизне
был лёгок, невесом,
там не было удушья.
А эта жизнь – лишь сон
тупого равнодушья.
Очнусь в конце концов!
Не чёрен, не свинцов,
но будет день тот светел,
когда душа, легка,
обнимет быстрый ветер,
взлетит на облака.

Кажется, поэт повторяется, перепевает одно и то же. Но на самом деле эта тема у него живёт в таких неповторимо отобранных подробностях внешнего и внутреннего мира, что каждый раз воспринимается и ощущается по-новому.

Ещё один
упал листок с календаря.
Мне до седин
дожить бы и сказать: не зря
был этот плач
по жизни, уходящей из-под ног.
Сыграй, скрипач!
Пускай взлетает твой смычок
над хлябью душ.
Из до-ре-ми-фа-соль-ля-си
создай, разрушь
и вновь из жизни воскреси
мир новый – он,
преображённый, будет юн.
То вещий сон
принёс на крыльях Гамаюн.

Терзанье пленного духа – главный нерв его поэзии, её фатальная тема. Он сводит счёты в своих стихах с жизнью, с Богом, с самим собой, что ещё больше усложняет и личную судьбу, и так называемый творческий путь незаурядного поэта.

Наследник капитана Немо,
я ухожу, но не под воду –
я ухожу в ночное небо,

душа стремится на свободу –
вон, вон отсюда!.. В мире чёрном
я подыхаю. Вышла боком
мне жизнь, хотя союза с чёртом
не заключал я. Ну а с Богом
ещё сведу я счёты. Или
Он – или я!.. Твой мир, христосик,
стоит на падали и гнили.
И развёрнутых верой мосек
науськал твоякать ты на ближних,
на тех, кто твёрже, выше духом.
В рай не достать билетов лишних?
Да был бы блат! И даже слухом
не надо обладать – так явно
сфальшивил ты, когда усердно
мир создавал. Не музыкально
творенье. И не милосердно...

Можно ужасаться брутальности, маргинальности многих стихов Шарова, нарисованными в них неприглядными картинками бытия, но что делать, если это реальность? Любители розовых кремовых строк («перед вами торт «Букет») воскликнут: «Зачем так писать о жизни, мы её и без того видим!» Но на подобные реплики даже и отвечать странно. Лучше дать слово поэту.

...Но я выбираю жизнь со всем её грязным исподним.
Я выбираю блуд, несколько о страхе Господнем
не беспокоясь. Я выбираю первую встречную: она-то, поверьте,
думает лишь о жизни, не видит в упор своей смерти,

пудря носик, в зеркало глядя.
Жизни нельзя прожить, не изгада
душу, которая на хер ни Богу, ни чёрту
не нужна – лишь тебе, если ты ещё можешь дать в морду

бритоголовому дауну, вывихнуть ему челюсть.
Да, одиночество лучше, но я выбираю челядь,
что толпится в прихожей, и я вместе с ней, а приёма
нет и не будет. Это уже аксиома.

Но я выбираю весну, что внезапна, как «здрасьте»
от незнакомца. И мир не распался на части –
от солнца воскрес, пока я обречённо думал: сей день последний;
а человек – ну, конечно, чёрный – торчал в передней.

Характерная черта поэтов-маргиналов – раздвоенное самоощущение себя как человека чужого в окружающем его мире.

В этом городе блуда и скверны
я люблю вас, безлюдные скверы.
На скамейке откупорить пиво,

заглядеться, хлебнув из горла,
как плывут облака. И глумливо
улыбнуться: ну вот и прошла

твоя молодость – плюнь ей вдогонку!
Оттолкнёт ли Харон плоскодонку
и услышу плескание вёсел –
ах, Психея, зачем психовать?
Сколько выпало зим нам и вёсен!
И на зеркало неча пенять,

коли рожа кривая. На небо
надо чаще глядеть – пусть нелепо,
да и глупо такое занятие,
пусть не жизни, а смерти видней, –
эту тему хотел бы замять я –
так, для ясности. Хватит о ней.

В стихах Шарова нам предстаёт урбанистический мир – чуждый человеку, смертельно опасный, порой трагический, но всегда оставляющий надежду.

Город – гроб моей души.
Неуёмно только тело.
Взяв за горло, как Отелло,
призрак счастья задуши!
Уходи, теперь свободен.
Улица. Из подворотен
пахнет блудом и мочой.
И с давно небритой рожей
ты несчастлив. Ты – прохожий.
Ночь – изветом. И свечой
оплыла луна, закапав
те кварталы, где во сне
умирают: сердце снег
заметает. Ни закатов,
ни рассветов – алкоголь,
дурь по вене, о пощаде
тщетно молишь, бога ради
отпустите душу, боль
нестерпима... Я о чём?
Ни о чём – такая наглость!
Но оставьте с глазу на глаз
с ангелом, а не с врачом.

Боль телесна. Умственной боли не бывает. Это судорожный поиск пути, он убеждает и заражает той дрожью, без которой нет поэзии. Это не игра пустыми знаками, каждое слово – рана, открытое чувство.

Ортега-и-Гассет писал, что жизнь представляется ему в виде кораблекрушения: взмахи рук тонущего человека – это и есть культура, во взгляде этого человека – вся правда жизни. «Я верю только идущим ко дну!» – заявил он.

Очередное крушение – боюсь, не в ночи,
в жизни. Но где же троллейбус,
тот, что по улицам мчит?
Прост – что разгадывать? – ребус:
сдан в переплавку...

Многим, возможно, судьба и творчество Павла Шарова останутся чужды. Если вы не похожи на этого поэта, если вы уверены в себе и в жизни, если вас окружает порядок, а не хаос, вам трудно будет воспринять, принять к сердцу его поэзию. И всё-таки прочтите его стихи, чтобы удостовериться – есть и другие, страдающие попусту и гибнущие ни за что, и, может быть, вы сумеете понять их, почувствовать и хоть на несколько шагов отвести от обрыва. Как точно сказала об этом Лариса Миллер:

Письмо, послание, прошение
от потерпевшего крушение.
Письмо, послание, призыв
от гибнущего к тем, кто жив.
Из заточенья, из неволи
сигнал смятения и боли,
мольба, отчаянье и крик...
Я устремилась напрямик
на голос тот...

Всех тех, начинающих падать и никнуть,
их надо позвать, непременно окликнуть,
их надо позвать, и расступится мгла.
Я снова пыталась, и вновь не смогла.

3. «Тут конец перспективы»

*Блатная музыка эпохи,
замысловатый матерок.*

* * *

*К чёрту сентиментальность.
Мы перешли черту.
Импортный дым империи
комом стоит во рту...*

*Нет ни любви, ни дома,
нету земли иной,
только черта излома,
откуда стекает гной.*

* * *

*Как в этом мире ни воем –
всё получается кич...
Вот –переполненный гном –
так разрывается свищ.*

*Что там фантазии Фрейда
или горячечный хит,
если незримая флейта
именно в язве звучит?*

С. Мнацаканян

Характерная особенность маргинальной поэзии – жёсткость, трезвость, горькая ирония, чёрный юмор. У Г. Иванова, например, в его ироничных стихах о бессмыслице жизни в 30-40-е годы зазвучала новая нота: циничная, издевательская, какой-то «юмор висельника»:

А люди? Ну на что мне люди?
Идёт мужик, ведёт быка.
Сидит торговка: ноги, груди,
платочек, круглые бока.

Природа? Вот она, природа –
то дождь, то холод, то жара.
Тоска в любое время года,
как дребезжанье комара.
Конечно, есть и развлечения:
страх бедности, любви мученья,
искусства сладкий леденец,
самоубийство, наконец.

Или:

Зазеваешься, мечтая,
дрогнет удочка в руке –
вот и рыбка золотая
на серебряном крючке.
Так мгновенно, так прелестно –
солнце, ветер и вода.
Даже рыбке в речке тесно,
даже ей нужна беда;
нужно, чтобы небо гасло,
лодка ластилась к воде,
чтобы закипало масло
нежно на сковороде.

Его поэзия балансировала на грани между музыкой бытия и бытовым цинизмом. В 70-е годы всю ёрничал Л. Губанов, демонстрируя чёрный юмор:

Я уже не хочу о чём-то думать,
и я застрелюсь, застрелюсь, пожалуй,
если не будет очень холодным дуло!

Однако от хронического юмора образуется цинизм, который, избавляя поэзию от излишнего пафоса и сбивая её с котурнов, что-то невосполнимо меняет в её химическом составе. Чувства заменяет ироническая маска, лиризм блокируется скепсисом и сарказмом. На губах постоянная горечь усмешки. Это характерно для стиля И.Бродского, который стал необычайно моден в конце 80-х. Ему подражали, его имитировали – то, что лежало на поверхности: «интеллектуализм», надменную иронию, скепсис на грани с цинизмом. «Служенье муз чего-то там не терпит». «Как дай Вам бог другими – но не даст!»

Он и к себе относился без всякой самопатетики. «Гражданин второсортной эпохи, гордо/ признаю я товаром второго сорта/ свои лучшие мысли». Невозможно было представить, чтобы он произнёс: «моя поэзия» или пуще того – «моё творчество». Всегда только – «стишки». Снижением своего образа Бродский как бы уравнивал высоту, на которую взмывали его стихи. Читаешь у него стихотворение, выдержанное в классическом ключе, и вдруг – какая-нибудь ёрническая метафора, выбивающая из привычного канона:

Теперь сентябрь. Передо мною сад.
Далёкий гром закладывает уши.
В густой листве налившиеся груши,
как мужеские признаки, висят.

Как бы своеобразный протест против условной иерархии вещей, согласно которой природа или любовь заведомо прекрасны, а тут возьми да и глянься чем-то непристойным. Словарь Бродского нередко оказывается чрезмерно «современным», в чём его справедливо упрекал Кушнер: «блзнит», «жлоблюсь о Господе», «кладу на мысль о камуфляже», «это мне – как серпом по яйцам». В любви для него нет тайны, сплошная физика:

Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав,
к сожалению, трудно. Красавице платье задрав,
видишь то, что искал, а не новые дивные дивы.
И не то, чтобы здесь Лобачевского твёрдо блюдут,
но раздвинутый мир должен где-то сходиться. И тут –
тут конец перспективы.

Бродский не сентиментален. Он чужд всяческой патетике и романтике. Всякое истинное чувство у него как бы берётся в кавычки. «Я считаю, что лес – только часть полена,/ что зачем вся дева, раз есть колена». Он зачастую груб и циничен. В стихотворении «Бюст Тиберия», обращаясь к римскому императору, пишет: «Приветствую тебя, две тыщи лет/ спустя. Ты тоже был женат на бляди./ У нас немало общего». Он называл вещи своими именами. Вот как он рисует портрет шведской литературоведки, которая скрашивала ему тоску ПЕНовского конгресса в Рио: «Помню очаровательное, светло-палевое с тёмно-синим рисунком платье, ярко-красный халат поутру – и лютую ненависть животного, которое догадывается о том, что оно животное, в два часа ночи».

Ведь каждый, кто в изгнание тосковал,
рад муку, чем придётся, утолить
и первый подвернувшийся овал
любимыми чертами заселить.

Та, по которой он тосковал и которую безуспешно пытался заменить другими, не любила его. Это была самая большая драма и поражение его жизни.

Зная мой статус, моя невеста
пятый год за меня ни с места.
И где она нынче, мне неизвестно.
Правды сам чёрт из неё не выбьет.
Сама она, видимо, там, где выпьет.

Они были слишком разными людьми. Кажется, потом это понял и сам Бродский.

Вот конец перспективы
нашей. Жаль, не длинней.
Дальше – дивные дивы
времени, лишних дней,
скачек к финишу в шорах
городов и т.п.
лишних слов, из которых
ни одно о тебе.

И всё-таки он скажет о ней ещё одно слово. Четверть века спустя, в 1989-м И.Бродский обратился к самой Главной и самой Любимой его женщине с такими стихами:

Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером
подышать свежим воздухом, веющим с океана.
Закат догорал на галерке китайским веером,
и туча клубилась, как крышка концертного фортепьяно.

Четверть века назад ты питала пристрастие к люля и финикам,
рисовала тушью в блокноте, немного пела,
развлекалась со мной, но потом сошлась с инженером-химиком
и, судя по письмам, чудовищно поглупела.

Теперь тебя видят в церквях в провинции и в метрополии,
на панихидах по общим друзьям, идущих теперь сплошной
чередой; и я рад, что на свете есть расстоянья более
немыслимые, чем между тобой и мною.

Людмила Штерн на правах друга юности позволила себе резко отозваться об этих стихах Бродского в своей книге, посчитав их не просто чересчур жестокими, но и недостойными его любви: «О чём он возвестил миру этим стихотворением? Что наконец разлюбил МБ и освободился, четверть века спустя, от её чар? Что излечился от хронической болезни и в честь этого события врезал ей в солнечное сплетение? Зачем было независимому, «вольному сыну эфира» плевать через океан в лицо женщине, которую он любил «больше ангелов и Самого»? Великий предшественник Бродского когда-то выразил великое чувство великими строчками: «Я Вас любил, любовь ещё, быть может...» Вот кто взял нотой выше. Бродскому эту ноту взять не удалось».

В одном из интервью Бродский признался, что «всю жизнь ощущал себя исчадием ада». Но, подобно Есенину, который после страшных оскорблений любимой женщине вдруг срывается на рыдание («Дорогая, я плачу, прости... прости...»), Бродского тоже выдаёт порой неловкий жест незащищённого чувства:

Дорогая, мы квиты.
Больше: друг к другу мы,
точно оспа, привиты
среди общей чумы.

Самая большая его боль при расставании была о Марине.

Горячей ли тебе под сукном шести
одеял в том садке, где – Господь, прости –
точно рыба – воздух, сырой губой
я хватал, что было тогда тобой?
Я бы заячьи уши пришил к лицу,
наглотался в лесах за тебя свинцу,
но и в чёрном пруду из дурных коряг
я бы всплыл пред тобой, как не смог «Варяг».

Эти же чувства подспудной тоски и нежности под маской грубости и цинизма читаются в стихотворении «Любовная песнь Иванова», в сюжете которого проглядывают черты личной драмы самого поэта. Какое-то душевное целомудрие заставляло Бродского избегать высокой лексики.

Но чувства наши прячутся не там,
(как будто мы работали в перчатках),
и сыщикам, бегущим по пятам,
они не оставляют отпечатков.

Любовная лирика словно стесняется самой себя, профанирует. Высокие слова обесцениваются, выглядят смешными, старомодными, интеллеktуал разучился произносить их всерьёз, не испытывая при этом чувства неловкости.

«Вся жизнь моя – неловкая стрельба/ по образам политики и секса». Бродский не сумел, как советовал Чехов, «оборониться от политики». Она его достала. Поэтому в его поэзии можно найти достаточно политических усмешек и сарказмов.

Скрестим же с левой, вобравшей когти,
правую лапу, согнувши в локте,
жест получим, похожий на
молот в серпе, – и, как чёрт Солохе,
храбро покажем его эпохе,
принявшей образ дурного сна.

Или вот строки из невинного на первый взгляд пасторального стихотворения 60-х годов «Лесная идиллия»:

С государством щей не сваришь.
Если сваришь – отберёт.
Но чем дальше в лес, товарищ,
тем, товарищ, больше в рот.

Ни иконы, ни Бердяев,
ни журнал «За рубежом»
не спасут от негодяев,
пьющих нехотя боржом.
Приглядишь, товарищ, к лесу!
И особенно к листве.
Не чета КПССу,
листья вечно в большинстве!
В чём спасенье для России?
Повернуть к начальству «ж»...

Идеал Бродского – это личная отдельность, частность существования, независимость от любых «тоталитарно-имперских» притязаний.

Я памятник воздвиг себе иной!
К постыдному столетию – спиной,
к любви своей потерянной – лицом,
и грудь – велосипедным колесом.
А ягоды – к морю полуправд.
Какой ни окружай меня ландшафт,
чего бы не пришлось мне извинять –
я облик свой не стану изменять.

Отношение Бродского к режиму можно было бы определить как брезгливое. Вот, к примеру, его «Стихи о зимней кампании 1980 года» – своеобразный отзыв на войну в Афганистане:

Слава тем, кто, не поднимая взора,
шли в абортарий в шестидесятых,
спасая отечество от позора!

Встречается у Бродского и «тюремная» лирика. Надо сказать, что до ареста за тунеядство у него был ещё один арест – за два года до этого. Поэт хотел тогда передать американцу рукопись приятеля, что-то про монизм. Дело было в Самарканде, они прилетели втроём: он, монист и ещё один тёртый малый. КГБ уже ходил за ними в открытую. Американец отказал, и тогда они придумали угнать в Иран самолёт местной линии (это была учебная машина, без пассажиров), но в последнюю минуту то ли передумали, то ли что-то сугубо техническое воспрепятствовало этому пиратству. По возвращении Бродского в Ленинград он был арестован и брошен в КПЗ, где его продержали три дня. Там Бродский написал стихотворение «КПЗ»:

Ночь. Камера. Волчок
хуярит прямо мне в зрачок.
Прихлёбывает чай дежурный.
И сам себе кажусь я урной,
куда судьба сгребаёт мусор,
куда плюётся каждый мусор.

Колочей проволокой лира
маячит позади сортира.
Болото всасывает склон.
И часовой на фоне неба

вполне напоминает Феба...
Куда забрёл ты, Аполлон!

Творчество Бродского – это микрокосм, где причудливо уживается всё: Бог и чёрт, вера и атеизм, целомудрие и цинизм.

В нынешней поэзии – и во многом благодаря Бродскому – исчез романтический флёр, пропал псевдопоэтический словарь, ушла литературность. «Писать навзрыд» сейчас вряд ли возможно. Запас слез исчерпан. Как и запас высоких слов. Все катаклизмы – внутренние, подобные внутреннему кровоизлиянию или закрытому перелому. Поэт сегодня не может открыто выплеснуть свои чувства, не может позволить себе роскошь быть сентиментальным.

Жалея мальчика, который в парке
апрельском промолил не только ноги,
но и глаза – ученичок Петрарки, –
наивные и голые амурсы,
опомнившись, лопочут, синеоки:
– Чего ты куksiшься? Наплюй на это.
Как можно убиваться из-за дыры?
А он своё: Лаура, Лауретта...

Б. Рыжий

Поэты вынуждены понижать голос и сбавлять тон, это единственная возможность быть услышанными в нашу эпоху. И не только понижать голос, но и занижать лексику. Кажется, ни о чём уже нельзя всерьёз, о любви – лишь с матерком и кривой ухмылкой («как много может лёгкий матерок!»), о прошлом и будущем – небрежно и с ехидцей.

Век много душ унёс. Пусть будут просто
пустые стулья. Сядь и не грусти.
Налей вина и думай, что они
под стол упали, не дождавшись тоста.

Б.Рыжий

Кто-то остроумно заметил: «Сейчас уже не скажешь: «Я помню чудное мгновенье». Если только: «Я помню чудное мгновенье, твою мать!» Тогда лишь тебе поверят». Увы, это не шутка. У Рыжего читаем почти дословно:

Мотивы, знакомые с детства,
про алое пламя зари,
про гибель, про цели и средства,
про Родину, чёрт побери.
...Так зелено и бестолково,
но так хорошо, твою мать,
как будто последнее слово
мне сволочи дали сказать.

Любовь к родине для Рыжего, как и к женщине, слишком целомудренное, трепетное чувство, чтобы кричать о нём на всех перекрёстках. («Не признавайтесь в любви никогда...»). Подобно другому поэту, Роману Тягунову, написавшему: «Я никогда не напишу о том, как я люблю Россию», Рыжий пишет:

Как некий, скажем, гойевский урод
красавице в любви признаться, рот
закрыв рукой, не может, только пот
лоб леденит, до дрожи рук и ног
я это чувство выразить не мог,
ведь был тогда с тобою рядом Бог.
Теперь, припав к мертвеющей траве,
ладонь прижав к лохматой голове,
о страшном нашем думаю родстве.
И говорю: люблю тебя, да, да! –
до самых слез, и нет уже стыда,
что некрасив, ведь ты идёшь туда,
где боль и мрак, где илистое дно,
где взор с осадком, словно то вино...
Иль я иду, а впрочем – всё одно.

(Не могу удержаться от саркастического сравнения с громогласным куракинским «ты ещё нужен России!..» Истинная любовь не имеет ничего общего с самовлюблённым, напыщенным «патриотизмом»).

Я так люблю иронию мою.
И жизнь воспринимаю как удачу –
в надежде на забвеньё, словно чачу,
её, хотя и морщуся, но пью,

– признаётся Рыжий. Поэту перековали горло. Он не может петь бель канто, если голос – сиплый, совсем не мелодичный и для виолончельной лирики не приспособлен. Меня поразило его стихотворение об ангеле – ручаюсь, таких ангелов никому ещё в поэзии не встречалось! Рыжий обращается к своему ангелу-хранителю отнюдь не с возвышенными словами, выговаривая за то, что тот плохо исполнял свою работу:

...Это ладно, всё это детали,
одного не прошу тебе, ты,
блин, молчал, когда девки бросали
и когда умирали цветы.
Не мешающий спиться, разбиться,
с голым торсом спуститься во мрак,
подвернувшийся под руку птица,
не хранитель мой ангел, а так.
Наблюдаешь за мною с сомнением,
ходишь рядом, урчишь у плеча,
клюв повесив, по лужам осенним
одинокие крылья влача.

(Вспомнилось у Т. Бек: «Мой ангел был мертвецки пьян...»). Ирония помогает Рыжему быть органичным, естественным в интонации, не сфальшивить ни в одной ноте. Поэтому ему веришь. «По комнатам пройду – прохладны и пусты./ Зайду на кухню – оп! – два ангела за чаем!». Поди пойми, почему у одного ангелы живые, а у другого (у Кековой, например) – бумажные, выморочные. Почему одному веришь на слово, а другому – нет.

Ах, одиночество порою,
друзья, подталкивает нас
к цинизму жуткому, не скрою,
но различайте боль и фарс.

А боль была и разрывала ему сердце и горло. «Боже мой, не бросай мою душу во зло, я как Слуцкий, на фронт, я как Штейнберг – на нары...» Попытка жить с сухими глазами и говорить сухими словами дорого даётся.

Мне не хватает нежности в стихах,
а я хочу, чтоб получалась нежность,
как неизбежность или как небрежность,
и я тебя целую впопыхах,
о муза бестолковая моя!
Ты, отворачиваясь, прячешь слезы,
а я реву от этой жалкой прозы,
лица не пряча, сердца не тая.

Так писал поэт с недоперекованным горлом. Остался в нём неизжитый есенинский плач, какая-то непрощенная открытость и бесшабашность. Его не устраивала муза, которая прячет слезы. Может быть, в этой несовременности и крылась одна из причин того, что он так трагически рано сорвался с орбиты.

И не злоба уже, но какая-то вечная жалость
и печаль на душе, и любовь. Вот и всё, что осталось
чёрной ночью без снов.

Несмотря на браваду, фронду, стёб, иронию, не оставлявшие ни малейшего зазора для сентиментальности, в стихах Рыжего живёт и светит любовь, любовь и жалость – не к себе, любимому, а к людям, самым обычным, ничем не примечательным. Неожиданная нежность, которую он испытывает к нищему бомжу, рывшемуся на помойке и нашедшему там стеклянную баночку:

Утро, и город мой спит, счастья и гордости полон.
Нищий на свалке стоит – глаз не отводит, глядит
на пустячок, что нашёл он.
Этак посмотрит и так – старый и жалкий до боли.
Милый какой-то пустяк. Странный какой-то пустяк.
Баночка, скляночка, что ли.

Это пронзительная жалость к дворовому дурачку Пете, которого хоронили без музыки:

...А когда он умер тоже – не играло ни хрена.
Тишина, помилуй боже. Плохо, если тишина.
Кабы был постарше я, забашлял бы девкам в морге,
прикупил бы в военторге я военного шмотья.
Заплатил бы, попросил бы, занял бы, уговорил
бы, с музоном бы решил бы, Петю, бля, похоронил.

Жалость к незнакомой грустной девушке, увиденной в пустом трамвае:

Ночью поздней, в трамвае пустом –
новогодний игрушечный сор.
У красавицы с траурным ртом
как-то ангельски холоден взор.
Пьяный друг мне шепнёт: «Человек
её бросил? Ну что ж, ничего –
через миг, через час, через век
и она позабудет его».
Я, проснувшись, скажу: «Может быть,
муж на кофточку денег не дал...»
А потом не смогу позабыть,
вспомнив нежную деву-печаль.
Как, под эти морщинки у губ,
подставляя несчастье своё,
я – наружно и ветрен, и груб –
и люблю, и жалею её.

Удивительная, трогаящая до слез, до мурашек по коже человечность и жалость к незнакомой девочке, погибшей в одну из первых бомбёжек в Чечне, – в стихотворении «Девочка с куклой». Невольная переключка со «Старыми эстонками» Анненского («сыновей ваших – я ж не казнил их...») не умаляет самодостаточности поэта. Я привожу это стихотворение полностью, потому что оно открывает нам совершенно иного Рыжего, открывает его подлинное лицо.

С мёртвой куколкой мёртвый ребёнок
на кровать мою ночью садится.
За окном моим белый осколок
норовит оборваться, разбиться.

«Кто ты, мальчик?» – «Я девочка, дядя,
погляди, я как куколка стала...»
– «Ах, чего тебе, девочка, надо,
своего, что ли, горя мне мало?»

«Где ты был, когда нас убивали?
Самолёты над нами кружились...»
«Я писал. И печатал в журнале.
Чтобы люди добрей становились...»

Искривляются синие губки,
и летит в меня мёртвая кукла.
Просыпаюсь – обидно и жутко.
За окном моим лунно и тускло.

Нет на свете гуманнее ада,
ничего нет банальней и проще.
Есть места, где от детского сада
пять шагов до кладбищенской рощи.

«Так лежи в своей тёплой могиле –
без тебя мне находятся судьи...»
Боже мой, а меня не убили
на войне вашей, милые люди?

1995, декабрь

У В. Маяковского есть убийственная строчка, которую невозможно произнести без чувства внутренней неловкости за поэта: «Я люблю смотреть, как умирают дети». Леонид Равич – его ученик и поклонник – как-то процитировал поэту эту его строку, и тот раздражённо сказал: «Надо знать, почему написано, для кого написано. Неужели Вы думаете, что это правда?» Любил ли он смотреть, как умирают дети? Он не мог смотреть, как бьют лошадь, как умирают мухи на липкой бумаге, ему делалось дурно. Он просто нашёл образ, способный шокировать толстокожего обывателя, приверженца старого. «Вам, берущим с опаской и перочинные ножи...» Кто поверит, что эти издевательские строки написал человек, смертельно страшившийся вида крови и действительно бравший с опаской перочинный нож и даже иголку?

Дайте любую красивую, юную –
души не растрочу, изнасилую
и в сердце насмешку плюну я!

Зачем он на себя наговаривает? «Я выжег души, где нежность растили...»

Л. Брик пишет: «Маяковский был человеком огромной нежности. Грубость и цинизм он ненавидел в людях. За всю нашу жизнь он ни разу не повысил голоса ни по отношению ко мне, ни к Осипу, ни к домработнице. Другое дело – полемическая резкость. Не надо их путать». И. Эренбург писал: «Ему была свойственна романтика, но он её стыдился, обрывал себя, «смирал, становясь на горло собственной песне».

Через всю поэзию Б. Поплавского проходит мотив жалости, столь редкий в поэзии советских лет. Ведь после заявления Горького о том, что жалость унижает человека, в течение 70 лет такие понятия как жалость, сострадание, милосердие исчезли из словаря и обихода советского человека. В письме Поплавского читаем: «Удивительная жалость – вот чем мне кажется настоящее искусство. Корабль со звёздным креном, да, но именно склоняющийся, наклонённый к чему-то, а не благополучный, гордый высотами над водой жизни. Есенин был таким. Маяковский же, по-моему, недостаточно плакал в жизни». Мы много встречаем у Поплавского утверждений подобного рода. Он выводил свою формулу искусства: «Литература есть аспект жалости». «Удивление и жалость – вот главные двигатели поэзии». «Рождение всякого настоящего искусства в жалости». «Душа мироздания – надежда на жалость». В романе «Аполлон Безобразов» герой размышляет: «Почему я всё-таки не жил с ней? Ведь она дала бы. Нужно было бы уговаривать? Нет, она и так дала бы. Но как-то жалко её. Почему вообще как-то жалко женщин?» В стихотворении «Ектенья» он пишет:

...Про девушку, которую мы любим,
но всё ж не в силах слабую спасти,
про ангела, которого мы губим,
но от себя не в силах отпустить.
За этот мир, который мы жалеем,
которому не в силах мы помочь,
за всех, кому на свете веселее,
за всех, которым на земле невмочь.

В понятии жалости, по Поплавскому, воплощена суть русского православия: «Всё сумрак и ложь, и только одна точка ясна и тверда. Эта точка есть жалость, и на ней стоит Христос». «Христос православный – трости надломленной не переломит, он весь в жалости, всегда в слезах». Из дневника Поплавского: «Бог кажется мне неудачником, мучеником своей любви».

Молчи и слушай дождь.
Не в истине, не в чуде,
а в жалости твой Бог,
всё остальное – ложь.

У него даже есть стихотворение с характерным названием: «Жалость к Европе». Его называли русским Рембо, русским модернистом, близким французским сюрреалистам. Но у Поплавского в отличие от них была жалость, очень русская, роднившая его с Достоевским «Бедных людей», а в поэзии – с Анненским.

У И. Анненского жалость к человеку проявляется как-то стыдливо, застенчиво – через пронзительное сочувствие к вещи, неодушевленному предмету, болезненно зависимому от человека. Во многих его стихах живут и страдают маленькие обиженные вещи: часы, кукла, шарманка. Неодушевленные вещи страстно желают жить, и поэт жалеет их за небытие:

По бумаге синей
разметались ветки,
слёзы были едки.
Бедная тростинка,
милая тростинка,
и чего хлопочет?
Всё уверить хочет,
что она живая...

Поэзия иссякает, задыхается, когда поддается соблазну игры на понижение ценностей, на отказ от них. Тогда возникает одна-единственная, переходящая из стиха в стих интонация, и какой бы новой и соблазнительной ни показалась она поначалу, в конце концов её однообразие начинает производить гнетущее впечатление. Ни вспышки радости, ни сердечного трепета, ни волнения, ни нежности, ни любви. Вместо них – удручающий цинизм, голая техника, стёб.

И снова хочется привести в пример стихи местных поэтов. Сергей Трунёв, доцент кафедры культурологии СГТУ, издал сборник стихов «Боковая линия», о котором вздохнули саратовские газеты от «Земского обозрения» (Б. Глубоков) до «Богатя» (А. Сафронова). Чем же так покорила поэту-доценту саратовских критиков?

...Впрочем, кому хорошо –
будь человек или зверь хоть.
С неба летит порошок:
это рекламная перхоть.
Где ты, родная? Ау!
В нашем ли стынешь ауле?
Или, собравши баул,
вдаль наострила ходули?
Ветер внезапно подул.
Эхо сказало: «а хули».

«Доцент СГТУ Трунёв в игровой поэтической форме противостоит всяческой умоисступлённости...(!) Что б ни писала враждебная жёлтая пресса, «жизнь враскоряку скрипит по зашкваренным рельсам и возбуждается, дрянь, от движенья вперёд», – исступлённо славословит поэта Б. Глубоков. Глаза разбегаются: не знаю, чьи перлы цитировать, то ли Трунёва, то ли Глубокова (тоже, между прочим, поэта. Но о нём разговор отдельный).

«Боковая линия» для Саратова, где издал её доцент Трунёв, недоступна: ею кормится столица, – сокрушается земский обозронец. – Наш же земляк, словно отпрыгивая бродскизмом(!), постулирует витальное(!): «...Ослепительно сыпят искры с дуги трамвайной./ На троих три задницы. Сисек, кажется, шесть,/ а хоть бы восемь, всё одно ни убить, ни съесть,/ ни пригласить в кафе/ в перспективе сценарий ясен...»/

Сожалею, но не могу разделить восторгов Глубокова. «Убивая в себе многознание самой культуры (!), автор «Боковой линии» отнюдь не навязывает читателю собственный креатив», – спохватывается автор статьи. И на том спасибо.

Со своей стороны, А. Сафронова «с большой любовью к стихам С.Трунёва» торжествующе заявляет: «С. Трунёв издал книжку стихов, заранее показав всем ожидающим ответов на глобальные вопросы бытия известную фигуру из трёх пальцев». Но мне как-то мало этой фигуры, чтобы вспылать «большой любовью к стихам С. Трунёва». И, как призывает Сафронова, «заплакать бы светлыми слезами как минимум, и задуматься как максимум». То, что доперестроечные фиги в кармане выползли теперь на свет божий – ещё не даёт для всего этого оснований. Впрочем, заплакать и задуматься кое-кому, может быть, и стоило. Над тем, как мы дошли до жизни такой, что подобное считается стихами, да еще достойными восхваления. Тимур Зульфикаров называет это «мелким бесовским глумливым быстротечным юмором глумословов».

Циничный скептик, пишущий стихи, а точнее, производящий тексты, не может и не должен называться поэтом. Называйте как угодно: конструктором текста, программистом стиха, дизайнером слова, но не поэтом.

Не порадовал меня и широко разрекламированный в прессе и по местному ТВ новый сборник стихов И. Алексеева «Русский день». Надо сказать, что два предыдущих его сборника «Жёлтая тетрадь» и «Командир Пентагона» заинтересовали меня гораздо больше (второй – уже менее, чем первый), несмотря на обилие в них сленга и ненормативной лексики. Но помимо них там было и нечто такое, что заставило меня даже позвонить ему тогда и высказать какие-то одобрительные слова. Третья книга меня разочаровала. Вместе с матом из его стихов ушло, как ни странно, и то лучшее, что в них было. Теперь они писались словно с оглядкой на некую княгиню Марью Алексевну в лице то ли С. Кековой, то ли саратовского Союза писателей, куда, насколько я слышала, Алексеев усиленно готовился. Стихи стали глаже, но бледнее, аморфнее, необязательнее что ли, казались написанными без какой-либо внутренней необходимости. Мелкотравчатость многих вызывали недоумение: зачем это? Кому это интересно? Исчезли его прежние смачные афористичные концовки – часто великолепные, на которых, как на гвоздях, держалось всё стихотворение. Перо уже не поднималось над дневниковостью каких-то фрагментов жизни, но и не достигало той глубины и откровения, когда это может задеть, взволновать. И очень многое отталкивало, вызывало отторжение – большее, чем мат в прежних книгах. Прежде всего – сама личность поэта. Чтобы не выглядеть предвзятой, предоставлю слово ему самому. Итак, кто же он такой, Игорь Алексеев?

«Неудавшийся врач, рисовальщик, спортсмен, алкоголик, сребролюбец, деляга и рвач», «любитель денег и домашних щей», который «по привычке» измеряет время «количеством накопленных вещей». На этом самокритика заканчивается и следует сплошной панегирик: «Я поэт, я богат, знаменит», «я гладкий, ухоженный барин, меня не загонишь впросак», «человек при делах, со сложившейся судьбой, при деньгах и при карьере», словом, не какое-то там чмо, фуфло-муфло, понимаешь.

Моя книга знаменита,
а машина дорога,
голова моя обрита,
в ухе у меня серьга.
Колоритный я мужчина,
мне всего лишь 40 лет.
Я саратовский купчина,
я саратовский поэт.
Власть имущие кумиры –
все они мои друзья,
собутельники – банкиры,
депутаты – кумовья.

Положение обязывает, и посему: «Я шут и лицедей, делец прожжённый». Его кредо

пролезать везде без мыла,
как последний прохиндей,
чтобы всё как надо было,
чтобы всё, как у людей.

Кто сказал, что это легко? «Ассенизатор и водовоз» Маяковский тут наверняка бы «облажался».

Я вызнал дно всех мусорных корзин,
когда стремился из воришек в воры.
Я пробивал бетонные заборы,
я рельсы разгрызал, я пил бензин.

Шутка? Но многовато таких шуток на один сборник. Маска шута прирастает к лицу. Коробит многое: крайний эгоцентризм, цинизм, грязное отношение к женщине, которое Алексеев культивирует.

В частном блядстве отдельных мадам...
нет каких-то невиданных драм.

* * *

Я брал что мне нужно свободно в любом околотке
и быстро учёл, что развратнее, ярче, нежней
и более падки обычные тихие тётки,
а жизнь у прохладных красавиц гораздо сложнее.
А чаще всего попадались конкретные твари...

Таким поэт спуску не давал. Он предаётся ностальгическим воспоминаниям, «как из девушек делал блядей, как из женщин творил истеричек...» А нет – так не больно-то и надо: «Я не сдохну, если ты не дашь...» Лирический герой Алексеева отнюдь не сентиментален: «Дебелая, жопастая старуха,/ когда-то ты была моя любовь». Он очень требователен к женской красоте:

Ты уже не тёлка, а корова,
у тебя живот и целлюлит.

Ты была глуха к моей мольбе
оставаться в стройности девчонки...

А посему – побоку надоевшую старуху:

Позабудет о жене толстухе
и расскажет рыжей потаскухе,
что он видел на своём веку.
А потом покатит вкривь и вкось
в бездну сексуального облома.

Да неужели же, блин, нет ему достойных? – невольно хочется воскликнуть в духе лирического героя. Нет, отчего же, встречаются. И не одна. «Таких красивых баб в Саратове штук пять».

Блядь, какие бабы на проспекте,
ни в одной столице круче нет!
Двигают шагам скользящим в такт
твёрдыми кобыльими задами...

Он и комплимент им при случае сказать может: «Ты красива, как сильная лошадь», «Ты свежа, как новая мочалка», «Как хорошо, что ты не блядь...»

Думаю, примеров достаточно. Ну а как же Пушкин, его знаменитая охальная поэма? – скажут мне сподвижники Алексеева. Но ведь то была шутка, и у того же Пушкина есть пленительные «Я Вас любил», «На холмах Грузии», «Что в имени тебе моём...» У Алексеева – в это трудно поверить, но это так: ни в одном сборнике мы не встретим ни одного стихотворения о любви. О сексе, флирте, разврате, семейной ненависти, о любви других к себе («дверь мою ломают женщины России») – этого сколько угодно. Но не о любви. Это нормально для поэта?

И как меня на слове ни лови –
нет проку от божественного дара.
И все мы ждём: собака ждёт удара,
мужчины – водки, женщины – любви.

А мужчины, что, любви не ждут? Да и собаки... Любому живому существу она нужна. Любому, только не Алексееву. Какой от неё, в самом деле, прок?

Как себя ни славословь,
не видать рожна.
Безответная любовь
на... не нужна.

Нет, он, конечно, не святой, и ничто человеческое ему не чуждо.

Мне бы дать зарок суровый,
хмуρο похоти грозя,
но мужчина я здоровый,
мне без баб никак нельзя.

Поэту-супермену не к лицу всякие там телячьи нежности. «Он, хватаясь за дамские груди,/ редко пользовал слово люблю». Да и дамы его сердца не отличаются тонкостью чувств: «Мата Хари идёт на меня/ с грациозностью вмазанной сучки», «Тебе небось потрахаться охота,/ да неудобно первой предложить». Такая вот «любовь» по-алексеевски. Дёшево и сердито.

Пушкинские языковые «вольности» недаром были переведены в особый, низкий жанр приятельского послания, эпиграммы, простонародной стилизации, пародийной или шуточной поэмы и отделены глухой перегородкой от его лирики. С тех пор ничего не изменилось, ибо меняется поэтика, но поэзия неизменна: цинизм ей противопоказан. Да, у Бродского тоже цинизм, и «красавице платье задрав», но у него же и «Ниоткуда с любовью», и «Рождественский романс», и «Влюблённость, ты похожа на пожар...» Бродский знал, что такое страдание, и радость, и краска, приливающая к лицу. Да, у Рыжего – блатной сленг и скинхедство («мы месим чурок» и т.д.), но какая боль, человечность, просветлённость в его стихах об умершей Эле – первой любви, какая жалость к жене («щёчки Ирочки горчат»), которую он скоро оставит одной на этой земле, к маленькому сыну. А что может Алексеев противопоставить своим крутым, прикольным, скабрёзным стихам? Где его неприкосновенный душевный запас, под каким камнем он его прячет? «Как мучат ненеобходимость, неотвратимость, нелюбовь», – пишет он. Нелюбовь к себе его мучит. Но сам он никого не любит, вот в чём беда. И когда он пытается что-то такое сказать о своей Элле («Ты произнеси словечко, растрави моё сердечко») – это звучит фальшиво, не вяжется с его новорусским имиджем, не идёт, как волку овечья шкура. Словом, как сказал бы Станиславский, «не верю».

Он думает о смерти – как и всякий поэт, боится её, как и все мы, смертные, но он не страдает от смерти близких, от страха, тревоги за них. «Страх и трепет», о которых пишет Кушнер, ему неведомы. Стихи, адресованные дочерям, неестественно холодны и велеречивы. Вряд ли кого-то смогут они тронуть, зацепить. Всё это явно писалось с прицелом на будущее, на свою грядущую посмертную знаменитость.

Гарсиа Лорка говорил: «Я не люблю орган, лиру и флейту. Я люблю человеческий голос. Одиноким человеческим голосом, истомлённым любовью». В стихах Алексеева я не слышу этого человеческого голоса. Слышу у Шарова (стихи о друзьях, об отце, матери, старушке, собаке). Слышу у Ханьжова:

Смотрите, как, остервенясь,
я отрываю вместе с плотью,
смеюсь и втапываю в грязь
стыда и совести лохмотья.
Моя задёрганная честь
трещит и лезет по ниткам...
Смотрите, вот я, весь как есть,
палач и жертва, смех и пытка.

В стихах Алексеева нет драматизма, нет боли, нет жалости и любви, а то, что есть – никак не куплено «сердечных судорог ценою», как писал Баратынский. В поэзии не спрячешься за красный берет и сигару, за эффектную позу, в ней ты весь как на ладони. Цинизм и скепсис – это современно, жить с ними очень удобно, так как человек всё недооценивает, всему назначает низкую цену. Но поэта в нём это убивает. Ему грозит сердечная недостаточность, эмоциональная истощённость, которые способны остановить таинственный завод поэтической пружины.

Расторгнется склад. Я куплю себе новые вещи.
Поменяю «Мерса» и жене бриллиант подарю.

Отчего же тогда сердце давят железные клещи,
отчего же тогда безразлично сажу и курю?

Да всё оттого же. Хорошо ещё, что хоть «давят». Не всё, может быть, потеряно.

Я вновь удачник и гордец.
Куда от этого мне деться?
Но жаль, что где-то возле сердца
чему-то наступил...

Изредка что-то искреннее, незащищённое прорывается сквозь суперменовскую броню: «опоры хочется, опоры, на брата, дядю и отца». Но опять-таки при ближайшем рассмотрении это всего лишь эгоизм, любовь и жалость к себе, а не боль за кого-то, не желание кому-то стать опорой. Никакая крутизна, никакое техническое мастерство не убеждают так, как обнажённый нерв, искреннее чувство.

Кстати, о мастерстве. Вызывает досаду неудачное словотворчество (в этом его можно сравнить с Н.Куракиным), все эти «пург», «тоск», «усталостно», «небо русье» (ср. с куракинским «славянское небо» – уж на небо-то не натягивайте свой «русский размер», оно безразмерно!), нарочито неверные ударения: «рукомйсло», «поодбль». Рыжему почему-то прощаю, а ему – нет. У Рыжего это шло от внутренней свободы, раскованности, а у Алексеева – наигрыш, подражание, способ выделиться, выделаться.

Неприятны его рисовка, позёрство, мания величия. Как в поэзии, так и в жизни. Когда он писал: «как я красиво всё заплёл, я замечательный поэт», «Алексеев великий поэт, а поэту простится земное», «Алексеев Игорь гениален», «я памятник воздвиг нерукотворный, считать по евро... тысяч на пятьсот», «и Россия по всем закоулкам будет славить меня тут и там» – это воспринималось как шутка. Сейчас, похоже, он думает и говорит об этом всерьёз: «и не вмещаюсь в мир укромный огромный я...», «великан не вмещается в правила жучьей игры...» Мания величия в натуральную величину.

В послесловии к последнему сборнику Алексеев скептически высказывается о поэтических кумирах 60-х («когда появляются стадионы, миллионные тиражи – это либо «коричневое», либо «красное». Проходили»). И посему в его стихах – «серебристый козлик Окуджава нежно блеет песенку свою». Но, «скромно оценивающий роль поэта в истории Игорь Алексеев», как пишет О. Бакуткина, свою роль в ресторане «Камелот», где он проводит поэтические вечера, оценивает весьма высоко, не в пример другим:

Я здесь кажусь огромным и красивым.
Я говорю о бабах и вине.
Те, кто за дверью – писают курсивом
и выглядят как бабочки в говне.

Алексеев высмеивает даму, которая «смотрела на себя в витрине», а ведь сам смотрится в свои стихи, вернее, в свой образ в них, как в витрину, как Куракин в женский профиль («гляжусь я в твой профиль ахматовский»). Пишет не «как перед Богом», как учил Блок, а как перед зеркалом, любуясь своей одиозной демонической фигурой. Но... «лицом к лицу лица не увидеть». Вот он описывает человека, то есть себя, который идёт, заходит в рынок, долго глубокомысленно смотрит на «окровавленную сталь» мясника, а сам со стороны наблюдает за собой, как в витрине – как, мол, я смотрюсь, а? Не выгляжу ли «пижоном»? Или «неврастеником»? Похож ли на героя супербоевика? Как писал А. Кушнер, «есть поэты с фотообъективом, их самих снимающих в упор». Алексеев явно из этих. Соблазн ощущения своего избранничества, своей исключительности – вечный соблазн, подстерегающий поэта. Тогда и простить себе можно всё «земное», всё, чего

другим прощать нельзя. Всё это разъедает поэтический дар, толкает поэта к безнравственности, к прямой пошлости.

Дмитрий Пригов лет 10 назад публично продекларировал, что прежде всего поэт должен создать себе имидж, а тексты – это уже потом. Видимо, Алексеев следует этому рецепту «классика». «Теперь он играет в байкера-аристократа, предтечу куртуазных маньеристов», – пишет В.Л. Зайченко в предисловии к одному из сборников. Театрализация, конструирование в стихах своего образа, вечная забота о своём «лице» ведут к почти неизбежным провалам, дурновкусию, потаканию ожиданиям публики. Ахматова писала: «Молитесь на ночь, чтобы вам вдруг не проснуться знаменитым». И в другом: «Оставь, и я была, как все, и хуже всех была...» И Пастернак о том же: «Всю жизнь я быть хотел как все...» Тютчев никогда не относился к себе как к поэту, он жил с ощущением частного человека, пишущего стихи. Да и Мандельштам: «Я – человек эпохи Москвошвея, взгляните, как на мне топорщится пиджак...» Л. Гинзбург писала о нём: «Поздний Мандельштам был убеждён, что современный поэт – это не тот, кто высится над людьми или отличается, или отдалается, и из всех типовых судеб его – самая типовая». И И. Анненский никогда не считал себя центром вселенной, пупом земли, ему чужда была гипертрофия собственной личности, и обида куклы была для него жалчей его собственной. И А. Кушнеру свойственно сознание близости ко всему происходящему с рядовым человеком. Но Алексееву, видимо, ближе другая модель поэтического поведения – самовлюблённых Бальмонта, Брюсова и прочих «харизматических» поэтов, творящих «на публику».

У В. Ходасевича есть стихотворение «К Психее», которым очень возмущалась Цветаева. В письме к Бахраху она писала: «То, что он сам себе целует руки – мерзость». Хотя была здесь несправедлива к поэту, ведь тот писал о любви не к себе как таковому, а к себе как вместилищу некоего священного огня. Того, о котором писал Заболоцкий, а до него – Фет: «Но жаль того огня...» Алексеев же любит именно сосудом, то есть собой, своей персоной.

«Человек при делах, со сложившейся судьбой, при деньгах и при карьере». Поэзия тут явно лишняя, не вписывается в этот круг. «Он хочет славы, много денег, / машину, дачу и дворец». «Кто скажет мне, что это плохо – тот сам чудила и ханжа». Я далеко не ханжа, но я скажу, что это плохо. Для поэзии плохо. Ей среди всего этого нет места. «Участвуй в разговорах о еде, / о тонкостях рецептов старой пробы, / усердствуй до изнеможенья, чтобы / не плакать...» А ты плачь! На то ты и поэт. И других заставляй плакать над своей строчкой.

Все эти «разговоры о еде», умение разбираться в дорогих коньяках, в дорогих галстуках, в моделях автомобилей заменяют Алексееву умение чувствовать, страдать, сопереживать. Его поэзия без этого как-то прекрасно обходится. Так же, как и читатель, думаю, без неё прекрасно обойдётся. Вообще стихи делятся на те, которые мы, читающие их, прижимаем к сердцу, произносим от своего имени, и те, которые поэт Х или Y написал исключительно о себе и для себя. И не станет Алексеев «великим поэтом», о чём грезит и, не стесняясь, пишет. По этим стихам это уже видно ясно. Не найдут они отклика в сердцах, как бы автор их ни «пиарил». Не тот это поэт, с которым, как писал Бродский, «можно более-менее прожить жизнь».

Купите, люди, тоненькую книжку
по 35 копеек за стишок.
Когда, в презренье к долгу и заботам,
вы соберётесь дружеским кружком –
в ряду с гитарой, чёрным анекдотом
она пойдёт под пиво с коньяком
и водкой.

Разве что. Алексеев из тех поэтов, которых можно читать в трамвае, за обеденным столом, с друзьями за водкой и пивом.

Мои стихи понятны, как кирпич.
Мои стихи – всегда живая рана.
Все знают – я поэт из ресторана.
Я этим званием искренне горжусь.

(«Рана» – здесь явно для рифмы, слишком выбивается из общего контекста).

Сентябрь не намерен жалеть
печальных русачек.
Он зелень меняет на медь,
валютчик, красавчик.

Сентябрь – валютчик. Браво. Круто, в духе времени. Но не более того. Никакой подлинной литературы на этом пути не возникнет, будет лишь привычное чесание пяток новым господам в старой обкомовской сауне, дешёвые хохмочки дежурных остряков, в очередной раз ставших людьми свиты.

Читаю в предисловии В. Семенюка к сборнику Алексеева «Командир Пентагона»: «Почему писатель должен быть одиноким, гонимым и нищим? «Я поэт, я богат, знаменит», – пишет И. Алексеев. Лирический герой любит женщин, вино, компании, друзей, рестораны, модную одежду, курорты. В отличие от многих, умеющих мечтать, автор книги умеет на всё это зарабатывать. Поэт и деловой человек в одном лице – явление для саратовской поэзии новое». Помню, я открывала книжку с этим предисловием с некоторым предубеждением. Неужто такое возможно? Поначалу показалось, что да. (Я даже, как уже говорила, кинулась на радостях звонить поэту, чтобы поздравить его и себя с этим открытием). Но в тех, первых книжках было много стихов из прежнего, доперестроечного времени, когда Алексеев был ещё врачом, а не бизнесменом. И эти стихи трогали (такие, как «Последний доктор...», «Есть между нами жуткое сродство...», «Такое не придумаешь и в сказке...», «Друг другу катятся вдогонку...», «Не вор, не начальник, не воин...», «Дурной коньяк, дурной театр...»), в них была человечность и правда, сила и глубина. С каждой новой книгой их человеческое – не скажу – тепло, Алексеев по природе своей довольно холодный человек, но – содержание таяло, убывало, уступая место эпатажу, самовлюблённости, крутизне. И, наверное, не могло быть иначе. Поэт и бизнесмен – это несовместимые понятия. Это слова-антиподы. Тело пожирает душу. Поэзию – рынок. Не бывает буржуазного андеграунда. Не бывает сытой, самовлюблённой поэзии. Или – или. Деградация поэта в стихотворце налицо. Это плата за договор с чёртом. За душу – дьяволу. Звезду – за хлеб. Вот тебе, бабушка, и «Русский день».

«Самые проникновенные строки обращены не к любимой, а к автомобилю, – говорится в предисловии. – «Это ты, мой первый «Мерседес». Да, «Мерседес» для Алексеева – это святое: «Отойди от машины, дурища,/ и не дам я тебе порулить». «На стёклах моего автомобиля царапины от взгляда твоего». Чувствуется, что женщины в его жизни значат намного меньше.

«Названия иномарок звучат как музыка», – умиляется Семенюк. Но это не та музыка, как понимали её Блок, Г. Иванов, Б. Поплавский. (Вспомнился по аналогии Кушнер: «Как я прожил без автомобиля/ жизнь, без резкой смены скоростей?/ Как бездарно выбился из стиля!/ Пешеход я, господа, плебей»./

Впрочем, иногда в Алексееве просыпается совесть: «Совестно любить автомобиль и шикарный ужин в кабаке...» Но он наступает ей на горло, как Маяковский – своей песне.

Умение зарабатывать – это хорошо, кто спорит. Но – вот беда, я смотрю на всё это с колокольни поэзии, а там видится всё несколько иначе, чем с обывательского шестка.

Вспоминается стихотворение, похожее на детскую сказку и мудрую притчу совсем еще юного Гарсиа Лорки об улитке, которая отправилась путешествовать. В лесу она встретила муравьев, которые, ругаясь, тащили полумёртвого муравья. «За что вы его так?» – спросила улитка. Муравей отвечает: он видел звёзды. А что это такое, звёзды? Муравьи не знают, улитка тоже.

Да, муравей отвечает, –
я видел звёзды, поверьте,
я поднялся высоко,
на самый высокий тополь,
и тысячи глаз лучистых
мою темноту пронзили.

Муравьи возмущены, они видят в муравье нарушителя священных вековечных устоев. Как он посмел задирать голову? Его удел ползать по земле. Лодырь! А работать кто будет? Они заявляют муравью:

Тебя мы убьём: ленив ты
и развращён. Ты должен
трудиться, не глядя в небо.

И что же он им отвечает? Да всё то же: «Я видел звёзды!» Муравей погибает, заплатив жизнью за мечту.

Как похож был сам Лорка на этого муравья, вечно упрекаемый родителями и педагогами, которые считали, что он должен трудиться, служить, зарабатывать деньги, быть как все... Как похож на этого муравья любой подлинный поэт милостью Божьей! И как не похож на него Алексеев, исповедующий совсем другую жизненную философию.

Мне вспоминается недавний творческий вечер Павла Шарова, проходивший в Областной библиотеке. И. Алексеев взялся представить друга, как он его назвал, («Паша – мой друг») и поэта («а иначе – я бы здесь не стоял»). И тут же стал его, что называется, «топить». «Человек не побоялся признаться в своём абсолютном проигрыше». «Ну неужели, ё-моё, не нашлось 25 рублей на краску» (по поводу какой-то его строчки о заржавевшей ограде на могиле отца). «Потрясающий инфантилизм» – об авторе. Это всё были удары ниже пояса. Поэту-бизнесмену не понять, что бывают ситуации, когда нет и 25 рублей на краску. Что есть люди, которые не находят себя в этой жизни, что для них невыносимо то, что для другого – легко. Сытый голодного не разумеет.

Ах, что за люди, что у них внутри?
Нет, вдумайся, нет, только посмотри,
как крепко на земле они стоят,
как хорошо они ночами спят,
как ты на фоне этом слаб и сир.
...А мы с тобой, мой ангел, в этот мир
случайно заглянули по пути,
и видим – дальше некуда идти.
Ни хлеба нам не надо, ни вина,
на нас лежит великая вина,
которую нам Бог простит, любя.
Когда б душа могла простить себя...

Наверное, Алексеев и Рыжего посчитал бы неудачником, расписавшимся в своём полном проигрыше, да ещё подытожившим это всё петлёй. Он презирает таких хлюпиков.

Не говори о тяжести, о муке,
ведь это грех. Ты сам всему творец.
Тем более, что целы ноги, руки,
башка и жопа, яйца, наконец.

Алексееву невдомёк, что есть другие, которым всего этого мало для полного счастья, которые не довольствуются «тьмой низких истин», которым «мало конституций», которые ищут «то, чего на земле не найти». И свой «проигрыш» они не променяют на его победу.

А вот что писал Кирилл Ковальджи по поводу таких «проигрышей»:

Проигрывает в карты
задумчивый пророк,
как жизнь кавалергарду,
спустившему курок;

проигрывает вору
трагический поэт,
оратору, танцору
и паре эполет;

проигрывает с треском
на молодой земле,
как желтый Достоевский
румяному Рабле;

но дух – победы краше,
его не побороть, –
любите проигравших,
как любит их Господь,

и знайте – рыцарь бедный,
страдающий за всех,
смеялся бы последним,
когда б в конце был смех.

Вспоминается ещё по этому поводу рассказ Т. Толстой «Чистый лист». Герой его – классический неудачник в представлении Алексеева и ему подобных.

«Каждую ночь к Игнатьеву приходила тоска. Тяжёлая, смутная, с опущенной головой – печальная сиделка у безнадежного больного. Рука в руке с тоской молчал Игнатьев; запертые в его груди, ворочались сады, моря, города, хозяином их был Игнатьев, с ним они родились, с ним были обречены раствориться в небытии. Бедный мой мир, твой властелин поражён тоской. Жители, окрасьте небо в сумеречный цвет, сядьте на каменные пороги заброшенных домов, уроните руки, опустите головы – ваш добрый король болен».

Обычные семейные обстоятельства: больной ребёнок, замученная жена, хроническое безденежье, невозможность отрешиться от тяжёлых мыслей. И вот друг по

секрету сообщает Игнатъеву, что есть такой институт, где «это оперируют», то есть «экстрагируют» душу как источник страданий, «быстро и безболезненно». И люди выходят совершенно обновлённые. Результаты – великолепные. Необычайно обостряются мыслительные способности, растёт сила воли, «все идиотские бесплодные сомнения полностью прекращаются. Ты сразу намечаешь цель, бьёшь без промаха и хватаешь высший приз». Игнатъев долго колеблется, но всё-таки решается на операцию по удалению души ради будущего успеха.

«Краем глаза он увидел, как прильнула к окну, прощаясь, рыдая, застывая белый свет, преданная им подруга – тоска, и уже почти добровольно вдохнул пронзительный сладкий запах цветущего небытия».

Что же было потом, после?..

«Игнатъев вспомнил, зачем он здесь – так, пустяковая амбулаторная операция, надо было убрать эту – как её? – забыл слово. Ну и фиг с ней. Приятно чувствовать тупой пятячок в солнечном сплетении. Всё хорэ.

Хлопнул доктора по плечу. Крепкими пружинистыми шагами сбежал с потёртых ступеней, лихо заворачивая на площадках. Сколько дел – это ж ё-моё! И всё удастся. Игнатъев засмеялся. Солнце светит. По улицам бабцы шлёндрают. Клё-вые...» Далее – читай Трунёва и Алексеева.

Так что не всё однозначно в случае с жизненным проигрышем. Алексеев хочет преуспеть везде – и в бизнесе, и в поэзии, к тому и к другому подходя с одинаковой меркой. Но трудно стрелять по цели из двустволки. Поэзия требует поглощения целиком. «Надо, чтоб поэт и в жизни был мастак», – как выразился некогда Маяковский. Только вот самому Маяковскому это не удалось в конечном счёте. Что-то изнутри мешало, как тому Игнатъеву из рассказа Толстой. И он же произнёс: «Надеюсь, верую, вовеки не придёт/ ко мне позорное благоразумие». Не пришло. Но это противоречие между собой и Собой – оно даром не проходит.

«Я, душу похерив, кричу о вещах, обязательных при социализме». Не так-то просто «похерить душу», когда она есть. Пастернак тогда ужаснулся:

Я знаю, Ваш путь неподделен,
но как Вас могло занести
под своды таких богаделен
на искреннем Вашем пути!

Но Маяковский хоть не ради обогащения наступал на горло своей душе, ради идеи, в которую тогда верил. Иногда на это идут не по доброй воле, из-за вынуждающих на то обстоятельств: «Вчера свою высокую звезду, сглотив слюну, я обменял на хлеб» (А. Мураховский). Но встречаются среди поэтов и «мастаки», жертвующие, вопреки предостережению Пастернака, «лицом ради положения». О таких писал Б. Чичибабин: «Я грех свячу тоской./ Мне жалко негодаев./ как Алексей Толстой/и Валентин Катаев».

Перед каждым однажды неотвратимо встаёт проблема этого выбора: между прекрасным и полезным, честным и выгодным, благородным и безопасным, нравственным и бессовестным. Но у поэта, если это поэт не только на бумаге, высший смысл всегда побеждает здравый, выгоду – нечто, не имеющее сугубо материальной оценки. Умение поступать невыгодно, пренебрегать прагматизмом – одно из главных его качеств. Что им при этом движет – диктовка Бога, инстинкт поэтического самосохранения, «томленьё ли по ангельскому чину иль чуточку притворства по призванью»? Не суть важно. Важно, что это так.

Должно быть, так художнику велит
всё, что молчит, печалится, болит –
не узнано, не признано, забыто.

И вот, дорожным знакам вопреки,
талантливые ищут дураки
болота слёз и тех, чья карта бита.

Р.Казакова

О. Мандельштам, «трамвайная вишенка страшной поры», тоже не знал, зачем жил, и не стеснялся признаться в этом. Смешной, жалкий, не умеющий растопить печь, не имеющий, чем заплатить за извозчика, «не созданный для тюрьмы», но вступивший тем не менее в неравную смертельную схватку с веком-волкодавом. И Евтушенко писал о нём:

Не Маяковский с парходным рыком,
не Пастернак в кокетливо-великом
камланье соловья из Соловков,
а Мандельштам с таким ребячьим взбрыком,
в смешном бесстрашье, петушино-диком,
узнав рябого урку по уликам,
на морду, притворившуюся ликом,
клеймо поставил на века веков.

Почему я так усиленно «наезжаю» на Алексеева, еле удерживаясь в рамках темы? Против него лично я ничего не имею, мы едва знакомы. И дело не в том, что он – из другого, чуждого мне мира, с другим уставом и другими взглядами на жизнь и поэзию. В конце концов все мы разные. Существует обаяние чужого мира, не похожего на твой, «соблазн чужого», по выражению Цветаевой. Но здесь – крайний случай, когда чужое, «иное» вызывает не интерес, не любопытство, а гадливость.

«Я тяжело раскатываю губы
в предчувствии разврата и еды».

«Вы не продажная сучка,
я не конкретный пацан».

«После кайфа идёт отходняк,
после блядства идёт омерзенье».

И не хочется мне «хлебнуть противного пойла из липкой грязной посуды» в «пропитанной перегаром и мочой пивной», в которую зазывает читателя Наталья Кублановская в предисловии к книге Алексеева «Русский день». Ну не хочется, и всё. Противно. И другим не советую. «Ты лучше голодай, чем что попало ешь», – учил Омар Хайям.

Из передачи по радио: «А в конце апреля И. Алексеев и не менее успешный поэт и бизнесмен А. Сокульский впервые вышли на большую сцену». Поэт и бизнесмен – дикое сочетание. Чувствуете, как оно режет слух? А ведь когда-то Алексеев писал: «Поэт должен быть неустроен, поэт должен быть одинок». Нет-нет, я вовсе не призываю его раздать всё богатство бедным и самому встать в их ряд с протянутой рукой, как в юмореске Ю. Стоянова. Пусть он там себе красуется на сцене в своём театральном прикиде и изображает из себя гения с сигарой, пусть тусуется в своём «Камелоте», командуя парадом, каждый развлекается, как может. Но поэзию как-то хочется от всего этого оградить.

«Успех, деньги, удовольствия не спасают героя книги от проблем, известных каждому, даже тем, у которых счета в банке», – пишет Семенюк, пытаюсь задобрить

читателя, не любящего «богатых». Не верю я в миф о добрых богатых, которые «тоже плачут». Не плачут они никогда. Нечем. И никогда им не понять таких, как Рыжий, как Шаров, они всегда будут смотреть на них с высоты своего мнимого превосходства.

Как тень, слоняюсь по квартире,
гляжу в окно или курю.
Нет никого печальней в мире –
я это точно говорю.
И вот, друзья мои, я плачу,
шепчу, целуюсь с пустотой:
«Для этой жизни предназначен
не я, но кто-нибудь иной –
он сильный, стройный, он красивый,
живёт, живёт себе, как бог,
а боги всё ему простили
за то, что глуп и светлоок».
А я со скукой, с отвращеньем
мешаю в строчках боль и бред.
И нет на свете сожаленья,
и состраданья в мире нет.

Б. Рыжий

Почему люди с душой и талантом всегда ненавидят богатых и сытых? Не из зависти же. Почему так ненавидел таких Рыжий?

Он сукин сын, он грязь и падаль,
он на коне, и он не падал
в дерьмо со своего коня.
А ты всегда на ровном месте
готов споткнуться с жизнью вместе,
ковбоя даже не вина.

Ему ничего не надо от этих хозяев жизни.

Ни славы, милые, ни денег
я не хотел из ваших рук...
Любой собаке – современник,
последней падле – брат и друг.

Ненавидел этот бездушный деловой мир и Иван Елагин:

Я теперь живу в комфорте,
точно взятый напрокат,
изготовленный в реторте
человеко-фабрикат,

– писал он с горькой иронией. Он не мог там жить, не мог чувствовать себя человеком.

Каждым утром, сразу после сна
я выбрасываюсь из окна

и лечу на камни мостовой
в мир невыносимо-деловой.

Его душа томилась, задыхалась, страдала от невозможности быть собой, он не мог
вписаться в американскую действительность.

Послушай, я всё скажу без утайки.
Я жертва какой-то дьявольской шайки.
Послушай – что-то во мне заменя,
в меня вкрутили какие-то гайки,
что-то вмонтировали в меня.
И отключили от Божьего мира
душу мою – моего пассажира.

Послушай, я скоро прибором стану,
уже я почти что не человек,
в орбиты мне вставили по экрану,
и я уже не увижу поляну,
я не увижу звёзды и снег.
Я знаю их адские выкрутасы,
знаю, к чему это клонится всё.
Они мне сердце хотят из пластмассы
вставить и вынуть сердце моё.

И сердце не выдержало, разорвалось.

Мой театр ослепительно умер
от разрыва суфлёрской будки,
и в театре темно, как в трюме,
только скрип раздаётся жуткий.
Это я, обанкротившись дочиста,
уплываю в своё одиночество.

Наверное, поэты-бизнесмены И. Алексеев с А. Сокульским, вышедшие «на
большую сцену» Саратова, не поняли бы этих метаний. И посмеялись бы над
«Завещанием» поэта:

...Этот снег, только что выпавший,
и развесёлого босяка –
вот он, нескладный, немного выпивший,
идёт, покачиваясь слегка,

февральской ночи шумящий ледник,
все фонари, что шумят в гололедицу –
тебе завещаю я, мой наследник,
тебе завещаю, моя наследница.

Был я поэт, бедняк,
бился, язык высуня.
Ценнее ценных бумаг
бумага была исписанная.

Не затевал я дел,
не заправлял финансами,
а всё-таки я владел
вот этой луной фаянсовой.

И, без копейки сживая,
я не терял мужества:
в небе моё недвижимое
и движимое имущество.

Знал я, зубами клацая,
знал я, ремень прикручивая,
что у меня акции
самые наилучшие.

Что я, по воле дивного
случая и неслучая –
акционер правдивого,
великого и могучего.

Отстаньте с книжкой чековой,
когда я с книжкой Чехова!..

Зачем мне ваш текущий счёт?
Мой счёт неиссякаемый!
Ко мне не золото течёт,
а Пастернак с Цветаевой.

Пускай сегодня я не в счёт,
но завтра, может статья,
что и Россия зачерпнёт
от моего богатства.

Благостная утопия рыночного рая не застила глаза Борису Чичибабину. Он – дитя времени, когда по немытым подъездам, нечищенным улицам и даже пустым магазинам всё-таки шлялся дух поэзии. Когда быть талантливым и одухотворённым было гораздо важнее, чем сытым и богатым. Когда же нам попытались подменить ценности, подменить жизнь, в Чичибабине разыграла бунтарская кровь и во весь голос заговорило чувство кровного родства с малыми мира сего, которых переехал рынок.

Когда-то Блока убило отсутствие воздуха. Он физически это ощущал и не мог писать стихи. Теперь то же стало происходить с нашей культурой. Концепт убивает культуру. Пришедшая к нам буржуазность – концептуальна. Отсюда – чичибабинское отрицание буржуазности:

Ещё не спала чешуя с нас,
но, всем соблазнам вопреки,
поэзия и буржуазность –
принципиальные враги.
Как мученики перед казнью,
нагие, как сама душа,
стихи обходят с неприязнью
барышника и торгаша.

Корыстолюбец небу гадок.
Гори, сияй, моя звезда!
В России бедных и богатых
я с бедняками навсегда.

Чичибабин не мог спокойно смотреть, как гибнет культура, как одна порочная мораль сменяется другой, всё подвергается уничтожению и осмеянию. Когда превыше всего ставится материальное, всё, что можно купить и продать, и люди живут в суете, в грехе, в грязи, забыв о Главном.

О дух словесности российской,
ужель навеки отмерцал ты?
А ты погнись-ка, попросись-ка:
авось уважат коммерсанты.
Тому ж, кто с детства пишет вирши
и для кого они бесценны,
ох, как не впрок все ваши биржи,
и брокеры, и бизнесмены!
Да знаю, знаю, что не выйти
нам из процесса мирового,
но так и хочется завйти,
сглотивши матерное слово.

Ему была омерзительна буржуазность, культ буржуазности, её заикленность на брюхе, на разврате, её жестокость и равнодушие к прочим смертным, не сумевшим завоевать место под солнцем в рыночном раю. Он раньше других понял, почувал ещё в 91 году, что современная русская буржуазность – антихудожественна, бездуховна, способна поглотить всё вокруг, пожрать самоё себя, культуру, страну, наконец.

Животной жизни нагота
да смертный запах снеди,
как будто неба никогда
и не было на свете.
Не надо храмов на крови,
соблазном рук не пачкай.
И чад безумных не трави
американской жвачкой.
В трудах отмывшись добела
и разобравшись в проке,
Россия, будь, как ты была
при Пушкине и Блоке.

Многие ли из наших сограждан сумели и захотели услышать поэта?

Да, в неромантическое время мы живём. Деловое, трезвое, прагматичное, очень недурное в потребительском смысле, но совершенно непоэтическое. Безлюбное, безыдеальное, и ещё ко множеству всяких «без» пытаются нас приучить. Но жива ещё душа, рвётся из тисков, сопротивляется. Но ведь не хлебом же единым, как было сказано не нами и задолго до нас. Кажется, в иные моменты просветления это понимает и сам Алексеев:

...какой-то дьявольский подвох
в тщете прослыть дельцом и хватом.

* * *

...Впрочем, этот мир
не признаёт поэзии как дела.
Иные времена – иной кумир.
Мне незачем подыскивать словцо
к размеру поэтической триады.
Мне нужно пить бензин, ломать преграды,
грызть рельсы, пачкать мусором лицо.

* * *

Но, вспыхнув, догорит свеча.
Посмотрят небеса с укором.
И обернётся приговором
стих, прозвучавший сгоряча.

Духовная энтропия, рационализм, прагматика, цинизм... Всё это лишено перспективы: поэзия не может долго продержаться на отрицании того, на чём она, как и сама жизнь, держалась тысячелетия.

4. «Он умер, но мелодия осталась»

Это строка из стихотворения Бориса Рыжего о Бахе. Строка, которую можно было бы отнести и к нему самому.

Настоящая жизнь поэта начинается после его смерти. Стихи Б. Рыжего начинают жить самостоятельно и мощно, как бы говоря своему создателю его же строчкой: «Спи, ни о чём не беспокойся, есть только музыка одна». Спи, теперь мы будем жить вместо тебя. Он покончил с собой в 26 лет на рассвете 7 мая 2001года. 8 сентября 2004-го ему бы исполнилось 30 лет. Ничто, кажется, кроме самих стихов, не предвещало трагедии. Интеллигентная семья, благополучная биография, признанный всеми и всюду талант. В 95 году в литературном приложении к газете «Горняк» Свердловска были впервые опубликованы стихи студента 4 курса геофизического факультета Бориса Рыжего:

Было всё, как в дурном кино,
но без драчек и красных вин –
мы хотели расстаться, но
так и шли вдоль сырых витрин.
И, ценитель осенних драм,
соглядатай чужих измен –
сквозь стекло улыбался нам
мило английский манекен.
Улыбался, как будто знал
весь расклад – улыбался так.
«Вот и всё, – я едва шептал. –
Ангел мой, это добрый знак...»
И – дождливый – светился ЦУМ
грязно-жёлтым ночным огнём.
«Ты запомни его костюм –
я хочу умереть в таком...»

Все его стихи – о любви и о смерти. Ни о чём другом Рыжий не хотел, а может, и не умел писать.

Я умру в старом парке
на холодном ветру.
Милый друг, я умру
у разрушенной арки, –
чтобы ангелу было
через что прилететь.
Листьев рваную медь
разорвать белокрыло...

Многие стихи Рыжего внутренне как бы перекликаются с «Посмертным дневником» Г. Иванова, его любимого поэта. Кажется, что юноша накликает ими беду, репетирует в них свой уход – свой трагический выход.

С антресолей достану «ТТ»,
покручу-поверчу.
Я ещё поживу и т.д.
а пока не хочу
этот свет покидать, этот свет,
этот город и дом.
Хорошо, если есть пистолет,
остальное – потом.
Из окошка взгляну на газон
и обрубок куста.
Домофон загудит, телефон
зазвонит – суета.
Надо дачу сначала купить,
чтобы лес и река
в сентябре начинали грустить
для меня, дурака.
Чтоб летели кругом облака.
Я о чём? Да о том:
облака для меня дурака.
А ещё, а потом,
чтобы лес золотой, голубой
блеск реки и небес.
Не прохладно проститься с собой,
чтоб – в слезах, а не без.

Интонация смерти есть в стихах любого крупного поэта. Но страшно, когда она овладевает им целиком. Смертяшкина не любит, когда с ней заигрывают. Рыжий дразнил страшных гусей. Теперь, после его гибели, многие его строки обретают пророческий смысл, предвосхищают тот последний майский рассвет. В них отчётливо слышится упоение «мрачной бездной».

Похоронная музыка
на холодном ветру.
Прижимается муза ко
мне: я тоже умру.

Отрешённость водителя,
землекопа возня.
Не хотите, хотите ли
и меня, и меня.

До отверстия в глобусе
повезут на убой
в этом жёлтом автобусе
с полосой голубой.

Многих пугала и отталкивала эта смертельная, могильная нота в его стихах, какой-то потусторонний вызов, покойницкая тень на молодом, крепком, мускулистом лице.

«О, я с вами, друзья –
не от пули умру, так от боли...» –
не кричу, а шепчу.
И, теряя последние силы,
прижимаюсь к плечу,
вырываюсь от мамки-России,
и бегу в никуда,
и плетусь, и меня догоняют.
...И на космы звезда
за звездой, как репей, налипают.

* * *

...Но с кем бы я ни повстречался,
какая бы со мной беда,
я не кричал и не стучался
в чужие двери никогда.
Зачем – сказали б – смерть принёс ты,
накапал кровью на ковры...
И надо мной мерцали звёзды,
летели годы и миры.

Высшее мужество одиночества, бесстрашная трезвость перед лицом смерти...

Мир не меняется, о тень – тут всё как было:
дома хрущёвские, большие тополя,
пушинки кружатся – коль вам уже хватило,
пусть будет пухом вам огромная земля.
Под этим тополем я целовал ладони,
да, не красавице, но из последних сил,
летело белое на тёмно-синем фоне
по небу облако, а я её любил.
Мир не меняется, а нам какое дело,
что не меняется, что жив ещё сосед,
ведь я любил её, а облако летело,
но нету облака – и мне спасенья нет.

Пожалуй, самый пронзительный цикл у Рыжего – это стихи, посвящённые Эле, однокласснице, которая рано, ещё в школе, ушла из жизни. В стихотворении «Элегия

Эле» он расскажет всю эту историю – историю их встречи, его короткой любви и её смерти.

...Ты была на ангела похожа,
как ты умерла на самом деле.
Эля! – восклицаю я. – О Боже!
В потолок смотрю и плачу, Эля.

Он часто вспоминал эту девочку, как бы напряжённо всматриваясь туда, куда сам собирался уйти.

А ну назад, где облака летели,
где, полыхая, клёны облетели,
туда, где до твоей кончины, Эля,
ещё неделя.
Ещё неделя света и покоя,
и ты уйдёшь вся в белом в голубое,
не ты, а ты с закушенной губою
пойдёшь со мною
мимо цветов, решёток, в платье строгом
вперёд, где в тоне дерзком и жестоком
ты будешь говорить о многом
со мной, я – с Богом.

* * *

Я усну и вновь тебя увижу
девочкою в клетчатом пальто.
Не стесняясь, подойду поближе
поблагодарить тебя за то,
что когда на целом белом свете
та зима была белым-бела,
той зимой, когда мы были дети,
ты не умирала, а жила.
И потом, когда тебя не стало, –
не всегда, но в самом ярком сне –
ты не стала облаком, а стала
сниться мне, ты стала сниться мне.

Борис Рыжий был женат, имел сына. Но и это его не удержало. Он считал себя плохим мужем и отцом.

Я по листьям сухим не бродил
с сыном за руку, за облаками,
обретая покой, не следил,
не аллеями шёл, а дворами.
Только в песнях страдал и любил,
и права, вероятно, Ирина –
чьи-то книги читал, много пил
и не видел неделями сына.
Так какого же чёрта даны
мне неведомой щедрой рукою

с облаками летящими сны,
с детским смехом, с опавшей листвою...

Почти все его стихи, адресованные жене и сыну, – это прощание. Завещание, напутствие – как им жить после него. Их трудно читать – ком в горле.

Пойду, чтобы в лицо летели листья, –
я так давно
с предсмертной разлукою сроднился,
что всё равно.
Что даже лучше выгляжу на фоне
предзимних дней.
Но с каждой осенью твои ладони
мне всё нужней.
...Гляди-ка, сопляки на спортплощадке
гоняют мяч.
Шарф размотай, потом сними перчатки,
смотри не плачь.

* * *

Я подарил тебе на счастье
во имя света и любви
запас ненастья
в моей крови.

Дождь, дождь идёт, достанем зонтик, –
на много, много, много лет
вот этот дождик
тебе, мой свет.

И сколько б он ни лил, ни плакал,
ты стороною не пройдёшь...
Накинь, мой ангел,
мой макинтош.

Дождь орошает, но и губит.
Открой усталый алый рот.
И смерть наступит.
И жизнь пройдёт.

Казалось бы, чего человеку не хватало? Таким даром от Бога наделён. Стихи его читали, знали, любили. Обласкан судьбой и критиками, любимец друзей и женщин. Любимая жена, обожаемый сын. Всё так. И в то же время он ощущал себя очень одиноким. Это трудно понять непоэту. У него есть стихотворение об этом одиночестве души поэта:

Я осенью люблю гулять один.
В пространстве и во времени есть место,
что геометрией своей подобно
простейшей геометрии души.
И вот мой сквер, моя подруга осень.

Она, и умирая, не попросит
подать ей руку сильную, любую.
Я одинок. И те, кто на скамейках
сидят, сегодня страшно одиноки.
Зачем лукавить, друг, друг другу руки
протягивать, заглядывать в глаза?
Нет у души ни братьев, ни знакомых.
Она одна, одна на целом свете –
глядит, пугаясь своего названья,
сама в себе, когда глядит на осень.

* * *

Чёрный ангел на белом снегу –
мрачным магом уменьшенный в сто.
Смерть печальна, а жить – не могу.
В бледном парке не ходит никто.
В бледном парке всегда тишина,
да сосна – как чужая – стоит.
Прислонись к ней, отведай вина,
что в кармане – у сердца – лежит.
Я припомнил бы – было бы что,
то – унизит, а это – убьёт.
Слишком холодно в лёгком пальто.
Ангел черными крыльями бьёт.
– Полети ж в своё небо, родной,
и поведай, коль жив ещё бог –
как всегда, мол, зима и покой,
лишь какой-то дурак одинок.

Что бы там ни было, кто б ни окружал тебя, ты всё равно тотально одинок в этой жизни. «Каждый умирает в одиночку». Рыжий интуитивно понял это давно, еще в детстве.

Маленький, сонный, по чёрному льду
в школу – вот-вот упаду, – но иду.
Мрачно идёт вдоль квартала народ,
мрачно гудит за кварталом завод.
...«Личико, личико, личико, ли...
будет, мой ангел, чернее земли.
Рученьки, рученьки, рученьки, ру...
будут дрожать на холодном ветру.
Маленький, маленький, маленький, ма...
в ватный рукав выдыхает зима.
– Аленький галстук на тоненькой ше...
греет ли, мальчик, тепло ли душе?»
...Всё, что я понял, я понял тогда:
нет никого, ничего, никогда.
Где бы я ни был – на чёрном ветру
в чёрном снегу упаду и умру.
Будет завод надо мною гудеть,
будет звезда надо мною гореть.

Ржавая, в странных прожилках звезда,
и – никого, ничего, никогда.

Готовность к самоубийству в Рыжем жила давно. Это решение вызревало, набухало буквально на глазах. В определённом смысле это посмертные стихи – по ракурсу взгляда, когда настоящее уже воспринимается как прошедшее.

Как я любил унылые картины,
посмертные осенние штрихи,
где в синих лужах ягоды рябины,
и с середины пишутся стихи.

Но мальчик был, хотя бы для порядку,
что проводил ладонью по лицу,
молчал, стихи записывал в тетрадку,
в которых строчки двигались к концу.

Он давно знал, что уйдёт. Непреложно знал.

...Закурить, опохмелившись, поглядеть на облака,
что летят над головою из далека-далека,
в граде Екатеринбурге, с гордо поднятой главой
за туманом различая бездну смерти роковой.

Все его стихи – это какой-то непрерывный роман со смертью.

Попрощаться бы с кем-нибудь, что ли,
да уйти безразлично куда
с чувством собственной боли.
Вытирая ладонью со лба
капли влаги холодной.
Да, с котомкой, да, с палкой. Вот так,
как идут по России голодной
тени странных бродяг.
С грязной девкой гулять на вокзале,
спать на рваном пальто,
чтоб меня не узнали –
ни за что, никогда, ни за что.
Умереть от простуды
у дружка на шершавых руках,
только б ангелы всюду...
Живность вся, что живёт в облаках,
била крыльями часто
и слеталась к затихшей груди.
Было б с кем попрощаться
да откуда уйти.

Он вроде бы ёрничает, говорит не всерьёз:

Ты меня люби, красавица,
скоро время вовсе кончится,

и уже сегодня, кажется,
жить не хочется.

И красавицы, что поразительно, чувствуют это. Каким-то сердечным чутьём ощущают его смертельно тающее на глазах время, его уходящесть, и не могут отказать ему в последней ласке.

Не забухал, а первый раз напился
и загулял –
под «Скорпионз» к её щеке склонился,
поцеловал.
Чего я ждал? Пощёчины с размаху
да по виску.
И на её плечо, как бы на плаху,
поклат башку.
Но понял вдруг, трезвея, цепенея:
жизнь вообще
и в частности, она меня умнее.
А что еще?
А то еще, что вопреки злословью,
она проста.
И, если пьян, с последнею любовью
к щеке уста
прижал – и всё, и взял рукою руку,
она поймёт.
И, предвкушая вечную разлуку,
не оттолкнёт.

Это чувствует цыганка, предсказавшая ему скорую смерть:

Погадай мне, цыганка, на медный грош,
растолкуй, отчего умру.
Отвечает цыганка, мол, ты умрёшь,
не живут такие в миру.

Поэзия оказалась более опасным делом, чем бокс с его постоянными травмами и перебитым носом или драки с уличной шпаной. Как это ни парадоксально – поэт и поэзия пожирают друг друга, поэт губит себя для поэзии. Б. Рыжий был и жил целиком в поэзии. А это смертельно.

Последние стихи написаны уже словно на грани бытия, на грани распада сознания, как в пьяном или предсмертном бреду:

Ничего не надо, даже счастья
быть любимым, не
надо даже тёплого участия,
яблони в окне.
Ни печали женской, ни печали,
горечи, стыда.
Рожей – в грязь, и чтоб не поднимали
больше никогда.
Не вели бухого до кровати.
Вот моя строка:

без меня отчаливайте, хватит,
– небо, облака!
Жалуйтесь, читайте и жалеите,
греясь у огня,
вслух читайте, смейтесь, слёзы лейте,
только без меня.
Ничего действительно не надо,
что ни назови:
ни чужого яблоневого сада,
ни чужой любви,
что тебя поддерживает нежно,
уронить боясь.
Лучше страшно, лучше безнадежно,
лучше рылом в грязь.

Не надо лживых красивых слов, всё равно ничто не спасёт. Он обречён.

Не надо ничего,
оставьте стол и дом
и осень, того,
рябину за окном.
Не надо ни хрена –
рябину у окна
оставьте, ну и на
столе стакан вина.
Не надо ни хера,
помимо сигарет,
и чтоб включал с утра
Вертинского сосед.
Пускай о розах, бля,
он мямлит из стены –
я прост, как три рубля,
вы лучше, вы сложны.
Но, право, стол и дом,
рябину, боль в плече,
и память о былом,
и вообще, вообще.

Несмотря на отчётливый алкогольный привкус этих стихов, Рыжий писал «о полной гибели всерьёз», писал «в той допотопной манере, когда люди сгорают дотла». В его готовности к смерти много от цветаевского отношения к ней. Смерть была её обитель, её дом, где всё было обжито ею в мыслях, снах и стихах, всё было ей родное. На небо – значило – домой. Не «домой с небес», как у Поплавского, а домой на небеса.

...И думаю: о жалкие умы,
предметы не страшатся разрушенья –
вернее, всё, что разрушаем мы,
в иное переходит измеренье.
И мне не страшно предавать словам
то чувство, что до горечи знакомо.
И я одной ногой гуляю там,
гуляя здесь, и, знаешь, там я дома.

Последняя посмертная подборка в «Знамени»:

Белое синее с чёрной каймой.
Точки и линии стали золой.
То, что задымлено, было судьбой,
было любимыми, было тобой.
Ну не нелепо ли, не удалось.
Были и небыли, радость и злость.
Музыка, музыка, о, у виска
музыка, музыка, ревность, тоска.
Алого пламени слабый росток.
Вырви из «Знамени» этот листок.

Как-то на школьной практике Борис запальчиво сказал в пространство: «Вот вы сейчас смеётесь, а потом мои стихи впишут в хрестоматии, и ваши дети будут их учить в школе». Это не бахвальство. Он знал себе цену. «Мы все лежим на площади Свердловска, где памятник поставят только мне». «Сквер будет назван именем моим». А вот я уверена, что это так и будет. Когда-нибудь обязательно будет. Это редкий, штучный поэт. Он, как никто, выразил своё время. И не только его сленг, чернушность, но и его музыку, свет. Он создал свой мир в поэзии, мир челябинских заводских окраин, свердловских подворотен и скверов, жесткий мир уродливых перестроечных времен. И над всем этим – чистая мелодия тоски, вечной разлуки, душевной боли, в которой – ни звука фальши. И – эта неповторимая интонация. Непредсказуемость. И мрак, и свет – всё в одном флаконе. Для меня это сейчас поэт №1. В том же ряду, что и Есенин, Высоцкий. Только – тоньше, глубже, неповторимей. Рыжий – это явление типично-уникальное для России. Это поэт народный во всех смыслах. Он вошёл в русскую поэзию чисто по-русски: самосжиганием дотла.

Это далеко не только мое мнение. М. Гундарин в своей статье «Борис Рыжий: домой с небес» называет его «истинно русским гением» – «так высока и неподдельна концентрация в его стихах истинно поэтического вещества, так беззащитна его душа...» («Знамя», №4, 2003). А Д. Сухарев считает, что благодаря Б. Рыжему молодая русская поэзия, которая оказалась ныне в «тупике холодного филологизма», обрела надежду на выход из кризиса. («Независимая газета», 9.09.2004 г.).

Над домами, домами, домами
голубые висят облака –
вот они и останутся с нами
на века, на века, на века.
Только пар, только белое в синем
над громадами каменных плит...
Никогда никуда мы не сгинем,
мы прочней и нежней, чем гранит.
Пусть разрушатся наши скорлупы,
геометрия жизни земной –
оглянись, поцелуй меня в губы,
дай мне руку, останься со мной.
А когда мы друг друга покинем,
ты на крыльях своих унеси
только пар, только белое в синем,
голубое и белое в си...

В октябре прошлого года накануне 30-летия Б.Рыжего и трехлетия со дня его смерти я провела в Областной библиотеке посвященный ему вечер. Народу пришло несколько меньше, чем ходит обычно на известные имена, но человек 200 было. Материал мной был собран свежайший, из интернета и новых сборников поэта, ещё не дошедших до Саратова. Люди слушали, затаив дыхание. После лекции окружили, долго не отпускали, засыпали вопросами и просьбами дать почитать Рыжего, потом дома весь вечер не смолкали звонки. Наши СМИ, как всегда, отмолчались, сделав вид, что не заметили ни этого вечера, ни двойной посмертной даты поэта. Но к этому мне было не привыкать. И вдруг – спустя полгода – в апреле, когда я уже закончила цикл из 10 вечеров, газета «Саратовские вести» разразилась запоздалой рецензией на вечер Рыжего. Она была помещена под аршинным заголовком «Борис Рыжий и его ангелы». Автор – Оксана Ефремова. Рецензия трусливо была замаскирована под некий «Роман с продолжением» (её подзаголовок), хотя продолжения потом никакого не последовало. Странная, прямо скажем, была рецензия. Нигде не упоминалось моего имени, его заменяло безликое «ведущая», ни слова не было сказано о начале нового литературного цикла, о котором авторша никак не могла не знать. Но у неё была другая задача – мелкая и подленькая – дискредитировать то, что говорилось на том вечере, да и вообще всё, что я делаю, отбить у людей всякое желание приходить на поэтические вечера. Но делалось это очень осторожненько, с хитрецей, с оглядкой и, что называется, с «подтекстом». Приведу несколько цитат.

«В Саратовской областной библиотеке поминали екатеринбургского поэта...» Далее идет абзац, целиком списанный Ефремовой из «Знамени»: «Борис Рыжий, возможно один из немногих современных авторов-поэтов, который сумел завоевать провинцию... И в сегодняшней популярности Рыжего, безусловно, огромную роль играет его трагическая смерть. Таким образом, история гибели Рыжего, живущего на этой земле автора своих стихов – становится историей зарождения славы Рыжего-поэта, стихи которого живут «сами по себе». На самом деле все эти слова принадлежат М.Гундарину («Знамя», №4, 2003 г., с. 177). А вот дальше пошло уже ее собственное «творчество».

«Собравшиеся в зале люди с поэзией Рыжего явно не были знакомы. Во всю стену им демонстрируют большую чёрно-белую фотографию поэта. Большие, слегка оттопыренные уши, по-детски искривленный рот, миниатюрная рука, неумело держащая сигарету...

– Какое хорошее лицо! – вздыхает моя соседка справа.

– Красавец! – вторит ей подруга.

Тут-то мы и узнаём, что Рыжего любили женщины. Любили, потому что чувствовали «скорую разлуку». А он, в свою очередь, жалел дурачка Петю и девушку в трамвае, которой муж не дал денег на кофточку. Всё это – краткие пересказы сюжетов некоторых его стихотворений».

В статье намеренно оглуплялась и примитивизировалась моя речь (надо ли говорить, что такого плоского «пересказа» не было и в помине!), «ненавязчиво» подчёркивался преимущественно пожилой возраст слушателей, намекалось на их невысокий интеллектуальный уровень.

«Старушки сопят и тихо переговариваются друг с другом: «Тридцать пять минут, не успеем на «Газель»...»

Такое впечатление, что журналистка не лекцию слушала, не стихи поэта, а подсаживалась к старушкам и подслушивала их разговоры, радостно строча в блокнотик, когда удавалось услышать то, что хотела.

«Молодой человек выбегает к микрофону и начинает агрессивно рубить воздух «ненормативными» стихами. На слове «х...» старушки испуганно вздрагивают. На слове «б...» – закрывают глаза и говорят: «О Господи!»

Привить им маргинальную поэзию довольно сложно, но... возможно. Им показывают фотографию Рыжего, они начинают любить это бледное удлинённое лицо. Эти скорбные выразительные глаза. Потом хорошо поставленный голос из динамиков читает стихи Рыжего про смерть и похороны. Приводит отрывки из рассуждений молодых поклонников поэта, которые называют его «смелым мальчиком». Смелым – потому что нашёл в себе силы уйти. Реклама смерти получается чёткой и красивой, как чёрно-белая фотография на стене... Хочется встать и зааплодировать.

...В туалете – длинная очередь. Поправляют шапочки, завязывают шарфы. У гардероба один из редких представителей молодежи говорит: «Я вообще не поклонник матерного творчества...»

Помню, придя в тот вечер домой, просматривая списки отметившихся слушателей, я с удивлением обнаружила среди них фамилию этой репортёрши, до того ни разу не «осчастливившей» мои вечера своим посещением. Я тут же позвонила ей, чтобы узнать впечатление. Тон у неё был настороженный, вкрадчивый, чуть растерянный.

– Лекция хорошая, но... (пауза).

– Что «но»?

– Стихов мало звучало.

(Я потом не поленилась посчитать в лекции: 57 стихов. Это вместе с губановскими, о котором тоже шла речь на этом вечере (20 лет со дня смерти), но в рецензии почему-то об этом умалчивалось).

– По-моему, как раз очень много. Больше, чем обычно. И потом – это же всё-таки лекция, а не концерт, не могут звучать одни стихи.

– А почему не прозвучало стихотворение про дурачка Петю, которого хоронили без музыки? По-моему, это самое гениальное его стихотворение.

– А по-моему, далеко не самое. Всё невозможно вместить в один вечер. Но это стихотворение упоминалось.

Потом этот «недочёт» получил в опусе журналистки следующее воплощение:

«На улице идёт колючий мелкий снег, блуждают одинокие пьяные и доносятся взрывы хохота с остановки. В дорогом магазине «скидка – 60%», стою у витрины, натягивая капюшон, и пытаюсь припомнить единственное стихотворение Рыжего, которое я знаю наизусть. И которое почему-то не читали хорошо поставленным голосом.

«А когда он умер, тоже
не играло ни хрена.
Тишина, помилуй Боже!
Плохо... Если тишина...»

Ну что тут скажешь? Недавно выступал по ТВ К. Райкин, высказывая многие близкие мне мысли о критериях искусства и востребованности художника. Он, в частности, говорил: «Достучаться можно почти до каждого. Ну, бывает, правда, какой-нибудь толстокожий попадётся, который вдруг выйдет в буфет...» Оказывается, не до каждого. Во всяком случае, до этой филологини, начинающей писательницы, участницы семинара молодых писателей в столице, достучаться не удалось. Даже такими стихами. Помню, я тогда спросила по телефону, что побудило её прийти на вечер.

– Друзья посоветовали, – уклончиво сказала она.

Видимо, эти друзья дали ей и соответствующую установку, как воспринимать и оценивать мою деятельность.

– Собираетесь писать о Рыжем? – осведомилась я.

– Ну... (помялась она). Не то, чтобы именно о нём... В общем контексте.

И вот такой вот «контекст» был выдан ею полгода спустя. Что вынесла молодая писательница с этого вечера? Что ей запомнилось? «Большие оттопыренные уши» поэта? Длинная очередь в туалет? Может быть, в этом было всё дело, потому ей так не терпелось «встать и заплодировать», то есть чтобы всё поскорее закончилось? Дорогой магазин со «скидкой 60%», куда она направилась после того вечера? Своё отражение в его витрине? Зачем вообще нужно было писать и печатать весь этот вздор? Что читатель вынесет из этой пустой, невразумительной заметки? Что какая-то неведомая ведущая проводит неизвестно зачем какие-то скучные вечера «матерного творчества»?

Уж сама-то она, О. Ефремова – читалось между строк «романа» без «продолжения» – и тоньше, и умнее, и глубже, и уж она-то провела бы такой вечер намного интереснее, и пришли бы к ней на него не старушки, а молодые интеллектуалы. Но тогда тщательней надо было компромат собирать, а то как-то неубедительно получилось. Подумаешь, не прозвучало единственное стихотворение, которое знала журналистка. Но она ведь и так его знала, по её словам, «наизусть». Зато прозвучало 57 других, неизвестных ей прежде,

которые теперь узнала. А песни на стихи Рыжего под гитару в прекрасном исполнении Светланы Лебедевой! А слайды редких фотографий из семейного архива поэта! Но вместо признательности за всё это – высокомерное «фи», старательно состроенная гримаска пренебрежительного снобизма.

Я не знаю, что там пишет Ефремова в своих рассказах, но мне заранее уже не хочется их читать. Кто-то очень точно сказал, что поэзия – это увеличительное стекло, которое усиливает чувства человека. Если усиливать нечего – она бессильна. И такого обделённого эмоциями можно лишь пожалеть.

Стихи Бориса Рыжего – для тех, кто наделён от природы даром тайнослышания, для кого не закрыт сокровенный поэтический смысл вещей. О. Ефремова, видимо, в число этих людей не входит.

...И снова память высвечивает юное лицо на экране со шрамом на щеке, сигарету меж пальцев, отрешённый задумчивый взгляд. И голос, звучащий из динамиков в напряжённой звенящей тишине зала:

Благодарю за всё. За тишину,
за свет звезды, что спорит с темнотою.
Благодарю за сына, за жену,
за музыку блатную за стеною.
За то благодарю, что, скверный гость,
я всё-таки довольно сносно встречен –
и для плаща в прихожей вбили гвоздь,
и целый мир взвалили мне на плечи.
За всё, за всё. За то, что не могу,
чужое горе помня, жить красиво.
Я перед жизнью в тягостном долгу,
и только смерть щедра и молчалива.
За всё, за всё. За мутную зарю.
За хлеб. За соль. Тепло родного крова.
За то, что я вас всех благодарю.
За то, что вы не слышите ни слова.

5. «Тёмен жребий русского поэта»

*Вся Россия устремлена на вечную
Голгофу кровавую – и только через неё –
в Царствие Небесное.
Россия извечно больна Голгофой!..
Ведь Голгофа – это и есть бессмертие...*

Тимур Зульфикаров

Век мой – враг мой, век мой — ад.

М. Цветаева

У нас всегда было две России – созидающая и убивающая. Убивающая не только лагерями, но и чудовищным пренебрежением к собственным талантам. И конфликт сегодня – не между Москвой и провинцией или признанными и непризнанными поэтами. А, как всегда, между живым и мёртвым. Между теми, чьи стихи растут из такого сора, который и Ахматовой был неведом, – и попсовым бомондом, забывшим или не знавшим никогда, что поэзия – это не игра в стихи, а сражение на грани жизни и смерти.

Так чёрные ангелы медленно падали в мрак,
так чёрною тенью Титаник клонился ко дну.
Так сердце твоё оборвётся когда-нибудь, так
сквозь розы и ночь, снега и весну...

Г.Иванов

Мой дом – берлога,
мой дом – нора,
где над порогом –
тень топора.

И.Елагин

Тёмен жребий русского поэта.
Неисповедимый рок ведёт
Пушкина под дуло пистолета,
Достоевского на эшафот.
Может быть, такой же жребий выну,
горькая детоубийца-Русь,
и на дне твоих подвалов сгину
иль в кровавой луже поскользнусь...

М.Волошин

Поль Элюар писал: «Пока существует насильственная смерть – поэт будет погибать первым». В России это стало какой-то зловещей традицией.

Живём в печали и веселье,
живём у Бога на виду:
в петле качается Есенин,
и Мандельштам лежит на льду.
А мы рассказываем сказки
и, замаскировав слезу,
опять сосновые салазки
куда-то Пушкина везут.
Не пахнет мясом ли палёным
от наших ветреных романов?
И я за кровью Гумилёва
иду с потресканным стаканом.
Но от Москвы и до Аляски,
когда поэты погибают,
ещё слышнее ваши пляски,
ещё сытнее стол с грибами.

Л.Губанов

«Поэзию у нас уважают. За неё убивают», – говорил Мандельштам. Сколько их – убитых пулей, удушьем, равнодушием, нелюбовью...

Это крик по собственной судьбе,
это плач и слёзы по себе,
это плач, рыдание без слов,
погребальный звон колоколов.

Словно смерть и жизнь по временам –
это служба вечная по нам,
это вырастают у лица
как деревья, песенки конца.

Погребальный белый пароход,
с полюбовным венчиком из роз,
похоронный хор и хоровод,
как Харону дань за перевоз.

Это стук по нынешним гробам,
это самый новый барабан,
это саксофоны за рекой,
это общий крик за упокой.

Ничего от смерти не убрать.
Отчего так страшно умирать,
неподвижно лёжа на спине
в освещённой вечером стране.

Оттого, что жизни нет конца,
оттого, что, сколько ни зови,
всё равно ты видишь у лица
тот же лик с глазами нелюбви.

И. Бродский

И как любит их потом Родина-мать – мёртвых, как трепетно сплетает венки на траурных годовщинах, как хороши и свежи розы, брошенные на их гроба!

Но неужели нельзя как-то прервать замкнутый круг, сломать проклятую традицию, обмануть рок, судьбу?

Перешагни, перескачи,
перелети, пере– что хочешь –
но вырвись: камнем из пращи,
звездой, сорвавшейся в ночи...

В.Ходасевич

Тщетно.

И души – им нельзя помочь –
со стоном улетают прочь –
со стоном в вечность улетают.

Г.Иванов

Что мы знаем о вечности – мы, слабые, ограниченные смертным сроком, трёхмерностью видимого пространства и невозможностью представить, как выглядит бесконечность? Только то, что рассказывали нам о ней поэты. Они кажутся нам носителями сознания более высокого, чем человеческое. И, кажется, они знают о смерти больше обычного человека. Именно с таким чувством читаешь «Посмертный дневник» Георгия Иванова, поэта, воспринимавшего мир в каких-то очень больших координатах,

жившего на тех вершинах духа, где сильно разрежен воздух, где всё видно, а дышать больно. Как будто он глядит на эту реальность, зная о какой-то другой, откуда и собственная смерть выглядит совершенно иначе.

Без числа сияют свечи.
Слаще мгла. Колокола.
Чёрным бархатом на плечи
вечность звёздная легла.

Тише... Это жизнь уходит,
всё любя и всё губя.
Слышишь? Это ночь уводит
в вечность звёздную тебя.

* * *

Душа человека. Такою
она не была никогда.
На небо глядела с тоскою,
взволнованна, зла и горда.

И вот умирает. Так ясно,
так просто сгорая дотла –
легка, совершенна, прекрасна,
нетленна, блаженна, светла.

Над бурями тёмного рока
в сиянье. Всего не успеть.
И полною грудью поётся,
когда уже не о чем петь.

* * *

В зеркале сутулый, тощий,
складки у бессонных глаз.
Это всё гораздо проще,
будничнее во сто раз.

Будничнее и беднее –
зноен опалённый сад,
дно зеркальное. На дне. И
никаких путей назад.

Я уже спустился в ад.

* * *

Что ж, поэтом долго ли родиться,
вот сумей поэтом умереть!
Собственным позором насладиться,
в собственной бессмыслице сгореть!

Разрушая, снова начиная,
всё автоматически губя,
в доказательство, что жизнь иная
так же безнадежна, как земная,
так же недоступна для тебя.

* * *

Прозрачная ущербная луна
сияет неизбежностью разлуки.
Взлетает к небу музыки волна,
тоской звенящей рассыпая звуки.

Прощай... И скрипка падает из рук.
Прощай, мой друг! И музыка смолкает.
Жизнь размыкает на мгновенье круг
и наново, навеки замыкает.

И снова музыка летит, звеня.
Но нет! Не так, как прежде – без меня.

И ему, как и Пушкину, не помогла эта «чудная, смутная музыка, слышная только ему». Они все обречены. Обречены с рождения. «Проклятые поэты».

Знаю, умру на заре...

М. Цветаева

Не спасёт тебя больше ни звёздное небо,
ни морская волна.

Б. Рыжий

Вся дорога осенняя
в красноватом чаду.
Никакого сомнения,
что уже я в аду.

И. Елагин

Последние годы жизни Б. Поплавского, по свидетельству его отца, были «глубоко загадочными», как будто он постепенно уходил из мира сего, испытывая всё нарастающую смертельную тоску. У этого «гениального неудачника», как называла его Нина Берберова, не было в жизни ничего, кроме искусства и холодного, невысказываемого понимания того, что это никому не нужно. Но вне искусства он не мог жить. И когда оно стало окончательно бессмысленно и невозможно, он умер.

Птицы улетели. Молодость, смиришь.
Ты ещё не знаешь, как прекрасна жизнь.
Рано закрывают голые сады.
Тонкий лёд скрывает глубину воды.
Птицы улетели. Холод недвижим.
Мы недолго пели и уже молчим.

«Много знаю. А сердце жаждет смерти», – запись на обложке тетради.

Что же ты на улице, не дома,
не за книгой, слабый человек?
Полон странной снежною истомой,
смотришь без конца на белый снег.
Всё вокруг тебе давно знакомо.
Ты простил, но ты не в силах жить.
Скоро ли уже ты будешь дома?
Скоро ли ты перестанешь жить?

Это голос человека, заглянувшего в бездну. То же ощущение того света как своего дома, знакомое нам по стихам Цветаевой, Рыжего. Поплавского, казалось, не покидало чувство близости своей судьбы, близости Конца, ожидания, «пока на грудь и холодно, и душно не ляжет смерть, как женщина в пальто». Словно в далёком предчувствии были написаны эти строки. Его последние стихи звучат как завещание.

Розовый ветер зари запоздалой
ласково гладит меня по руке.
Мир мой последний, вечер мой алый,
чувствую твой поцелуй на щеке.
Тихо иду, одеянный цветами,
с самого детства готов умереть.
Не занимайтесь моими следами.
Ветру я их поручаю стереть.

В дневнике он часто возвращался к мысли о смерти: «Что толку, если сама жизнь есть мука? Мы умираем, в гибели видя высшую удачу, высшее спасение». Это главный мотив дневника. Соблазн гибели. Притяжение и соблазн смерти. «Наш лозунг – погибание». Он ушёл из жизни обиженным и непонятым.

Спать. Уснуть. Как страшно одиноким.
Я не в силах. Отхожу во сны.
Оставляю этот мир жестоким,
ярким, жадным, грубым, остальным.

...В этой жизни слабым не ужиться.
Петь? К чему же сердце разрывать?
И не время думать и молиться.
Время – спать, страдать и умирать.

Смерть пришла к этому гениальному неудачнику как избавительница.

Спи. Забудь. Всё было так прекрасно.
Скоро, скоро над твоим ночлегом
новый ангел сине-бело-красный
с радостью взлетит к лазурям неба.

Читаешь эти строки – и происходит чудо. На коротком отрезке пути от сердца поэта к сердцу читателя все мрачные слова преобразуются и начинают светиться, помогая нам свободней и легче дышать. Таково свойство всякой истинной поэзии, какой бы

мрачной и грустной она ни была. Не нужно бояться этого мрака. «И в трагических концах есть своё величие. Они заставляют задуматься оставшихся в живых», – говорит устами волшебника из знаменитого фильма «Обыкновенное чудо» мудрец Григорий Горин.

Что это? Грусть? Возможно, грусть.
Напев, знакомый наизусть.
Он повторяется, и пусть.
Пусть повторится впредь.
Пусть он звучит и в смертный час,
как благодарность уст и глаз
тому, что заставляет нас
порою вдаль смотреть.

И.Бродский

Каждый гений собирался и обещал умереть рано. Сроки жизни порядочного гения были отмечены: 23 года – Веневитинов, 26 – Лермонтов, 30 – Есенин... Л. Губанов начал писать о своей смерти с 16-ти лет. Эта тема считалась тогда крамольной – в официальной культуре она была запрещена (кроме смерти на войне). Пережив Есенина, он клялся, что уж Пушкина ни за что не переживёт. Так и случилось. Свой ранний уход в 37 лет Губанов предчувствовал, и это предчувствие нередко звучит в его стихах.

Холст 37 на 37.
Такого же размера рамка.
Мы умираем не от рака
и не от старости совсем.

* * *

Здравствуй, осень, нотный гроб,
жёлтый дом моей печали.
Умер я – иди свечами.
Здравствуй, осень, новый грот.
Умер я, сентябрь мой,
ты возьми меня в обложку.
Под восторженной землёй
пусть горит моё окошко!

В сентябре, как он и напророчил в стихах, – в 1983 году при невыясненных обстоятельствах Губанов скончался. Мать, приехав, застала его мёртвым в кресле.

И локонов дым безысходный,
и я за столом, бездыханный.
Но рукопись стала свободной.
Ну что ж, до свиданья, Губанов, – так он сам попрощался с собой в стихах. Предсказали свою смерть многие поэты:

Я умру в крещенские морозы.
Н. Рубцов

И осенью, и летом не умру,
но всколыхнётся зимняя простынка.
И. Бродский

Тьма меня погубит в декабре.
В декабре я перестану жить.
Ф. Сологуб

Золотому блеску верил,
а умер от солнечных стрел.
А. Белый

(А.Белый умер от солнечного удара)

Уходил о зимней поре,
не кончив похода.
Б. Чичибабин

Я умер в палиндромный год,
и возраст мой был палиндромен.

А. Ханьжов

Кто сказал, что поэты не пророки? «Я смерти, милая, учусь,/ всё остальное есть у Бога», – писал Губанов. Он был талантливым учеником. Смерть в устах живого человека – что это, как не метафора? Но у Губанова она была не метафорой усталости и скуки, как декадентская метафора смерти, наоборот – свободы и торжества, она казалась более живой, чем мёртвая жизнь выживания, весёлая и лихая была мысль: дескать, вы ещё увидите!

Как страшно ночью, не рисуя,
услышать боль, как вой Везувия.
Когда он прёт, гремит в груди,
готовый вырваться, сгубить.
Лежу на траурной постели
несчастной маленькой Помпеей
без слёз, без песен и без гимнов.
А вдруг не выдержу, погибну?
Вдруг ночью запечённой, чёрной,
всё полетит куда-то к чёрту –
мои глаза, мои грехи,
мои полотна и стихи.
И то, что я вчера в слезах
никак не мог тебе сказать?!

Под небом огненным распоротым
я гибну грубым гордым городом.
Безумной мордой в небо тычась,
в огне, во мне умрёт сто тысяч.
Сто тысяч губ, детей, тревог,
забытый небом медный Бог!
Сто тысяч, мир, – твоя потеря.
Сто тысяч – охают, не веря!
Не сны, не краски, не идеи –
отходят люди, словно деньги,

ненужной мелочью и тленной
бренчат в карманах у вселенной.

Я уйду, мой мир над бездной,
и, как Христос, я не воскресну.
Пожаром звёзды обжигая,
до лавы славы – умираю.
Над Римами, рабами, реками
миры мои поют мой реквием.

В сентябре 83-го всё сбылось. Совпадение, мистика?

Мой лик сбежал с карандаша,
как заключённый из больницы,
сухой, как кашель, чуть дыша,
перевалил через страницы.
Он вышел вон, на волю, в вечность
и сбросил из последних сил
весь мир, накинутый на плечи,
как плащ, который относил!

Вот уже 20 лет, как нет с нами Лёни Губанова. Но трудно поверить в это, когда читаешь его стихи, из которых он говорит с нами, говорит с того света, как будто из соседней комнаты.

Я уже хожу по тому свету.
Знайте, знайте, что умер-то я по благу.
Над моей башкою порхает лето
молодых безбожников алым матом.

Заколдованно ранен такой обидой –
подмигнула молодость, не заметил.
Ах, и жизнь моя, как кусок отбитый
от того колокола, что бессмертен!..

Я посвятила ему стихи:

Отрок сказочный с обликом простолюдина, –
был щербатым и губастым, как пескарь,
а душа пылала, как огонь в посудине,
и в глазах была рублёвская тоска.

Не печатали поэта, не печатали.
Он оставлен был России на потом.
Словно шапку в рукава – в психушки прятали,
и ловил он, задыхаясь, воздух ртом.

Только в пику всем тычкам и поношениям,
козням идеологических мудил,
жизнь брожением была, самосожжением.
Он на сцену, как на плаху, выходил.

И распахивал всё то, что заколочено,
словно вены, наши двери отворял,
и лилась потоком кровь его пророчества,
одинокства катил девятый вал.

Ничего такого вроде бы серьёзного –
ни наркотика, ни бритвы, ни петли.
Ни концлагеря, ни тюрем – время постное.
Но поэта всё же не уберегли.

Кровь бурлила и шальное сердце бухало,
и, казалось, наливал ему сам Бог.
Был он братом и по крови, и по духу им –
всем великим собутельникам эпох.

Нет, недаром, видно, так пытал-испытывал
и отметил щедрой метою Господь.
Недостаточность сердечная? Избыточность!
Не вмещалось это сердце в эту плоть.

И, пройдя его, слова сияли заново,
и срывали с уст молчания печать.
Невозможно их читать – стихи Губанова.
Ими можно лишь молиться и кричать.

Иосиф Бродский умер в ночь с 26 на 27 января 1996 года. Обнаружила его жена под утро. Дверь была открыта, он лежал на полу. Лицо в крови, очки разбиты при падении. В 93 году им были написаны строчки: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибки». Они оказались пророческими. Он совершил ошибку, он умер, пытаясь выйти из комнаты. Умер не от инфаркта, а от аритмии. В медицине это считается очень лёгкой смертью. У него просто остановилось сердце.

Он шёл умирать. И не в уличный гул
он, дверь отворивши руками, шагнул,
но в глухонемые владения смерти.
Он шёл по пространству, лишённому тверди.

Он многократно отрепетировал эту смерть в стихах, в думах, в разговорах.

«Вспоминаешь о прошлом?» – «Помню, была зима.
Я катался на санках, меня продуло». «Ты боишься смерти?» «Нет, это та же тьма;
но, привыкнув к ней, не различишь в ней стула».

* * *

Навсегда расстаёмся с тобой, дружок.
Нарисуй на бумаге простой кружок.
Это буду я: ничего внутри.
Посмотри на него, и потом сотри.

Тема смерти – одна из главных тем Бродского. Тут он не одинок. Эта тема была главной у Рильке, Цветаевой, Рыжего. У И. Анненского страх смерти составляет основное содержание и импульс его творчества. Ходасевич даже назвал его «Иваном Ильичом русской поэзии», объясняя характер его поэзии испугом Анненского перед смертью, навязчивой идеей смерти. (Как и у Бродского, у него была тяжёлая болезнь сердца, и смерть могла наступить в любую минуту). В своей статье «Что такое поэзия?» Анненский пишет: «Она – дитя смерти и отчаяния.»

...Давно с календаря не обрывались дни,
но тикают ещё часы с его комода,
а из угла глядит, свидетель агоний,
с рожком для синих губ подушка кислорода...

Он всматривается в смерть, не может отвести от неё взгляд, отождествляет себя с нею:

В недоумении открыл я мертвеца...
Сказать, что это я... весь этот ужас тела...

* * *

Я думал, что сердце из камня,
что пусто оно и мертво;
пусть в сердце огонь языками
походит – ему ничего.
И точно – мне было не больно,
а больно, так разве чуть-чуть.
И всё-таки лучше довольно,
задуй, пока можно задуть...
На сердце темно, как в могиле,
я знал, что пожар я уйму...
Ну вот... и огонь потушили,
а я умираю в дыму.

Анненскому повезло: мгновенная смерть на вокзале избавила его от «рожка для синих губ». А вот И. Елагину была суждена мучительная смерть от эмфиземы лёгких, и он с потрясающим натурализмом опишет её в стихах:

Этот снег за стеною больничной –
мой единственный друг закадычный,
он, как слёзы, течёт и течёт.
И душа по-некрасовски вволю
опилась покаянною болью.
Вот и близится с жизнью расчёт.

Умирать предназначены все мы,
но кончаться в когтях эмфиземы –
это очень унылый сюжет:
ловишь воздух, как пойманный окунь,
только он недоступен, далёк он,
только, в сущности, воздуха нет.

Что ты знал о Толедо, Охайо?
Что на свете земля есть такая,
что бывают такие места?
Ах, как эти мечты вдохновенны!
Только музыка вовсе не та!
А не хочешь ли розовой пены,
что струёй потечёт изо рта?

Боялись ли они смерти? «И не страшно мне ложе смертное», – заявляет Цветаева, и ей веришь: этой ничего не страшно, её ад – в её душе. Фет тоже не боялся смерти – только физических мучений. И его предсмертная записка, в которой он писал, что «сознательно идёт навстречу неизбежному», т. е. решается на самоубийство, чтобы избежать телесных страданий, – тому безусловное подтверждение. Стихов о смерти у него почти и не было, а в стихотворении «Смерть», написанном в 1878 году, в старости, он утверждал: «Но если жизнь – базар крикливый Бога,/ то только смерть – его бессмертный храм».

Г.Иванов умер на больничной койке, до последнего дня ведя свой «Посмертный дневник».

Ночь, как Сахара, как ад, горяча.
Дымный рассвет. Полыхает свеча.
Вот начертил на блокнотном листке
я Размахайчика в чёрном венке,
лапки и хвостика тонкая нить...
«В смерти моей никого не винить».

* * *

Игра судьбы. Игра добра и зла.
Игра ума. Игра воображенья.
«Друг друга отражают зеркала,
взаимно искажая отраженья...»

Мне говорят: ты выиграл игру!
Но всё равно. Я больше не играю.
Допустим, как поэт я не умру,
зато как человек я умираю.

Смерть зачастую безжалостно отсекает поэта от человека в нём, обнажает его сокровенную суть, то, о чём сам он, может быть, в себе не подозревал. Яркий тому пример – отношение к смерти Ф.Сологуба в стихах и в жизни.

Сологуб не выносил грубой жизни, он мог бы сказать про себя вместе с Достоевским, что чувствует себя так, как будто с него содрана кожа. Всякое прикосновение извне отзывается в нём мучительной болью. Жизнь представляется Сологубу румяной и деблоой бабищей – Евой, в отличие от прекрасной лунной Лилит – его мечты. Она кажется ему вульгарной, пошлой, лубочной. Поэт хочет переделать её на свой лад, вытравить из неё всё яркое, сильное, красочное. У него вкус ко всему тихому, тусклому, беззвучному, бестелесному. Он боится того, что все любят, и любит то, чего все боятся. Чем-то Сологуб в этом смысле напоминает Бодлера, который предпочитал накрашенное и набеленное лицо живому румянцу и любил искусственные цветы. Он боялся жизни и любил Смерть, имя которой писал с большой буквы и о которой находил нежные слова. Его называли Смертерадостным, рыцарем смерти.

Я холодной тропой одиноко иду,
я земное забыл и сокрытого жду, –
и безмолвная смерть поцелует меня,
и к тебе уведёт, тишиной осень.

У Сологуба появляется культ смерти. Он создаёт миф о смерти – невесте, подруге, спасительнице, утешительнице, избавляющей человека от тягот и мучений.

О смерть! Я твой. Повсюду вижу
одну тебя, – и ненавижу
очарование земли.
Людские чужды мне восторги,
сраженья, праздники и торги,
весь этот шум в земной пыли.

В последние же годы поэт, говорили, стал иным. Стихи последних лет отмечены знаками смирения, умиления, тихой печали. И уже не к дьяволу обращается он в них, а к Богу.

Подыши ещё немного
тяжким воздухом земным,
бедный, слабый воин Бога,
весь истаявший, как дым.
Что Творцу твои страдания?
Капля жизни в море лет!
Вот – одно воспоминанье,
вот – и памяти уж нет...

Последние стихи его приближались своей мудрой ясностью к тютчевским, и сам он последние годы внешне разительным образом напоминал Тютчева. «Старик весь как-то просветлел, – писал А. Белый. – Он ищет людей, ласки, общения. Ему это нужно, хоть он и готов отрицать это. Перед смертью он силился вобрать всё в себя и на всё отозваться».

И просил я у милого Бога,
как никто никогда не просил –
подари мне ещё хоть немного
для земли утомительной сил.

Умирал он долго и мучительно. И тут только выяснилось, что этот «поэт смерти», всю свою жизнь её прославляющий, совсем не любил её и боялся. Он яростно отмахивался при разговорах на эту тему: «Да мало ли что я писал! А я хочу жить!» – и до последней своей минуты он цеплялся за жизнь уже ослабевшими руками, шепча стихи как молитву:

У тебя, милосердного Бога,
много славы, и света, и сил.
Дай мне жизни земной хоть немного,
чтоб я новые песни сложил.

Но новых песен ему сложить уже не довелось.
Напрасно ждал «счастливого конца» своей жизни и Иван Елагин:

Идёшь ты по жизни с опаской,
идёшь с постаревшим лицом,
а всё ещё веришь, что сказка
должна быть с хорошим концом.

К сожалению, его сказка оказалась с концом печальным. На родину Елагин так и не вернулся. При жизни у него там не напечатали ни строчки. А он так этого ждал!

В зале моих ожиданий сию я – пока
замертво, в тёмный мой час, не свалюсь я со стула.
Так и умру, ожидая, чтоб эта строка
неизгладимо по сердцу тебя полоснула.

Для стихотворения, которое поэт распорядился напечатать после своей смерти, ему вполне хватило четырёх строк:

Здесь чудо всё: и люди, и земля,
и звёздное шуршание мгновений.
И чудом только смерть назвать нельзя –
нет в жизни ничего обыкновенней.

Таким же трезвым и беспристрастным был взгляд на смерть и В. Ходасевича, который скончался 14 июня 1939 года после тяжёлой операции.

Ухожу. На сердце – холод млеющий,
высохла последняя слеза.
Дверь закрылась. Злобен ветер веющий,
смотрит ночь беззвёздная в глаза.
Ухожу. Пойду немymi странами.
Знаю: на пути – не обернусь.
Жизнь зовёт последними обманами...
Больше нет соблазнов. Не вернусь.

«Мы все умираем, – писал Франческо Петрарка. – Я – пока пишу, ты – пока читаешь, другие – пока слушают или пока не слушают...»

Буднично и с какой-то горькой беспечностью писал о своей будущей смерти Н.Рубцов:

Да! Умру я! И что ж такого?
Хоть сейчас из нагана – в лоб!
Может быть, гробовщик толковый
смастерит мне толковый гроб...
А на что мне хороший гроб-то?
Зарывайте меня хоть так!
Жалкий след мой будет затоптан
башмаками других бродяг.
И останется всё, как было
на земле, не для всех родной.
Будет так же светить Светило
на заплёванный шар земной.

Не обольщается по поводу посмертной всенародной любви к себе и Г. Иванов:

Сухо шелестит омела,
тянет вечностью с планет...
И кому какое дело,
что меня на свете нет?

У С. Парнок есть потрясающий сонет о смерти, где она высмеивает романтические штампы, с которыми принято было описывать приход смерти. Она-то знала, как грубо, беспощадно, а главное, некрасиво разделяется с нами жизнь, и была убеждена, что смерть придёт за ней вовсе не такой, какой обычно изображают её в стихах поэты.

Вот так она придёт за мной
не музыкой, не ароматом,
не демоном темнокрылатым,
не вдохновенной тишиной, –
а просто – пёс завоет, или
взовьётся взвизг автомобиля,
и крыса прошмыгнёт в нору.
Вот так! Не добрая, не злая,
под эту музыку жила я,
под эту музыку умру.

«Я устала какой-то последней усталостью. Мне кажется, что смерть – дар Божий, не печальный, а радостный», – писала Парнок. К концу 1930 года ей кажется, что всё и на всех фронтах ею проиграно, жить не имеет смысла. И вдруг, когда мрак, окутавший её жизнь, казалось, сгустился до беспросветности, яркой, ослепительной вспышкой в её жизнь вошла новая любовь.

Ты вошла, как входили тысячи,
но дохнуло огнём из дверей.
И открылось мне: тот же высечен
вещий знак на руке твоей.

...Я, как слепая, ощупью иду
на голос твой, на теплоту, на запах...
Не заблужусь в Плутоновом саду:
где ты вошла – восток, где скрылась – запад.
Ну что ж, веди меня, веди, веди
хотя б сквозь все круговороты ада
на этот смерч, встающий впереди, –
другого мне Вергилия не надо!

Это была Нина Веденеева, крупный учёный-физик, преподававшая в МГУ, с которой Парнок познакомилась незадолго до своей смерти. Её страсть, столь же сильная, как в молодости, казалась насмешливой пародией, не соответствующей ни возрасту («когда перевалит за сорок – мы у Венеры в пасынках»), ни слабому здоровью. Вглядываясь в облик своей возлюбленной, Парнок осознаёт всю остроуту, мучительность и горечь поздних желаний:

Седая голова. И облик юный.
И профиль Данта. И крылатый взгляд.

И в сердце грусть перебирает струны:
ах, и люблю я нынче невпопад!
Но ты поллюбопытствуй, ты послушай,
как сходят вдруг на склоне лет с ума...

* * *

Сквозь всё, что я делаю, думаю, помню,
сквозь все голоса вокруг меня и во мне,
как миг тишины, что всех шумов огромней,
как призыв, как привкус, как проблеск во тьме,
как звёздами движущее дуновенье, –
вот так ворвалась ты в моё бытие –
о радость моя! О моё вдохновенье!
О горькое-горькое горе моё!

Отношения с Веденеевой составили самый трагичный и самый блистательный период жизни Парнок: уже в преддверии смерти она обрела такую полноту любви, счастья и творчества, какого не знала никогда прежде. Седая Муза – так Парнок называла свою подругу – внушила ей стихи такого уровня, каких у неё ещё не было. И вместе с тем любовь эта послужила смертельным ударом, ускорившим конец Парнок, – уже тяжелобольная, она не выдержала эмоционального перенапряжения, приносящего и радость, и боль.

Не внял мольбе моей Господь,
и холодом не осчастливил.
Из круга пламенного плоть
изнеможённую не вывел.
И люди пьют мои уста,
а жар последний всё не выпит.
Как мёд столетий, кровь густа.
О плен мой знойный! Мой Египет!

Этот роман обрушился на них как гром среди ясного неба, как снежная лавина. Они не могли наговориться, насмотреться друг на друга...

Вижу: ты выходишь из трамвая – вся любимая.
Ветер веет, сердцу навевая – вся любимая!
Взгляда от тебя не отрываю: вся любимая!
И откуда ты взялась такая – вся любимая?

...Выпросить бы у смерти годок, другой.
Только нет, не успеть мне надышаться тобой,

– пишет она с тоской.

Это был последний человек, которого она любила на этой земле.

Никнет цветик на тонком стебле...
О любимая, всё, что любила я
и покину на этой земле,
долюби за меня, моя милая.

Это было последнее лето Парнок, которое они проводили вместе в селе Каринском под Москвой. Самочувствие её ухудшалось. Веденева была с ней до последней минуты и там, в той деревенской избе, одревеневшая от горя, приняла смертный вздох своей подруги. Это случилось 26 августа 1933 года. В самую последнюю минуту она приняла от Парнок её прощальный дар: четверостишие, которое умирающая поэтесса прошептала уже коснеющим языком, не договаривая слов – своё смертельное слёзное прощание:

На голову седую
не... глаз...
это я... целую
последний раз.

Последний её вздох был вздохом любви. Она осталась верна себе до самой последней секунды. Ей было 49 лет. Столько же, сколько Марине Цветаевой, когда она повесилась.

У А. Кушнера есть такие строчки: «Да что ж бояться так загробной пустоты?/ Кто жили – умерли, и чем же лучше ты?» И в самом деле. Как-то утешает.

Покорно и стоически принимала свой «тёмный жребий» из рук Господних Мария Шкапская.

Господи, всё я приемлю –
вышла в назначенный срок,
в час предначертанный в землю
лягу в сырой уголок.

Полной отмеренной мерой
груз моей боли несу.
Сею с надеждой и верой
в жизни свою полосу.

Надежды не оправдались. Подступила старость, болезни, одиночество.

Не смерть страшна. Перед её косою
душа чиста.
Нет, страшно то, что даль передо мною
пуста.

В последний год жизни она вдруг увлеклась собаководством, остаток дней всецело посвятив животным. Главным её увлечением после войны были собаки. Дома жили пуделя, и со временем она стала большим специалистом по этой породе. Общественная жилка была в ней неистребима, и она вошла в совет московского клуба собаководов, как когда-то – в президиум Петроградского союза поэтов. Умерла она странной, нелепой смертью. На выставке собак в сентябре 1952 года к ней кто-то подошёл и сказал, что пудели, прошедшие её контроль, неправильно повязаны. Она упала прямо на арене, где проходил этот собачий парад. Сердечный приступ.

Сегодня солнце всё в морщинках
и небо – как писал Каррьер.
Со мною томик Метерлинка
и неразумный фокстерьер.
И след того, за чем бессмертье,
в собачьих светится глазах.

Любви, поднявшейся над смертью,
любви, преодолевшей страх.

Говоря о любви, поднявшейся над смертью, нельзя не вспомнить ещё одну поэтессу Серебряного века – Елизавету Кузьмину-Караваеву. Одна из основных тем её творчества – это забота о людях, жалость и жертвенная любовь к ним.

Братья, братья, разбойники, пьяницы,
что же будет с надеждою нашею?
Что же с нашими душами станется
пред священной Господнею чашею?
Как придём мы к нему неумытые?
Как приступим с душой вороватою?
С раной гнойной и язвой открытою,
все блудницы, разбойники, мытари,
за последней и вечной расплатою?

Только сердце влечётся и тянется
быть, где души людей не устроены.
Братья, братья, разбойники, пьяницы,
вместе встретим Господнего Воина.

* * *

И в эту лямку радостно впрягусь, –
хоти лишь, сердце, тяжести и боли.
Хмельная, нищая, святая Русь,
с тобою я средь пьяниц и средь голи.

О Господи, даю тебе обет –
я о себе не помолюсь вовеки, –
молюсь тебе, чтоб воссиял Твой свет
в унылом этом пьяном человеке.

* * *

Пусть отдам мою душу я каждому.
Тот, кто голоден, пусть будет есть,
наг – одет, и напьётся пусть жаждущий,
пусть услышит неслышавший весть.

От небесного грома до шёпота
учит: всё – до копейки отдай.
Грузом тяжким священного опыта
переполнен мой дух через край.

И забыла я, есть ли средь множества
то, что всем именуется – я.
Только крылья, любовь и убожество,
и биение всебытия.

С 1924 года Е.Кузьмина-Караваева живёт в Париже. В 1926 году у неё умирает младшая дочь. Мать убита горем, но всё же находит в себе силы подняться над болью и жить дальше. Позже, при перенесении праха дочери на другой участок кладбища, Елизавета Юрьевна сказала: «Мне открылось другое, какое-то особое, широкое-широкое всеобъемлющее материнство. Я вернулась с кладбища другим человеком, я увидела перед собой новую дорогу и новый смысл жизни...»

К каждому сердцу мне ключ подобрать.
Что я ищу по чужим по подвалам?
Или ребёнка отдавшая мать
чует черты его в каждом усталом?

Нет, лишь с тех пор я, как дух мой прозрел,
вижу такое среди язв и среди гноя,
преображение вижу я тел,
райские крылья земного покоя.

Складки на лбу иль морщинки у рта,
иль худоба, или сутуловатость, –
в них, не за ними проходит черта,
а за чертой огневая крылатость.

Е. Кузьмина-Караваева решает принести монашеский постриг. В марте 32-го она получает новое имя Мария, избрав нетрадиционный путь: монашество в миру. Приняв монашество, мать Мария не захотела уединиться в созерцательной жизни, отмежеваться от «мира». Напротив, с удвоенной энергией она стала бороться с горем и злом в мире, не щадя себя, забывая о себе, отдавая себя до конца делу помощи ближнему. В этом она чувствовала свою особую миссию, крест, данный ей. «Но Ты и тут мои дороги сузил:/ «Иди, живи среди нищих и бродяг...» – Так видела она наказ, данный ей Богом. У неё было широкое понимание христианства и того, чем в настоящее время должны заниматься христиане.

Вот голый куст, а вот голодный зверь.
Вот облако, вот человек бездомный.
Они стучатся. Ты открой теперь,
открой им дверь в Твой дом, как мир огромный.
О Господи, я не отдам врагу
не только человека, даже камня.
О имени Твоём я всё могу,
о имени Твоём и смерть легка мне.

Это была странная монахиня, постоянно конфликтовавшая с официальной церковью. Она умела столярничать, плотничать, малярничать, шить, вышивать, писать иконы, стучать на машинке, стряпать, доить коров, полоть огород. Она любила физический труд, могла сутками не есть, не спать, отрицала усталость, любила опасность. Она вела жизнь не только суровую, но и деятельную: объезжала больницы, тюрьмы, сумасшедшие дома. Сама мыла полы, красила стены. Но ей казалось, что и этого мало, что она должна отдавать себя людям ещё больше, ещё полнее... А судьба била эту женщину безжалостно. Летом 35-го года её вторая дочь Гаянэ умерла в Москве от дизентерии. В автобиографической поэме «Духов день» мать Мария писала:

И я вместила много: трижды – мать –
рождала в жизнь, и дважды в смерть рождала.
А хоронить детей – как умирать.

* * *

Я струпья черепком скребу.
На гноище сижусь, как Иов.
В проказе члены все нагие,
но это что... Вот дочь в гробу...

В её богоборческих стихах звучит тема Иова, упрёки Богу за дурно созданный мир: «Убери меня с Твоей земли,/ с этой пьяной, нищей и бездарной...» И в этом она очень близка Марии Шкапской. Ряд стихов у неё посвящён теме беса, «приставленного» к человеку:

Со мною рядом шлёпаешь уныло.
Не прогоню. Не бойся. Помолчи.
...Не враг и не противник, и не спорщик,
который был на слово десять слов, –
ты комнаты моей уборщик,
мети же сор из всех углов.

9 февраля 1943 года мать Мария была арестована. За неделю до освобождения лагеря Красной Армией, 31 марта 45 года монахиня Мария, русская поэтесса Елизавета Кузьмина-Караваева, была казнена в женском лагере Равенсбрюк. Она пошла в газовую камеру вместо отобранной фашистами советской девушки, обменявшись с ней курткой и номером.

В последний день не плачь и не кричи:
он всё равно придёт неотвратимо.
Я отдала души моей ключи
случайно проходившим мимо.

Вместе с ней в лагере погиб и её сын Юра Скобцов.

Торжественный, слепительный подарок –
Ты даровал мне смерть. В ней изнеможь.
Душа, сожжённая в огне пожара,
медлительно навек уходит прочь.

* * *

От хвороста тянет дымок,
огонь показался у ног,
и громче напев погребальный.
И мгла не мертва, не пуста,
и в ней начертанье креста –
конец мой, конец огнепальный.

Эти стихи Кузьмина-Караваева написала задолго до своей гибели. Это уже не поэзия – это кровь, это сердце, это дух.

В 1962 году в Лондоне в Пушкинском клубе проводился вечер, посвящённый памяти Е.Кузьминой-Караваевой. Близкий друг матери Марии рассказал о сне, который он накануне этого вечера увидел. Мать Мария идёт неспешно по полю пшеницы и в ответ на изумлённое восклицание: «Но Вы же умерли!» – отвечает, лукаво улыбаясь: «Мало ли что говорят люди. Болтают. Как видите, я живая». И это возвращает нас к первой строке стихотворения Блока, посвящённого 15-летней Лизе: «Когда Вы стоите на моём пути, такая живая, такая красивая...».

Наше время – тяжёлое бремя.
Трудный жребий дала нам судьба,
чтоб прославить на краткое время –
нет, не нас – только наши гроба.

Не спасёшься от доли кровавой,
что земным предоставила твердь.
Но молчи: несравненное право
самому выбирать свою смерть. –

писал Николай Гумилёв. Его смерть была под стать такой же – героической – жизни. Все считали его самоуверенным и высокомерным, и не все могли разглядеть за железной маской конквистадора, флибустьера, воина, гордеца – растерянное страдающее лицо несчастливое человека. «В сущности я – неудачник», – скажет он Г. Иванову в минуту откровенности. Это он-то, лидер в любом обществе, герой, дважды награждённый Георгиевским крестом за храбрость, наставник молодых поэтов и покоритель женщин! Но откройте его сборник 16-го года «Колчан». Это книга лирики, где нет и следа прежней маски. Мы словно читаем дневник, в котором предельно искренно и драматично раскрывается душа поэта.

Я не прожил, я протомился
половину жизни земной...
С этой тихой и грустной думой
как-нибудь я жизнь дотяну,
а о будущей Ты подумай,
я и так погубил одну.

Поздний Гумилёв – это поэт раздумий, предчувствий и предвидения. За полвека он почувствовал новую звезду и предсказал её появление: «в созвездии Змия загорелась новая звезда». Эту звезду в созвездии Змей обнаружили потом в 1970 году астрономы. Гумилёв ещё в те годы утверждал, что скоро удастся победить земное притяжение и станут возможными межпланетные полёты. «Я непременно слетаю на Венеру – мечтал он вслух, – лет так через сорок. Я надеюсь, я её правильно описал».

На далёкой звезде Венере
солнце пламенной и золотистой.
На Венере, ах, на Венере
у деревьев синие листья.

В Париже в 1918 году Гумилев встретил девушку, полурусскую-полуфранцуженку, Елену Дюбуше, которую за красоту называл «голубой звездой». Он влюбился в неё, задержался из-за неё в Париже, написав ей в альбом множество прекрасных стихов, которые потом вошли в книгу, изданную уже после его смерти в 1923 году и названную составителем «К синей звезде». «Девушка с газельными глазами моего любимейшего

сна», Елена Дюбуше не ответила взаимностью Гумилёву. Поэту она предпочла американского миллионера, вышла за него замуж и уехала в США.

Вот девушка с газельными глазами
выходит замуж за американца.
Зачем Колумб Америку открыл?

Эта любовь явилась, можно сказать, косвенной причиной смерти Гумилёва. Ведь если бы Дюбуше ответила согласием на его предложение, он скорее всего не вернулся бы в Россию весной 1918 года, остался бы в Париже и, значит, был бы жив. В этих стихах есть предчувствие его близкой и страшной смерти:

Да, я знаю, я Вам не пара,
я пришёл из другой страны...
И умру я не на постели,
при нотариусе и враче,
а в какой-нибудь дикой щели,
утонувшей в густом плюще...

Гумилёв знал свою судьбу. Он был, по словам Ахматовой, «визионер и пророк. Он предсказал свою смерть в подробностях, вплоть до осенней травы...» В одном из своих предсмертных стихотворений «Память» Гумилёв говорит:

За все печали, радости и бредни,
как подобает мужу, заплачу
непоправимой гибелью последней.

А его знаменитый «Заблудившийся трамвай»! Перед нами – странствие бессмертной души в бесконечном времени и пространстве. Трамвай жизни поэта сошёл с рельсов, «заблудился в бездне времён». Он несётся куда-то – через Неву, Сену и Нил – в некую Индию Духа, о которой грезит поэт как об обетованной земле, прародине, где можно обрести твёрдую почву, что уходит из-под ног. Сошла с рельсов жизнь, в мире и в душе происходит что-то непонятное и странное...

Вывеска... кровью налитые буквы
гласят: «Зеленная», – знаю, тут
вместо капусты и вместо брюквы
мёртвые головы продают.

В красной рубашке, с лицом, как вымя,
голову срезал палач и мне,
она лежала вместе с другими
здесь, в ящике скользком, на самом дне.

А в переулке забор дощатый:
дом в три окна и серый газон...
Остановите, вагоновожатый,
остановите сейчас вагон!

Но жизнь его летела на фантастических скоростях – не соскочишь. Как писала Ахматова:

А я иду – за мной беда,
не прямо и не косо,
а в никуда и в никогда,
как поезда с откоса.

У Гумилёва есть потрясающей силы стихотворение «Волшебная скрипка» – о магической и убийственной силе искусства, об идее беззаветного служения своему дару и опасностях, которые подстерегают творца на этом тернистом пути.

Тот, кто взял её однажды в повелительные руки,
у того исчез навеки безмятежный свет очей.
Духи ада любят слушать эти царственные звуки,
бродят бешеные волки по дороге скрипачей.

И если поэт ступил на эту стезю – пусть приготовится к самому худшему:

На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ
и погибни славной смертью, страшной смертью скрипача!

Он словно предсказал свою участь. Так же, как скрипач из легенды, выронивший лютню, был разорван бешеными волками – так и певец Гумилёв будет уничтожен бешеными волками революции, не допев своей песни. Его ученица Ирина Одоевцева, узнав спустя три года о гибели поэта, напишет о нём балладу:

...Раз, незадолго до смерти
сказал он уверенно: «Да.
В любви, на войне и в картах
я буду счастлив всегда!

Ни на море, ни на суше
для меня опасности нет...»
И был он очень несчастен,
как несчастен каждый поэт.

Потом поставили к стенке
и расстреляли его.
И нет на его могиле
ни креста, ни холма, ничего.

Но любимые им серафимы
за его прилетели душой.
И звёзды в небе пели:
«Слава тебе, герой!»

6. «Счастлив, кто падает вниз головой»

«Со стороны легко смотреть на чужую изуродованную жизнь, но к своей собственной так легко относиться трудно», – писал А. Фет в 1874 году. Особенно поэтам, людям без кожи, без защитной брони. И поэтому они так часто обрывают связи с жизнью. («...я разве слажу? Уж лучше – сразу!» – А. Вознесенский). Тот же Фет не вошел в список наших поэтов-самоубийц по чистой случайности. «Я не видал человека, которого бы так

душила тоска, за которого бы я более боялся самоубийства...» – таково свидетельство друга молодости Фета – Аполлона Григорьева.

Фет умер мгновенной смертью, от разрыва сердца, но, по словам его секретарши, разрыв сердца наступил при попытке самоубийства: Фет не хотел переносить унижительных мук и «добровольно», как он писал в своей предсмертной записке, пошел навстречу смерти, схватив для этого нож.

По чистой случайности не стала самоубийцей Анна Ахматова, которая, если верить ее собственному признанию, в 15 лет пыталась повеситься от безответной любви к студенту Владимиру Кутузову, но гвоздь в стене обломился. В письме подруге В. Срезневской она писала: «Я не могу оторвать от него душу мою. Я отравлена на всю жизнь, горек яд неразделенной любви. Смогу ли я снова начать жить?» Суицидные настроения владели ею и позже: «Да лучше б я повесилась вчера/ или под поезд бросилась сегодня».

Часто звучит мотив самоубийства в стихах Л. Губанова:

В кривое зеркало ныряя,
Всю ночь, до первых пьяных птиц,
Я примеряю, примеряю
Полупальто самоубийц.

* * *

...Конвойные хрустели, словно пальчики
У тихого шлагбаума – курка:
«Уходят вот... зачем уходят мальчики,
Когда и так дорога коротка».

* * *

...Я – выстрел. На меня сегодня клюнули.
Я вижу сам за мертвою опушкой,
Как сладко зарастает черной клюквою
Заснеженный сюртук слепого Пушкина.

Выстрел сменяется бритвой:

Ах, в моей усадьбе забивают ставни,
Мне построят, верно, подлецы без битвы
Жуткий дом на венах, крытый хрупкой бритвой!

Бритва – петлей:

Карнавал окончен, это лето
Подлецов и потаскух осенних.
Если бы я не был там поэтом,
То бы удавился, как Есенин!

И. Елагин очень тяжело переживал смерть своей первой жены Ольги Анстей (хотя они к тому времени давно расстались), тосковал, думал о самоубийстве.

Гибнет осень от кровопотерь,
Улица пустынна и безлиства.
И не все ли мне равно теперь,
Грех или не грех самоубийство.

Если жизнь тут больше ни при чем,
Если все равно себя разрушу,
Если все равно параличом
Мне уже давно разбило душу.

* * *

...То на улице мерзну безлюдной,
То слоняюсь среди пустырей,
Чтоб какой-нибудь смерти нетрудной
Приглянулся бы я поскорей.

Что ты лжешь мне, постылая жизнь!
Разве мало тебе идиотов?
Отцепись от меня, отвяжись!
Я тебя уже сбросил со счетов.

В 1973 году в Нью-Йорке выходит книга И. Елагина «Дракон на крыше», стихи которой переполнены каким-то ожесточенным отчаяньем:

Там, в заоблачном Нью-Йорке
Скрыто логово мое...
А что есть святой Георгий –
Все вранье! Все вранье!
У меня горит пещера,
Чудным светом залита.
У меня клубами сера
Изо рта, изо рта!

Ему кажется – он один на один с этим враждебным миром, где все подталкивает его к смерти.

Где, как сумерки, улицы стары,
И на каждых воротах броня,
И смертельные желтые фары
Отовсюду летят на меня.
Где сады багровеют от желчи,
И спешат умереть облака,
Где тоскуют и любят по-волчьи
И бросаются вниз с чердака.

Из просто хорошего поэта Елагин превращается в эти годы в очень большого: поздние его книги не содержат слабых стихов, каждая строчка намертво впечатывается в сознание, оставляя болезненный след в сердце. Вот одно из сильнейших – и самых моих любимых – стихотворений.

Поэт

Он жил лохматым зачумленным филином,
Ходил в каком-то диком колпаке
И гнал стихи по мозговым извилинам,
Как гонят самогон в змеевике.

Он весь был в небо обращен, как Пулково,
И звезды, ослепительно-легки,
С ночного неба, просветленно-гулкового,
Когда писал он, падали в стихи.

Врывался ветер, громкий и нахрапистый,
И облако над крышами несло,
А он бежал, бубня свои анапесты,
Совсем как дождь, проскакивая вкось.

И в приступе ночного одичания
Он добывать со дна сознания мог
Стихи такого звездного качания,
Что, ослепляя, сваливали с ног.

Но у стихов совсем другие скорости,
Чем у обиды или у беды,
И у него с его судьбой напористой
Шли долгие большие нелады.

И вот, когда отчаяние вызрело,
И дальше жить уже не стало сил –
Он глянул в небо и единым выстрелом
Все звезды во вселенной погасил.

Еще более жуткий образ самоубийцы мы встречаем у Г. Иванова:

Просил. Но никто не помог.
Хотел помолиться. Не мог.
Вернулся домой. Ну, пора!
Не ждать же еще до утра.

И вспомнил несчастный дурак,
Пощупав, крепка ли петля,
С отчаяньем прыгая в мрак,
Не то, чем прекрасна земля,

А грязный московский кабак,
Лакея засаленный фрак,
Гармошки залиvistый вздор,
Огарок свечи, коридор,
На дверце два белых нуля.

Сам он тоже был близок к самоубийству в те годы.

Не надо. Нет, не плачь.
О, если бы с размаха
Мне голову палач!

...Если бы я мог забыться,
Если бы, что так устало,

Перестало сердце биться,
Сердце биться перестало...

Освободиться, забыть себя, потерять чувствительность, избавиться от бесполезного и бессмысленного бытия – вот рефрен его поэзии.

Все на свете пропадает даром,
Что же Ты робеешь? Не робей!
Размозжи его одним ударом,
На осколки звездные разбей!
Отрави его горчичным газом
Или бомбами испепели –
Что угодно – только кончи разом
С мукою и музыкой земли!

Сколько, однако, энергии, страсти, а значит и жизни в этом молении о конце! Не надо бояться этой мрачности, как не бояться ее сами поэты. Как писал Кушнер:

Прекрасные стихи несчастий не боятся,
Не портят слезы их,
Безумье им идет, как сладкий дух акаций,
Застойный, посреди приморских мостовых,
Чуть-чуть они горчат, – не стоит огорчаться:
Ну, рухнул, ну, поник, ну, умер, ну, затих.

И мы, когда стихи с тобой читали ночью,
С запинкой, наизусть, на помощь приходя
Друг другу, разве мы не чувствовали: точно,
Они сильнее дождя,
Шумящего в саду, угрюмее, чем клочья
Туч, теплится заря, их кромку золотя?

И в этом смысле те, кто рано умирали,
Как Шелли или Китс,
В отличие от нас, все это понимали,
И Лермонтов звездой пронесся, а не скис,
Не тратясь на детали,
Постигнув суть вещей, отвергнув компромисс.

Гамлетовский вопрос «быть или не быть» часто вставал перед А. Блоком. Измены жены, конфликты в семье между Любовью Менделеевой и матерью Блока, попытка самоубийства матери, в которой он чувствовал свою вину, – все это делало обстановку в доме поэта невыносимой. В ту пору он был на волоске от самоубийства. Блок пишет цикл из семи стихотворений под названием «Заклятие огнем и мраком».

По улицам метель метет,
Свивается, шатается.
Мне кто-то руку подает
И кто-то улыбается.

Этот загадочный кто-то манит, ведет его к холодной воде канала, увлекает в ее смертную глубину:

Ведет и вижу: глубина,
Гранитом темным сжатая.
Течет она, поет она,
Зовет она, проклятая.

Я подхожу и отхожу,
И замер в смутном трепете:
Вот только перейду между
И буду в струйном лепете.

И шепчет он – не отогнать
(И воля уничтожена):
«Пойми, уменьем умирать
Душа облагорожена.

Пойми, пойми, ты одинок,
Как сладки тайны холода...
Взгляни, взгляни в холодный ток,
Где все навеки молодо...»

Бегу. Пусти, проклятый, прочь,
Не мучь ты, не испытывай!
Уйду я в поле, в снег и ночь,
Забьюсь под куст ракиновый!

Там воля всех вольнее воль
Не приневолит вольного.
И болей всех больнее боль
Вернет с пути окольного.

«С пути окольного» его вернет Муза. «И в жизни, и в стихах – корень один. Он – в стихах. А жизнь – это просто кое-как», – записывает он в дневнике. И еще: «Чем хуже жизнь, тем лучше можно творить». Блок не мог повторить вослед за Пушкиным: «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Он разуверился не только в счастье, но и в покое: «Покоя нет. Покой нам только снится».

Марию Шкапскую, судя по стихам, тоже не баловало счастье. Она с горечью и женской обидой пишет о том, что «девушкой так мало я была, а женщиной была не до конца любима».

Я верю, Господи, но помоги неверью.
В свой дом вошла и не узнала стен.

Один из самых трагичных и дисгармоничных поэтов («И в этой жизни мне дороже/ всех гармонических красот/ дрожь, побужавшая по коже/ иль ужаса холодный пот») В. Ходасевич во многих стихах, как бы репетируя свою смерть, описывает момент отделения души от тела («Эпизод», «Вариация»). Отлетая, она видит худое, бледное, немощное тело хозяина со стороны. Это событие – отделение эфирного тела – судя по записям поэта, происходило с ним в действительности. Ощутимая поэтом близость смерти, которая как бы все время с ним, его уже не пугает, ибо за смертью он провидит иную жизнь.

Уж волосы седые на висках
Я прядью черной прикрываю,
И замирает сердце, как в тисках,
От лишнего стакана чаю.

Уж тяжелы мне долгие труды,
И не таят очарованья
Ни знаний слишком пряные плоды,
Ни женщин душные лобзанья.

С холодностью взираю я теперь
На скуку славы предстоящей...
Зато слова: цветок, ребенок, зверь –
Приходят на уста все чаще.

Рассеянно я слушаю порой
Поэтов праздные бряцанья,
Но душу полнит сладкой полнотой
Зерна немого прорастанья.

Эти «старческие» стихи принадлежат 32-летнему поэту. Он внимательно прислушивался к себе: уже начинается работа души, готовящейся к тому, чтобы вырваться из брэнной оболочки.

Сборник «Путем зерна» посвящен памяти Муни – это псевдоним поэта Самуила Кисина, ближайшего друга и соратника Ходасевича. Муни служил в армии военным чиновником, сопровождал санитарные поезда. Во время одной из таких поездок он застрелился. Ходасевич очень тяжело переживал его смерть, винил себя, что не уберег друга. Вся его книга – это непрерывный взволнованный разговор с Муни.

Он постоянно думает о нем, пишет стихи как бы от его имени, от имени его духа, который обращается к нему с того света.

Ищи меня в сквозном весеннем свете.
Я весь – как взмах неощутимых крыл,
Я звук, я вздох, я зайчик на паркете,
Я легче зайчика: он – вот, он есть, я – был.

Их близость была так велика, что даже любили они одну женщину – Евгению Муратову, но это отнюдь не разделяло их. Муни посвятил ей множество стихов, рассказов, неоконченную повесть. Он вводит в свои сюжеты и Ходасевича, историю его любви, Ходасевича можно узнать во многих героях его произведений. Муни тоже живет в произведениях Ходасевича – то в статье его, то в письмах мелькнет острое словцо Муни, мунинские сюжеты, эпитеты, а главное – весь он, душа его, мятущаяся, любящая – навсегда запечатлена в стихах друга. Ходасевич часто использует его образы и наполняет их новым содержанием, новой жизнью.

В одном из стихотворений, посвященном Муни, Ходасевич как бы примеряет на себя судьбу друга.

Нет, не хочу ни пошлой славы,
Ни жизни мелочных забот.
Твой призрак, гордый и кровавый,
На путь иной меня зовет.

С этим стихотворением связано еще одно стихотворение Ходасевича, о леди Макбет:

Леди долго руки мыла,
Леди крепко руки терла.
Эта леди не забыла
Окровавленного горла.
Леди, леди! Вы, как птица,
Бьетесь на бессонном ложе.
Триста лет уж Вам не спится,
Мне шесть лет не спится тоже.

Это отзвук шекспировской трагедии, где чувство вины, память и ощущение, что даже смертью своей, отказом от пошлости и ничтожества жизни, друг помогает не отступить, не оступиться в главном. Образ Муни, как заноза, всегда торчал в его сердце, требуя ответа на вопрос: почему это должно было с ним произойти, почему это может случиться? На этот вопрос Ходасевич частично ответил своим «Некрополем».

Впечатления от смерти друга и собственных болезней придают мрачный колорит многим стихам поэта. Чаще всего его волнует одна из вечных тем лирики – тема смерти. Ощущение ее близости придает стихам необыкновенную остроту. Таково «чернушное» стихотворение «В Петровском парке», где запечатлено самоубийство прохожего.

Висел он, не качаясь,
На узком ремешке.
Свалившаяся шляпа
Чернела на песке.
В ладонь впивались ногти
На стиснутой руке.

А солнце восходило,
Стремя к полудню бег,
И, перед этим солнцем,
Не опуская век,
Был высоко приподнят
На воздух человек.

И зорко, зорко, зорко
Смотрел он на восток.
Внизу толпились люди
В притихнувший кружок.
И был почти невидим
Тот узкий ремешок.

Ходасевич видел это весной 1914 года, возвращаясь с женой на рассвете из ночного ресторана в Петровском парке – это большой парк у Петербургского шоссе (ныне Ленинградский проспект в Москве). В поэме Маяковского «Про это» самоубийство одного из персонажей тоже происходит в Петровском парке:

Был вором-ветром мальчишка обыскан.
Попала ветру мальчишки записка.
Стал ветер Петровскому парку звонить:
Прощайте... Кончаю... Прощу не винить...

Условия жизни в эмиграции угнетающе действовали на Ходасевича. Равнодушие читательской – нечитающей – публики, творческий кризис, увольнение из газеты – под влиянием всех этих неурядиц, депрессий, часто владевших поэтом, родились у него эти стихи о самоубийце, которые Евтушенко включил потом в свою антологию «Строфы века»:

Было на улице полутемно,
Стукнуло где-то под крышей окно.
Свет промелькнул, занавеска взвилась,
Быстрая тень со стены сорвалась –
Счастлив, кто падает вниз головой:
Мир для него хоть на миг – а иной.

Нина Берберова пишет, что такие настроения были у Ходасевича часто. Она не могла оставить его одного в комнате больше, чем на час, боясь, что он может выброситься в окно, открыть газ. «А не открыть ли газик?» – этот вопрос не раз звучал из его уст, и ей было не по себе от этих «шуток». В стихотворении «Себе» он писал:

Не жди, не уповай, не верь:
Все то же будет, что теперь.
Глаза усталые смежи,
В стихах, пожалуй, ворожи,
Но помни, что придет пора –
И шею брей для топора.

(По аналогии вспоминается цветаевское: «И если сердце, разрываясь,/ без лекаря снимает швы/ – знай, что от сердца – голова есть,/ и есть топор от головы»).

Когда в 37 году Мандельштамы вернулись из ссылки в Москву, их квартира была занята человеком, который писал на них доносы. Разрешение остаться в столице поэт не получил. Работы не было. Они приезжали из Калинина и сидели на бульваре. Мандельштам говорил жене: «Надо уметь менять профессию. Теперь мы нищие». В это время он пишет К. Чуковскому: «Я поставлен в положение собаки, пса. Меня нет. Я – тень. У меня только право умереть. Меня и жену толкают на самоубийство». Надежда Мандельштам не раз предлагала ему вместе покончить с собой. Он не хотел: «Жизнь – это дар, от которого никто не смеет отказываться». Основной его довод был: «Откуда ты знаешь, что будет потом?»

Не разнять меня с жизнью, ей снится
Убивать – и тотчас же – ласкать...

Как он любил жизнь! «Я пью за военные астры, за все, чем корили меня...» – веселый и вызывающий гимн простым радостям бытия. По-детски сокрушался: «Как-то мы живем неладно все...» Он почти физически ощущал, как уходит, утекает сквозь пальцы его последнее время.

Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох.
Еще немного – оборвут
Простую песенку о глиняных обидах
И губы оловом зальют.

И все же, все же, все же...

Колют ресницы, в груди прикипела слеза.
Чую без страху, что будет и будет гроза.
Кто-то чудной меня что-то торопит забыть.
Душно, – и все-таки до смерти хочется жить.

И еще: «Я должен жить, хотя я дважды умер». «Я должен жить, дыша и большевее». Но дышать было нечем. Как и Блоку, ему не хватало воздуха.

И в голосе моем после удушья
Звучит земля: последнее оружие.

Мандельштам не убьет себя. Его убьет век-волкодав, задушит толстыми пальцами, жирными, как черви. А вот его возлюбленная Ольга Ваксель (единственное серьезное увлечение поэта, по признанию Надежды Мандельштам, за годы их счастливой семейной жизни) не нашла силы жить и вскоре, после разрыва с Мандельштамом, уехав с мужем-иностранцем в Норвегию, пустила там себе пулю в лоб. Все знают знаменитые стихи поэта, посвященные этой женщине («Я буду метаться по табору улицы темной», «Жизнь упала, как зарница»), но мало кто знает, что Ольга Ваксель сама была незаурядный поэт. С неустойчивой психикой, подверженная частым депрессиям, в двойных тисках болезни и ностальгической тоски, не прожив на чужбине и месяца, она свела счеты со своей жизнью. Ольга выстрелила в себя из револьвера, найденного в ящике мужнего письменного стола. Когда Христиан вбежал в комнату – она была уже мертва. На губах, о которых слагал стихи поэт («Как дрожала губ малина», «Ты раскрывала свой маленький рот»), застыла полуулыбка. Ей был только 31 год. В стихах она попыталась объяснить:

Но слишком тесен рай, в котором я живу.
Но слишком сладок яд, которым я питаюсь.
Так с каждым днем себя перерастаю.
Я вижу чудеса во сне и наяву.
Но недоступно то, что я люблю сейчас,
И лишь одно соблазн: уйти и не проснуться.
Все ясно и легко. Сужу, не горячась.
Все ясно и легко. Уйти, чтоб не вернуться.

Осип узнал о смерти Ольги только через два года. Он шел по улице, его остановил знакомый и рассказал, что Ольга Ваксель умерла от болезни сердца. О ее самоубийстве тогда еще никто не знал. Поэт был сражен этим известием. 3 июля 1935 года он написал сразу два стихотворения, навеянные памятью об Ольге Ваксель: «Возможна ли женщине мертвой хвала...» и «На мертвых ресницах Исаакий замерз...».

Существует три версии гибели Бориса Поплавского: предумышленное убийство (последние данные убеждают, что именно оно имело место), несчастный случай (отравление недоброкачественными наркотиками) и самоубийство. И каждая имеет под собой основания. Но тогда многие поверили именно в последнюю версию. Говорили, что у Поплавского было «лицо самоубийцы».

Как люблю я, когда коченеет
И разжаться готова рука...
И холодное небо бледнеет
За сутулой спиной игрока...

Не покидает ощущение неслучайности этого, казалось бы, на первый взгляд, случайного несчастья. Как-то все здесь мистически сошлось: и предрасположенность к смерти Поплавского, и его сиюминутное ожидание конца, самоистребляющий образ жизни, и этот маньяк, невесть откуда взявшийся, со своим чудовищным замыслом – взять с собой попутчика на тот свет. Словно какой-то зловещий перст судьбы был во всем этом.

Течет судьба по душам проводов.
Но вот прорыв, она блестит в канаве,
Где мальчики, не ведая годов,
По ней корабль пускают из бумаги.
Я складываю лист – труба и ванты,
Еще раз складываю – борт и киль.
Плыви, мой стих, фарватер вот реки,
Отходную играйте, музыканты.
Прощай, моя эпическая жизнь.
Ночь салютует неизвестным флагом.
И в пальцах неудачника дрожит
Газета мира с траурным аншлагом.

Набоков в своих мемуарах 60-х годов назвал Поплавского «дальней скрипкой среди ближних балалаек». Может быть, именно этим и близка нам поэзия Бориса Поплавского – мелодией дальней скрипки, которая долетела к родному берегу сквозь смерть и время. Поплавский, как и все истинные поэты, не хотел и не умел приспособливаться к прозе и рутине жизни, не хотел принимать ее правил игры. Он сыграл симфонию своей жизни и умер.

Я посвятила ему стихи:

В любой среде казался чужестранцем он,
Сошедшим со страниц Эдгара По, –
Поэт Руси из царства эмигрантского
С прививкою Верлена и Рембо.

Не сноб и не эстет в перчатках лаечных –
Дикарь, повеса, словом, низший класс...
Далекой скрипкой в хоре балалаечном
Была его поэзия для нас.

Стихи являлись в вещих снах не раз ему,
Они росли, как волны и трава –
Не подотчетны логике и разуму,
Вернувшиеся в музыку слова.

Бесчувствен к шуму славы, к звону денег ли,
Себе лишь сам и раб, и господин,
Из сотен монпарнасских современников
Он слышал эту музыку один.

Он знал, что мир оправдан только музыкой –
Мерилом всех поступков и утех.
Она была наградой и обузой,
Преградой того, чем был успех.

Высокое его косноязычие
Творило пир печали и тщеты:
Ничтожества античное величие,
Поэзию роскошной нищеты.

Росинкой мака сыт был, с неба манною –
Бродяга, шантрапа, опиоман...
Надтреснутой мелодией шарманочной
Сочился в мир стихов его дурман.

Он несся в ночь планетой беззаконною,
Сжигая за собою все мосты,
Сходя с ума в пространство заоконное
От скорости, свободы, пустоты.

Фантазия бредовую заразою
Явила мозг. Он ею был влеком,
Рождая Аполлонов Безобразовых
И черных ослепительных мадонн.

Сквозь снежный сумрак мне мерцала тень его,
Кларнета пение, лиловый дым...
Как это полагается у гениев,
Он умер своевольно молодым.

В двадцатом он ушел за море с Врангелем,
А в тридцать два шагнул в ночную тьму...
Мир флагов, снега, дев, матросов, ангелов
Навек замолк. Но вопреки всему

Мелодией, вобравшей всю истерику
Души, преодолев ее предел,
Домой с небес к единственному берегу
Он через смерть и время долетел.

Размышления о жизни и смерти Бориса Поплавского невольно экстраполируются на итоги собственной судьбы – нас, его собратьев, всех этих несвоевременных людей, которые пишут бесполезные стихи и не умеют заниматься коммерцией, устраивать свои дела, мимикрировать и адаптироваться в этом чужом и враждебном мире. Всей этой ассоциации мечтателей и фантазеров, которой почти не осталось места на земле. Мы ведем неравную войну, в которой не можем не проиграть, в которой обречены на гибель. Хотя это и не обязательно может быть физическая смерть. Но разве то, что человек вынужден заниматься нелюбимым трудом, вынужден проживать не свою жизнь – разве это не смерть души, не гибель лучшего, что есть в нас?

У А. Кушнера есть строки, которые могли бы послужить спасительной соломинкой всем потенциальным самоубийцам:

Друзья мои, держитесь за перила,
За этот куст, за живопись, за строчку,
За лучшее, что с нами в жизни было,
За сбивчивость беды и проволочку.

Хотя он же писал:

Испорченные с жизнью отношения
Не скрасит мела снежного крошенье.
Намыливает лишь сильней петлю.

Не «удержался» на этой земле и Евгений Блажеевский, один из самых значительных поэтов конца века. С такой открытостью, с такой душой нараспашку в наши дни уже не живут. Последнюю, третью свою книгу, выхода в свет которой он так и не увидел, Блажеевский пророчески назвал «Черта». Вот эпоха и подвела черту под ним, а он, в свою очередь, – под эпохой, под веком, под целым тысячелетием. Он болел Россией, болел от всех передряг, выпавших стране, от всех навалившихся на нее унижений. Все, происходившее со страной, отзывалось в его бедном сердце напрямую:

Сжимается шагрень страны
И веет ужасом гражданки
На празднике у Сатаны,
И оспа русской перебранки
Картечью бьет по кирпичу,
И волки рыщут по Отчизне,
И хочется задуть свечу
Своей сентиментальной жизни.

Двадцатилетний период затворничества и отлучения от читателя, выпавший на долю Бориса Чичибабина в 70-80-е годы, был для него очень мучительным, кризисным. Невостребованность временем и людьми доводила его до отчаяния.

И в зверином оскале и вое
Мы уже не Христова родня.
И кричу, и не вижу того я,
Кто хотел бы услышать меня.

Наступил кризис, который Чичибабин перенес очень тяжело, думал о самоубийстве, был близок к помешательству. Казалось, это предел безысходности, тупик. В это время он пишет одно из самых страшных и горьких своих стихотворений «Сними с меня усталость, мать Смерть...»

Одним стихам вовек не потускнеть,
Да сколько их останется, однако.
Я так устал! Как раб или собака.
Сними с меня усталость, мать Смерть.

Он прикидывается к ложу смерти, как блудный сын к коленям слепого отца, словно говоря: «Сними с меня все наносное, все мелкое, все недостойное вечности. Сними. Вот я, весь перед тобой».

Мне книгу зла читать неумоготу,
А книга блага вся перелисталась.
О мать Смерть, сними с меня усталость,
Накрой рядом худую наготу.

На лоб и грудь дохни своим ледком,
Дай отдохнуть легко и беспробудно.
Я так устал. Мне сроду было трудно,
Что всем другим привычно и легко.

Эта усталость кажется не только чичибабинской, но какой-то всечеловеческой, вековой. Это уже не слова. Это вселенский вздох.

Жена Б. Чичибабина Лиля Карась говорила: «Ведь после таких стихов не живут. А он начал новую жизнь». Это стихотворение настолько завораживает и заражает своей гипнотической интонацией, своей неприкрытой жаждой избавления от жизненной муки, что я не решалась включать его в свою лекцию о Чичибабине из опасения, что кого-то оно может подтолкнуть к роковому шагу.

В. Маяковский застрелился 14 апреля – 1 апреля по старому стилю. И многие, когда им говорили, что Маяковский застрелился, смеялись, думая, что их разыгрывают. Ему было 37 лет. Роковой возраст: в этом возрасте умерли Рафаэль, Байрон, Пушкин, Ван-Гог, Артюр Рембо, Тулуз-Лотрек, Хлебников...

В это день Брики из Амстердама отправили Маяковскому веселую открытку: «До чего здорово тут цветы растут! Настоящие коврики – тюльпаны, гиацинты и нарциссы». Открытка была адресована уже мертвому человеку.

Застрелился Маяковский при Полонской, но вряд ли ее можно считать причиной выстрела. Скорее, поводом, последней каплей, переполнившей перечень «взаимных болей, бед и обид». Тут был целый комплекс причин: и проверка своей неотразимости потерпела крах, и неуспех «Бани», и неудача выставки, на которую не пришли те, кого он ждал... Все это, казалось бы, такие мелочи. Но он был Поэт. Он хотел все преувеличивать. Без этого он не был бы тем, кем он был. Маяковского привыкли принимать как поэта-трибуна, он именовал себя «горланом-главарем», но ему было свойственно – не одиночество, а, скорее, одинокость, что, видимо, не одно и то же. «Я одинок, как последний глаз/ у идущего к слепым человека!» Он очень любил одну незатейливую песенку и часто напевал ее:

У вороны есть гнездо,
У верблюда – дети,
А у меня – никого,
Никого на свете.

Мысль о самоубийстве была хронической болезнью Маяковского, и, как каждая хроническая болезнь, она обострялась при неблагоприятных условиях. Он часто говорил о самоубийстве, это изначальная и сквозная тема его лирики:

Лягу, светлый, в одеждах из лени,
На мягкое ложе из настоящего навоза,
И тихим, целующим шпал колени,
Обнимет мне шею колесо паровоза.

...Все чаще думаю – не поставить ли лучше
Точку пули в своем конце.

...Радуйся, радуйся, ты доконала!
Теперь такая тоска,
Чтоб только добежать до канала
И голову сунуть воде в оскал.

...А сердце рвется к выстрелу,
А горло бредит бритвою.

...Верить бы в загробь! Легко прогулку пробную.
Стоит только руку протянуть –
Пуля мигом в жизнь загробную
Начертит гремящий путь.

Люди часто забывают, что поэт обладает обостренной чувствительностью. Он все доводит до космических размеров, все видит словно сквозь увеличительное стекло. Кто-то опаздывал на партию в карты – он никому не нужен. Знакомая девушка не позвонила, когда он ждал – никто его не любит. А если так – значит, жить бессмысленно. Разговор о психическом здоровье поэта – вещь тонкая и обоюдоострая. Известно, что вообще к людям искусства врачи применяли иные критерии, и рамки нормы для них существенно шире. А иначе – кого из русских писателей мы могли бы назвать нормальным? И здесь Маяковский не исключение, а лишь подтверждение закономерности. Лиля Брик говорила: «Мне кажется, в ту последнюю ночь перед выстрелом мне достаточно было положить ладонь на его лоб, и она сыграла бы роль громоотвода». Кто знает...

...Я не жду
Ни счастья, ни солнечного света.
На этот бедный лоб немного льду,
Немного жалости на сердце это, –

писал Г. Иванов в своем «Посмертном дневнике» и с горечью констатировал:

Никто не пожалел и не помог.
Ну как тут можно не смеяться!

«Не смейтесь над мертвым поэтом, – вызывает А. Белый, – снесите ему цветок...»

Любил только звон колокольный
и закат.
Отчего мне так больно, больно!
Я не виноват.
Пожалейте, придите:
Навстречу венком метнусь.
О любите меня, полюбите –
Я, быть может, не умер,
я, быть может, проснусь – вернусь!

С этими строчками Белого перекликаются цветаевские: «Послушайте! Еще меня любите за то, что я умру!» Им было одиноко и холодно в этом мире. Мария Шкапская писала:

Гроб хочу с паровым отоплением,
На парче золотые отливы,
Жидкость ждановскую против тления
И шопеновские к ней мотивы.

Калорифер от топки нагреется –
И в гробу отворяется дверца...

Пусть хоть кости в могиле согреются,
Если в холоде умерло сердце.

Е. Кузьмина-Караваева мучительно переживала свою бездомность и бытовую неустроенность жизни на чужбине, ей тоже, как и всем, хотелось любви и заботы.

Ночью камни не согреешь телом,
Не накликаешь скорей рассвет.
Господи, наверно, в мире целом
Никого меня бездомней нет.

Господи, я никогда не дома,
Холодом неистовым влекома.
Никогда под сенью райских яблок
Ты не скажешь: «Грейся, коль озябла».

Маяковский все блага мира «и самоё свое бессмертие» готов был отдать «за одно только слово, ласковое, человечье». Б. Рыжий писал: «И я вишу на красных проводах/ в той вечности, где не бывает жалость». И вспоминал:

Был я мальчиком однажды –
И с собой пытался дважды...
Впрочем, это все не важно,
Потому что нет, не смог.
Важно то, что в те минуты,
Так сказать, сердечной смуты,
Абсолютно, абсолютно,
Нет, никто мне не помог.

Марина Цветаева писала: «Никто не понимает, что меня нужно просто – пожалеть». Ее никто не пожалел. Никто не подарил ей «розового платья». «Не приголубили, не отогрели./ Гибель твою отвратить не сумели./ Неотмываемый тяжкий грех/ так и остался на всех, на всех». (М. Петровых)

Существует несколько версий самоубийства Цветаевой. Версия сестры Анастасии – что ушла, облегчая участь сына, которому «без нее помогут». Версия, связанная с преследованием КГБ (Ирма Кудрова и Борис Хенкин). Высказывались мотивы психического нездоровья, патологического свойства. Мне же представляется истинной та, что высказана Марией Белкиной («Скрещение судеб») и Анной Саакянц. Она в том, что к уходу из жизни Цветаева давно уже была внутренне готова, о чем свидетельствует множество ее стихов, писем, дневниковых записей. Исход был предопределен независимо от конкретных обстоятельств.

В письме Бахраху в сентябре 23 года Цветаева пишет: «Воздух, которым я дышу – это воздух трагедии. У меня сейчас определенное чувство кануна – или конца». И дальше: «Хватит ли у Вас силы долюбить меня до конца, т. е. в час, когда я скажу: «Мне надо умереть». Ведь я не для жизни. У меня все – пожар! Я могу вести десять отношений сразу и каждого, из глубочайшей глубины уверять, что он – единственный. А малейшего поворота головы от себя – не терплю. Мне БОЛЬНО, понимаете? Я ободранный человек, а вы все в броне. У всех все: искусство, общественность, дружбы, развлечения, семья, долг, у меня, на глубину – НИ-ЧЕ-ГО. Все спадает, как кожа, а под кожей – живое мясо или огонь: я: Психея. Не могу жить. Все не как у людей. Что мне делать – с этим?! – в жизни». («Что же мне делать, слепцу и пасынку/ в мире, где каждый – и отч, и зряч?»)»

Она шла к этому уже давно. В день своего 17-летия 26 сентября 1909 года пишет «Молитву» – свой первый литературный манифест, в котором просит Бога: «Ты дал мне детство – лучше сказки, и дай мне смерть – в 17 лет!» В марте 17-го, в день смерти покончившего с собой Стаховича, чью судьбу она как бы примеряет на себя, Цветаева записывает в записной книжке страшные слова: «Я, конечно, кончу самоубийством, ибо все мое желание любви – это желание смерти». Сергей Эфрон в сентябре 23-го в письме Волошину, где горько жалуется на измену жены, мучаясь жалостью к ней, пишет, что если уйдет от нее – обрубит последнюю соломинку, соединявшую ее с жизнью: «Марина рвется к смерти. Земля давно ушла из-под ее ног».

В письме Пастернаку Цветаева обронит загадочные слова: «Жизнь – вокзал. Скоро уеду. Куда – не скажу». «Гляжу и вижу одно – конец. Раскаиваться не стоит». Пастернак, видимо, по письмам ощущая цветаевскую зыбкость «в мире сем», послал ей стихотворение, в котором заклинал ее удержаться на земле:

Послушай, стихи с того света
Им будем читать только мы, –

пророчит он, и именно поэтому уходить поэту нельзя:

Исход ли из гущи мишурной?
Ты их не напишешь в гробу.

Ты все еще край непочатый,
А смерть – это твой псевдоним.
Сдаваться нельзя. Не печатай
И не издавайся под ним.

Но и эти стихи не удержали ее. Эта роковая тема пронизывает все творчество Цветаевой – тема отказа, отречения, отрешения от пут и тисков земного существования. («На Твой безумный мир/ ответ один – отказ». «Пора, пора, пора/ Творцу вернуть билет»). Она знала, что сделает это. Знала, что уйдет. Очень рано знала. Сколько раз она писала об этом, что «на земле стоит лишь одной ногой», «О, как я рвусь тот мир оставить, где душу маятники рвут!» И – вызов времени: «Время! Я тебя миную!» Ибо время – категория относительная, и поэт не должен подчинять ему свое бытие. Поэт рвется прочь от времени, от земли, от самой жизни – «За потустороннюю границу: к Стиксу!» Поэт не вмещается в прокрустово ложе земных канонов, ему тесно в телесной оболочке. « В теле – как в трюме, в себе – как в тюрьме». И – совсем ясно: «Мир – это стены. Выход – топор». «Жизнь и смерть давно беру в кавычки,/ как заведомо пустые сплеты». И – как итог всего – «Поэма воздуха», в которой она попыталась прикоснуться к потустороннему миру, передать ощущение от полета в Ничто (в смерть). Она пишет ее в 1927 году, в 35 лет. Поэму, которую можно было бы назвать поэмой удушья, самоубийства. Это вопль одиночества и безутешности, исторгнутый из души, которой нечем больше дышать.

В ней Цветаева как бы репетирует свою смерть. Это потрясающее прозрение о всемогуществе духа, победившего плоть. Это самая отвлеченная и трудная для восприятия поэма Цветаевой. Ахматова назвала ее «заумью». Она кажется закодированной, зашифрованной. Ее фабула – цепь последовательных переходов из одного состояния, который может испытать умирающий, – в другое, показ, что может чувствовать задыхающийся в петле человек. Каждый этап, пройденный умирающим, описан подробно, почти физиологично. «Поэма воздуха» – это своеобразный философский трактат о посмертном блуждании духа, вобравший в себя отдельные элементы различных идеалистических систем, из Канта, В. Соловьева, Шопенгауэра. И все же модель мира, представленная здесь Цветаевой, – ее сугубо индивидуальная поэтическая гипотеза. В ее

понимании мир разделен на земной, плотский и мир небесный, мир идеального несуществования, свободный от любой тяжести, в том числе и от тяжести души, ибо душа, по Цветаевой, есть вместилище чувств и желаний, связанных с землей и плотью. Там же – мир чистой мысли, почти безжизненное, отвлеченное пространство некоего мирового стерильного чистого разума.

Ее манила эта тайна, неуловимая грань, отделявшая небытие от бытия. У нее всю жизнь был роман со смертью, с небытием, с запредельностью. Рано или поздно она должна была уйти. Вопрос был только в сроках.

В январе 25-го, с нетерпением ожидая рождения горячо желанного сына, она пишет стихи о... смерти:

...Расковывает
Смерть – узы мои! До скорого ведь?
Предсмертного ложа свадебного
Последнее перетрагиванье.

Марина Цветаева, великий поэт, была создана природой словно бы из иного вещества: всем организмом, всем своим человеческим естеством она тянулась прочь от земных измерений в миры иные, о существовании которых знала непреложно. («Верующая? Нет. Знающая из опыта».) С ранних лет она знала и чувствовала то, чего не могли чувствовать и знать другие. Знала, что поэты – пророки, что стихи сбываются, и еще в ранних стихах предрекала судьбу Мандельштама, Сергея Эфрона, не говоря о своей собственной. Это тайновидение (или яснозрение) с годами усиливалось, и существовать в общепринятом «мире мер» становилось все труднее.

Что же это было? Вероятно, страдание живого существа, лишённого своей стихии: человеку не дано постичь мучения пойманной птицы, загнанного зверя, это страдание, непостижимое для окружающих. Разумеется, страдание не было единственным чувством, цветаевских чувств и страстей, ее феноменальной энергии хватило бы на многих и многих. Однако трагизм мироощущения поэта идет именно от этих, не поддающихся рассудку мук. Какие здесь напрашиваются аналогии? О ясновидящих, пророках, вообще людях, наделенных сверхвозможностями, которые они, по их утверждению, черпают из космоса. Что-то подобное было и в уникальной личности Цветаевой. Может быть, это и есть сущность истинного поэта.

Мятущемуся естеству Цветаевой было тяжело, душно в телесной оболочке. «Из тела вон хочу» – это не литература, это состояние. Что ей было делать с этой безмерностью в мире мер? Ее страшный быт и высокомерное бытие, которые всю жизнь противостояли друг другу, 31 августа 41 года слились воедино.

Уже и не светом,
Каким-то свеченьем светясь...
Не в этом, не в этом
Ли... И – обрывается связь.

И все-таки Е. Евтушенко очень точно сказал по поводу самоубийства Цветаевой в посвященном ей стихотворении: «Есть лишь убийства на свете, запомните./ Самоубийств не бывает вообще». Скольких можно было бы спасти, отвести от обрыва, окажись рядом в тот момент тот, кто бы помог, пожалел, отогрел. Прислушайтесь: к вам, к вашим душам взывает ПОЭТ:

Берегите нас, поэтов. Берегите нас.
Остаются век, полвека, год, неделя, час,
Три минуты, две минуты, вовсе ничего...

Берегите нас, и чтобы – все за одного...
Берегите нас с грехами, с радостью и без.
Где-то, юный и прекрасный, ходит наш Дантес.
Он минувшие проклятья не успел забыть,
Но велит ему призванье пулю в ствол забить.
Где-то плачет наш Мартынов – поминает кровь:
Он уже убил однажды, он не хочет вновь,
Но судьба его такая, и свинец отлит,
И двадцатое столетье так ему велит.

Но – тщетны эти призывы. Мы умеем любить только мертвых.

7. «Мы останемся смятым окурком, плевком...»

Вспоминается, как герой одного шукшинского рассказа печалился, как мало прожил один великий поэт. Собеседник же ему отвечает: «Не много и не мало. Ровно с песню. Спел и ушел».

Нам трудно примириться с этой мыслью. Столько недопетых, неспетых песен ушло вместе с ними, и, может быть, их-то как раз и не хватает нам сейчас. Да и они вряд ли «досыта» напелись в своей жизни. Как писал Н. Рубцов:

Поэт перед смертью сквозь тайные слезы
Жалеет совсем не о том,
Что скоро завянут надгробные розы
И люди забудут о нем,
Что память о нем – по желанью живущих –
Не выльется в мрамор и медь.
Но горько поэту, что в мире цветущем
Ему после смерти не петь...

Верили ли они в жизнь после смерти? Наверное, верили. Ф. Сологуб, например, после похорон жены заперся у себя в кабинете и две недели никуда не выходил и никого не принимал. Когда же, опасаясь за жизнь и рассудок поэта, к нему заглянули, то увидели Сологуба за столом, заваленным листками бумаги с какими-то цифрами, уравнениями. «Это дифференциалы», – спокойно пояснил он. Математик по профессии, он решил с помощью дифференциалов проверить, вычислить, существует ли загробная жизнь. И проверил. И убедился, что существует. Он стал снова появляться в Доме литераторов – спокойный, даже повеселевший. Причиной его хорошего настроения стала уверенность в неминуемой встрече с Анастасией. Скоро он с ней соединится. Уже навсегда.

Мой ангел будущее знает,
Но от меня его скрывает,
Как день томительный сокрыл
Безмерности стремлений бурных
Под тению своих лазурных,
Огнями упоенный крыл.
Я силой знака рокового
Одно сумел исторгнуть слово
От духа горнего, когда
Сказал: «От скорби каменею!
Скажи, соединюсь ли с нею?»
И он сказал с улыбкой: «Да».

Стихи Сологуба, полные любви, отчаяния и тоски, посвященные гибели жены, составили цикл «Анастасия». Все они объединены одним всепоглощающим желанием – встретиться с любимой в ином мире.

Весь мир окутан знойным бредом,
Но из ущелий бытия
К тебе стремлюсь я верным следом,
Любовь единая моя.

* * *

Унесла мою душу
На дно речное.
Волю твою нарушу –
Пойду за тобою.
Не спасешь меня смертью своею,
Не уйдешь от меня и за гробом.
Ты мне камень на шею,
И канем мы оба.

* * *

Безумное светило бытия
Измучило, измаяло.
Растаяла снегурочка моя,
Растаяла, растаяла.
Я жизни не хочу – уйди, уйди,
Ты, бабища проклятая.
Крылатая, меня освободи,
Крылатая, крылатая.
У запертых, закованных ворот
Душа томится, пленная.
Блаженная в Эдем меня зовет,
Блаженная, блаженная.

Цикл «Анастасия» перекликается с тютчевским Денисьевским циклом («Друг мой милый, видишь ли меня?»), с циклом, посвященным Эле Б. Рыжего («Эля, ты стала облаком или ты им не стала?»). Ходасевич всю жизнь вел в своих стихах непрекращающийся взволнованный разговор со своим близким другом Муни, покончившим с собой («Я говорю с тобою, друг заочный, на только нам понятном языке... Но, вечный друг, меж нами нет разлуки!/ Услышь, я здесь. Касаются меня/ твои живые, трепетные руки,/ простертые в текущий пламень дня»).

Несмотря на определенную поэтическую условность всех этих строк поэтов, из них видно их явственное, почти физическое ощущение потустороннего мира. Как писал Кушнер:

Я готов под сомненье поставить честь
Свою, впрочем, об этом и Еврипид
Рассказал, и все древние: что-то есть,
Что-то есть. Значит, кто-то за всем следит.

М. Шкапская всю жизнь ощущала в себе многоголосие кровей предков, с которыми она чувствовала нерасторжимую глубинную генетическую связь, и сумела передать это в пронзительных стихах:

Старые мои, мои мертвые,
Не коснется вас плач земной.
Но зачем же такая горькая
Власть ваша надо мной?
Старые мои, мои мертвые,
Глаз ваш слеп и язык ваш нем,
И черты ваши полуистертые
Не хранятся никем.
Но кровь вашу непрерывную
Хранит моя бедная плоть.
И ей вашу власть неизбывную –
Не обороть.

* * *

Перебираю родовой архив –
Во мне ведь та же кровь – без срыва и без смены,
Отмщаются до моего колена
Ошибки бабушек и дедушек грехи.
Их зори кончились, затмились их закаты,
Но огнецветный незабвенный след
Страстей и гнева, вспыхнувших когда-то, –
В крови моей цветет до этих лет.

Стихи Мандельштама, посвященные его воронежской поклоннице и другу Наташе Штемпель, стоят особняком в его лирике. Любовь у него почти всегда связана с мыслью о смерти, но в этих стихах – высокое и просветленное чувство будущей жизни. Одно из них он даже просил считать своим завещанием. В нем он просит Наташу оплакать его мертвым и приветствовать – воскресшего.

Сегодня – ангел, завтра – червь могильный,
А послезавтра – только очертанье.
Что было поступь – станет недоступно.
Цветы бессмертны. Небо целокупно.
И то, что будет – только обещанье.

Марина Цветаева писала о себе: «Верующая? Нет. Знающая из опыта». Вечность уже давно прожгла ее насквозь. О смерти Рильке Марина узнала в самый канун Нового года. В этот день она, оставшись дома одна со спящим сыном, села к столу и взяла в руки перо. Письмо – ее спасательный круг в самые тяжкие минуты жизни – даже тогда, когда нет уже на земле человека, к которому оно обращено.

«Любимый, я знаю, что ты меня читаешь прежде, чем это написано...» – так оно начиналось. Письмо почти бессвязное, нежное, странное. «Год кончается твоей смертью? Конец? Начало! Завтра Новый год, Райнер, 1927, 7 – твое любимое число... Любимый, сделай так, чтобы я часто видела тебя во сне – нет, неверно: живи в моем сне. В здешнюю встречу мы с тобой никогда не верили, как и в здешнюю жизнь, не так ли? Ты меня опередил (и вышло лучше!) и, чтобы меня хорошо принять, заказал – не комнату, не дом – целый пейзаж. Я целую тебя... в губы? В виски? В лоб? Милый, конечно, в губы, по-

настоящему, как живого... Нет, ты еще не высоко и не далеко, ты совсем рядом, твой лоб на моем плече... Ты – мой милый, взрослый мальчик. Райнер, пиши мне! (Довольно глупая просьба?) С Новым годом и прекрасным небесным пейзажем! Марина».

Оплакивание. Заклинания. Предтеча будущих реквиемов – в стихах и прозе. Новый 1927 год Марина Цветаева встречала вдвоем с Рильке. С Рильке, которого уже не было в пространстве и времени, но который был более, чем все пространство и все время. С ним она сидит за новогодним столом. С ним разговаривает, постоянно оговариваясь – путая земные и небесные реалии, путая вечность с днями, еще не привыкнув к тому, что в днях его нет. Она чувствует его бездну своей бездной. Этого нельзя объяснить. Этому можно только причаститься.

У нее всегда был «взгляд ввысь, к звездам». Теперь этот взгляд – в Рильке, в самую любимую душу. Она смотрит туда и видит – расстояние от земли до звезд, от себя до Себя. И слышит его слова: «Каждый восполниться должен сам, дорастая до полнолуния». Она восполнялась, дорастала. Ее новогоднее письмо с этого света на тот – прежде всего установление реальной, непосредственной связи.

Лучшие ее произведения всегда вырастали из самых глубинных ран сердца. 7 февраля 1927 года была завершена ее поэма «Новогоднее» (подзаголовком было поставлено: «Вместо письма»). Марина говорила не с умершим и похороненным Рильке, а с его душой в вечности.

С Новым годом – светом – краем – кровом!
...Первое письмо тебе – с вчерашней,
На которой без тебя изноюсь, –
Родины, теперь уже с одной из
Звезд...

Поверить в небытие Рильке было для нее невозможно. Это значило бы поверить в небытие собственной души. Небытие бытия.

Если ты, такое око смерклось,
Значит – жизнь не жизнь есть, смерть не смерть есть.
Значит – тмится, допойму при встрече! –
Нет ни жизни, нет ни смерти, – третье, –
Новое...

А Райнер Мария Рильке в своих «Дуинских элегиях» стремился развернуть новую картину мироздания – целостного космоса без разделения на прошлое и будущее, видимое и невидимое. Прошедшее и будущее выступают в этом новом космосе на равных правах с настоящим. Вестниками же космоса предстают ангелы – «вестники, посланцы», ангелы – как некий поэтический символ, не связанный – он подчеркивал это – с представлениями христианской религии.

Ангелы (слышал я) бродят, сами не зная,
Где они – у живых или мертвых.

Роднит Цветаеву с Рильке и их отношение к смерти. У Рильке бытие и небытие – две формы одного и того же состояния. С этой точки зрения смерть не есть простое угасание, жизнь продолжается и в гибели. Так воспринимали смерть некоторые гностики – за полторы-две тысячи лет до Рильке. Смерть, которая пришла к

человеку в миг исполнения его земного предназначения – не трагедия, а, скорее, великая удача.

Рильке посвятил Марине Цветаевой «Элегию», в которой размышляет о незыблемости равновесия космического целого.

О, эти потери Вселенной, Марина! Как падают звезды!
Нам их не спасти, не восполнить, как бы порыв не вздымал нас
Ввысь. Все смерено, все постоянно в космическом целом.
И наша внезапная гибель
Святого числа не уменьшит. Мы падаем в первоисточник,
И в нем, исцелясь, встаем.
Так что же все это?..

Так что же тогда такое наша жизнь? Наша мука, наша гибель? Неужели это просто игра равнодушных сил, в которой нет никакого смысла? «Игра невинно-простая, без риска, без имени, без обретений»? На этот риторический вопрос Рильке отвечает не прямо, а как бы пересекая его внезапно вторгающимся новым измерением:

Волны, Марина, мы – море! Глуби, Марина, мы – небо!
Мы – тысячи весен, Марина! Мы – жаворонки над полями!
Мы – песня, догнавшая ветер!
О, всё началось с ликования, но, переполняясь восторгом,
Мы тяжесть земли ощутили и с жалобой клонимся вниз.
Ну что же, ведь жалоба – это предтеча невидимой радости новой,
Сокрытой до срока во тьме...

То есть мы суть то, что наполняет нас. И если мы наполнились жизнью до края, она не исчезнет с нашей смертью. Она есть. Она накапливалась и зрела в нас, как цветок в бутоне, как плод в цветке. Бутон лопнул, но есть нечто иное – весь смысл жизни бутона – цветок, разливающий благоухание далеко за свои пределы. В нас тоже зреет этот благоухающий дух жизни, если мы наполняемся небом и морем, весной и песней. И любить в нас надо именно это, а не оболочку этого.

Любящие – вне смерти.
Только могилы ветшают, там, под плакучею ивой,
отягощенные знаньем,
Припоминая ушедших. Сами ж ушедшие живы,
как молодые побеги старого дерева.
Ветер весенний, сгибая, свивает их в дивный венок,
никого не сломав.
Там, в мировой сердцевине, там, где ты любишь,
Нет преходящих мгновений.

И Николай Заболоцкий не принимал смерть как абсолютное уничтожение и верил, что бессмертие – в природе, если так можно выразиться, самой природы. В стихотворении «Кузнечик» он писал:

Настанет день, и мой забвенный прах
Вернется в лоно зарослей и речек.
Заснет мой ум, но в квантовых мирах
Откроет крылья маленький кузнечик.

Довольствуясь осколком бытия,
Он не поймет, что мир его чудесный
Построила живая мысль моя,
Мгновенно затвердевшая над бездной.

Как и все великие поэты, Заболоцкий предсказал свою смерть в своих стихах.

Я боюсь, что наступит мгновенье,
И, не зная дороги к словам,
Мысль, возникшая в муках творенья,
Разорвет мою грудь пополам.

Промышляя искусством на свете,
Услаждая слепые умы,
Словно малые глупые дети,
Веселимся над пропастью мы.

Но лишь только черед наступает,
Обожженные крылья влача,
Мотылек у свечи умирает,
Чтобы вечно пылала свеча!

После смерти Заболоцкого на его письменном столе остался лежать чистый лист бумаги с начатым планом новой поэмы: «1. Пастухи, животные, ангелы. 2.» Второй пункт он заполнить не успел. И, хочется думать, что не случайно провидение остановило его руку после последнего, умиротворяющего слова «ангелы».

Его тезка Николай Рубцов был далеко не ангелом в жизни. Когда в Тотьме хотели установить мемориальную доску на интернате, где жил и учился поэт, то в ответ звучал саркастический вопрос: «А вы видели Рубцова трезвым?» Как будто мемориальная доска устанавливается именно в честь трезвой рубцовой жизни. Позже в Тотьме ему поставили памятник. Бронзового – его приодели, обули в красивые туфли, накинули на плечи элегантное пальто. В жизни он никогда так изящно не одевался. Памятники вообще мало имеют общего с живыми людьми. Особенно резким контрастом с посмертным элеем звучат рубцовские строчки:

Мое слово верное прозвенит.
Буду я, наверное, знаменит.
Мне поставят памятник на селе.
Буду я и каменный навеселе!

О памятниках себе писали и Пушкин, и Маяковский, и Ходасевич, и Ахматова, и Высоцкий, и Рыжий. Многим из них они уже установлены: Мандельштаму – на месте гибели во Владивостоке, Ахматовой – в Москве на Ордынке, где она часто жила у Ардовых, и в Петербурге, во дворе филфака университета, Цветаевой собираются поставить в Тарусе, Гумилеву – в Калининграде, Бродскому – в Петербурге, куда он хотел вернуться умирать, Рыжему – вероятно, на площади Свердловска, где его «кенты». «Я хочу, чтоб мыслящее тело/ превратилось в улицу, в страну», – мечтал Мандельштам. И это пророчество его должно скоро исполниться. «Улица Мандельштама» скоро появится в Воронеже, только это будет не улица Швейников (тогда – Линейная), где жил поэт, а другая. Есть улица Рубцова в Вологде. Но самое главное – не это.

«Всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово», – утверждала Ахматова. «Никогда, никуда мы не сгинем,/ мы прочней и нежней, чем гранит», – вторит

ей Рыжий. Их бессмертие – в слове, в стихе. «Допустим, как поэт я не умру»,– писал Г. Иванов с долей сомнения. Но сегодня сомнений уже нет – не умер, не умрет, ибо «выиграл игру» в самом прямом значении этих слов. «Но я не забыл, что обещано мне/ воскреснуть. Вернуться в Россию стихами». Вернулся. Воскрес.

И. Елагин тоже всегда знал, был уверен, что рано или поздно его стихи придут к российскому читателю:

Но знаю: меня они все-таки вспомнят,
Заглянут ко мне в аметистовый омут,
Моим одиночеством темным звеня,
Как груз потонувший, поднимут меня.

Сбылись слова Маяковского, мечтавшего о «мастерской человечьих воскрешений»: «Крикну я вот с этой, с нынешней страницы: «Не листай страницы! Воскреси!»

И. Бродского серьезно занимала проблема воскресения, дыры, которую сам он рассчитывал проделать в «бронне небытия». В последних своих стихах, представляющих собой его слова прощания и завещания, уходя, Бродский приоткрывает русской поэзии будущего этот путь, для нее пока новый. О жизни после смерти писал Случевский, тема воскресения волновала по-разному Пастернака и Маяковского, но это были только отдельные произведения, а не целое направление. Бродский пишет:

Только пепел знает, что значит сгореть дотла.
Но я тоже скажу, близоруко взглянув вперед:
Не все уносимо ветром, не все метла,
Широко забирая по двору, подберет.
Мы останемся смятым окурком, плевком, в тени
Под скамьей, куда угол проникнуть лучу не даст,
И слежимся в обнимку с грязью, считая дни,
В перегной, в осадок, в культурный пласт.
Замаравши совок, археолог разинет пасть
Отрыгнуть, но его открытие прогремит
На вест мир, как зарытая в землю страсть,
Как обратная версия пирамид.
«Падаль!» – выдохнет он, обхватив живот,
но окажется дальше от нас, чем земля от птиц,
потому что падаль – свобода от клеток, свобода от
целого: апофеоз частиц.

Вся его поэзия – это в каком-то смысле преодоление смерти речью, поэтическим словом.

Страницу и огонь, зерно и жернова,
Секиры острое и усеченный волос –
Бог сохраняет все, особенно – слова
Прощенья и любви, как собственный свой голос.

«Бессмертия у смерти не прошу»,– когда-то написал он в 60-х. Оно само нашло его. Стихи, написанные Бродским 40 лет назад на смерть Томаса Элиота, оказались словами о себе самом:

Он умер в январе, в начале года.
Под фонарем стоял мороз у входа.

Не успевала показать природа
Ему своих красот кордебалет.
От снега стекла становились уже.
На перекрестках замерзали лужи.
Под фонарем стоял глашатай стужи,
И дверь он запер на цепочку лет.

Повторяя сейчас эти строчки, мы лишний раз осознаем, что поэты не умирают. Бродский просто ушел туда, где он встретит Элиота и Одена, Ахматову и Джона Донна, Овидия и Проперция – тех, с кем он на равных разговаривал при жизни.

Разбегаемся все. Только смерть нас одна собирает.
Значит, нету разлук. Существует громадная встреча.
В прошлом те, кого любишь, не умирают!

Поэт жив, пока мы его любим и помним. Мы воскрешаем его своим прочтением, переселяя его мир в свою душу, делая его органичной частью нашего я. Или – убиваем нечтением, казним забвением.

Бродский никогда не вернулся на Васильевский остров, он похоронен на Острове мертвых, как называют кладбище Сан-Микеле в Венеции. Но стихами своими хотел бы остаться жить здесь, где родился, любил, был счастлив и несчастлив и, подобно Цветаевой, обращавшейся через головы современников к «тебе, через 100 лет», обращался к своим будущим «воскресителям»:

...Мой голос, торопливый и неясный,
Тебя встревожит горечью напрасной,
И над моей ухмылкой усталой
Ты склонишься с печалью запоздалой,
И, может быть, забыв про все на свете,
В иной стране – прости – в ином столетье
Ты имя вдруг мое шепнешь беззлобно,
И я в могиле торопливо вздрогну.

«Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон», он может быть совсем не похожим на поэта в нашем традиционном, заштампованном понимании этого слова, и потому часто остается неузнанным и непризнанным. Б. Рыжий писал:

Меня, кажется, попросту нет –
Спит, читает, идет на работу
Чей-то полурасслышанный бред,
Некрасивое чучело чье-то.
И живу-не-живу я, пока
Дорогими устами своими –
Сквозь туман, сон, века, облака –
Кто-нибудь не шепнет мое имя.
Говори, не давай нам забыть
Наше тяжелое дело земное.
Помоги встрепенуться, ожить,
Милый друг, повстречаться с собою.

Бредут по обочине жизни, мчатся «по самому по краю» пропасти, разгоняя своих лошадок, неслышанные в своем отечестве пророки, маргиналы, пасынки русской поэзии.

Да, они не ангелы. А если и ангелы – то скорее ада, чем рая. Но если существует Страшный суд искусства, то Поэт будет на нем оправдан.

Незадолго до смерти, прощальным взглядом оглядываясь на пройденную жизнь, Ф. Сологуб написал такие стихи:

Когда меня у входа в Парадиз
Суровый Петр, гремя ключами, спросит:
– Что сделал ты? – меня он вниз
Железным посохом не сбросит.
– Скажу: слагал романы и стихи
И утешал, но и вводил в соблазны,
И вообще, мои грехи,
Апостол Петр, многообразны.
Но я – поэт. И улыбнется он,
И разорвет грехов рукописанье.
И смело в рай войду, прощен,
Внимать святое ликованье.
Не затеряется и голос мой
В хваленьях ангельских, горящих ясно.
Земля была моей тюрьмой,
Но здесь я прожил не напрасно.

ГАРМОНИЯ НАД БЕЗДНОЙ

(О поэзии Ларисы Миллер)

Кто-то говорил: кратчайший путь – от сердца к сердцу. Наверное, поэзия и есть этот самый путь. Может быть, это звучит старомодно в наш век постмодернизма – игры, пересмешничанья, ерничанья, когда поэзия выполняет совершенно другие функции, но все-таки главным ее критерием всегда был один: нужны ли эти стихи людям? И если нет, то зачем они?

В поэзии Ларисы Миллер я нашла то, чего мне так не хватало в других современных поэтах – разговор о том, как человек справляется с жизнью, как он чувствует себя перед лицом вечности. Я была потрясена невероятной простотой этой поэзии. Она голенькая: ни оборочек, ни рюшечек – стихи из ничего. И при этом так цепляют!

Возвращаемся на круги своя,
Наболевшее от других тая.
А захочется поделиться вдруг,
Не поймет тебя самый близкий друг.
Он и сам в беде, он и сам в тоске,
Он и сам почти что на волоске.
Тянешь руки ты, тянет руки он,
А доносится только слабый стон.
И когда молчим, и когда поем –
Каждый о своем, каждый о своем.

Я читала и соглашалась с каждым словом. Было такое чувство, что не Лариса Миллер делится со мной своими печальями и радостями, а я говорю ее словами, ее мыслями, радостями и печальями. «Кому повем? Кому нужна в моей наживке?» – пишет она, а мне хотелось крикнуть: «Мне! Мне!». Ее стихи стали для меня больше, чем стихи.

Хоть бы памятку дали какую-то, что ли,
Научили бы, как принимать
Эту горькую жизнь и как в случае боли
Эту боль побыстрее снимать.

Хоть бы дали инструкцию, как обращаться
С этой жизнью, как справиться с ней –
Беспощадной и нежной – и как с ней прощаться
На исходе отпущенных дней.

Стихи Миллер и стали для меня такой «инструкцией». Их хотелось выписать, выучить и жить по их «рецептам». В них и молитва:

Ночь метельная была.
Ангел мой, раскрыв крыла,
Обойми меня, закутай,
Не пускай на холод лютый.

* * *

Все зачинает, чтоб вновь погубить.
Ангел мой ласковый, дай долюбить.

И заклинание:

Все переплавится. Все переплавится.
В облике новом когда-нибудь явится.
Нету кончины. Не верь в одиночество.
Верь только в сладкое это пророчество.
Тот, кто был другом единственным, преданным,
Явится снова в обличье неведомом –
Веткой ли, строчкой. И с новой силою
Будет шептать тебе: «Милая, милая».

И утешение:

Ну успокойся, успокойся.
Живи и ничего не бойся.

* * *

Все поправимо, поправимо.
И то, что нынче горше дыма,
Над чем сегодня слезы льем,
Окажется прошедшим днем,
Полузабытым и туманным
И даже, может быть, желанным.

И надежда:

Поверь, возможны варианты.
Изменчивые дни – гаранты
Того, что варианты есть.

* * *

Осенний ветер гонит лист и ствол качает.
Не полегчало коль еще, то полегчает.
Вот только птица пролетит и ствол качнется,
И полегчает наконец, душа очнется.
Душа очнется наконец, и боль отпустит.
И станет слышен вещий глас в древесном хрусте
И в шелестении листвы. Под этой сенью
Не на погибель все дано, а во спасенье.

И руководство к действию:

Ах, не можешь? Надо мочь.
Все твое – и день, и ночь.
Вот он, день твой, белый, белый.
С этим днем что хочешь делай.

Стихи безыскусны, почти аскетичны. «За чертой бедности», – как она сама с иронией говорит о них. Сколько за последние годы сменилось поветрий, и много раз открывали, что простота кончилась, что она немодна, отстала от века. Но вся эта пена рано или поздно схлынет, как бывало не раз. А чистые и строгие стихи пишутся снова, и ничто их не берет.

Стихи Миллер – вне времени и пространства, по ту сторону всего. Их можно было бы писать и в прошлом веке, они возможны и через века. И в то же время эти стихи современны. Более того, они способны остановить время, замедлить его бег. Читая их, хочется жить медлительнее, внимательнее.

Плывут неведомо куда по небу облака.
Какое благо иногда начать издалика
И знать, что времени у нас избыток, как небес,
Бездонен светлого запас, а черного в обрез.
Плывут по небу облака, по небу облака...
Об этом первая строка и пятая строка.
И надо медленно читать и утопать в строках,
И между строчками витать в тех самых облаках.
И жизнь не хочет вразумлять и звать на смертный бой,
А только тихо изумлять подробностью любой.

Или:

Ритенуто, ритенуто,
Дли блаженные минуты,
Не сбивайся, не спеши,
Слушай шорохи в тиши.

Дольче, дольче, нежно, нежно...
Ты увидишь, жизнь безбрежна,
И такая сладость в ней.
Но плавней, плавней, плавней...

Легкость. Невесомость. Непринужденность. Бунинское «легкое дыхание». Это высший пилотаж в поэзии, когда мастерства не видно, его не замечаешь. Поэзия не должна пахнуть потом. Как сказал о стихах Миллер открывший ее А. Тарковский, «у нее прозрачно-родниковая форма при истинно глубоком содержании». Но как обманчива эта прозрачность! Так в чистой, незамутненной воде просвечивает дно, до которого однако не дотянуться, как ни пытайся. Ее стихи – это ровность и глубина океана. У Шнитке есть концерт для хора, где все очень ровно, там нет глубоких перепадов. Но это такая океаническая глубина смысла и миропонимания!

Неужто два такта всего до конца?
Семь нот в звукоряде. Семь дней у Творца.
И нечто такое творится с басами,
Что воды гудят и земля с небесами.

Поэзия Миллер – это трепет радости и боли одновременно.

Небо к земле прилегает неплотно.
В этом просвете живем мимолетно.
И, попирая земную тщету,
Учимся жизнь постигать на лету.
Чтоб надо всем, что ветрами гасимо,
Стерто, повержено, прочь уносимо,
Духу хватало летать и летать,
И окрыляться, и слезы глотать.

Это – жизнь с ощущением вечной иглы в сердце.

Дни текли. Душа алкала.
Кошка с блюдечка лакала.
В небе плыли облака
Далеко, издалека.

Ни в четверг, ни в воскресенье
Не нашла душа спасенья.
Кошка с блюдечка пила,
Тучка по небу плыла,
Проплывала в небе синем...
Нынче здесь, а завтра сгинем,
Кошке сливочек налив
И души не утолив.

Лариса Миллер признавалась, что ее стихи очень часто – как бы заклинания от обратного: «На самом деле все плохо, а я себе говорю: скажи, что жить легко!» Стихи часто построены как обращение к себе, самоуговаривание, урок. По сути это своеобразный аутотренинг: «я спокоен, я спокоен...». И вдруг прорывается: «День придет, и дожди будут литься./ И распустятся вновь лепестки./ Будут петь оголтелые птицы/ В

день, когда задохнусь от тоски». И эта «проговорка» – у нее так редки стихи от первого лица – обжигает прозрением, что ей не так уж легко и безмятежно живется.

Меня возмутила рецензия на стихи Л. Миллер В. Цивунина (Новый мир», № 3, 2004), который за внешней простотой формы и видимой легкостью слога не увидел драматизма и глубины содержания. Ведь в том-то и чудо, и ужас, что «вроде просто – дважды два, щи да каша, баба с дедом, а выходит, что едва мир не рухнул за обедом», что в ее строчках «прозрачные дни вдруг взрываются, как мина». Поэтическая сущность Миллер вовсе не благодатна, в ней есть и щемящий трагизм человеческого бытия, и тоска, и страх смерти, и безотчетная тревога, и отчаяние: «Дело, кажется, пахнет психушкой».

Идет безумное кино
И не кончается оно.
Творится бред многосерийный.
Откройте выход аварийный.
Хочу на воздух, чтоб вовне,
С тишайшим снегом наравне,
И с небесами, и с ветрами,
Быть непричастной к этой драме,
Где все смешалось, хоть кричи.
Бок о бок жертвы, палачи
Лежат в одной и той же яме
И кое-как, и штабелями.
И слышу окрик: «Ваш черед».
Эй, поколение, вперед!
Явите мощь свою, потомки.
Снимаем сцену новой ломки.

* * *

...Все канет со временем. Помни одно:
И уже бывает.
Но время, которое лечит, оно
Увы, убивает.

Г. Померанц назвал стихи Миллер «поэзией горькой правды». Иногда мороз по коже пробирает от ее строчек:

Спасибо тебе, государство,
Спасибо тебе, благодарствуй
За то, что не всех погубило,
Не всякую плоть изрубило,
Растлило не каждую душу,
Не всю испоганило сушу,
Не все взбаламутило воды,
Не все твои дети – уроды.

В стихах ее много мрака, но все это осенено высью. От слов словно идет свечение. И, кажется, чем больше в них земли, тем ближе они к небесам.

А между тем, а между тем,
А между воспаленных тем,
И жарких слов о том, об этом

Струится свет. И вечным светом
Озарены и ты, и я,
Пропитанные злобой дня.

А ощущение света в стихах Миллер возникает во многом благодаря их совершенной, безукоризненной форме – точной рифме, внутреннему звучанию. Восхищает абсолютная законченность стихотворения, соразмерность частей: звуков, смыслов, образов. Это просто какая-то «рукой Челлини ваянная чаша»! Даже Цивунин не может не отметить, как они «отточены и безупречны».

Стихи очень компактны. Четыре – восемь строк. Иногда – двенадцать. Реже – шестнадцать. Как говорил ее любимый Синявский: «Я буду краток, потому что жизнь коротка». Но эти строчки запоминаются сразу, намертво впечатываясь в сознание. Это речь огромной концентрации и напряжения. Миллер хорошо знает, что значит точное слово. На малом плацдарме она ведет большие бои.

Судьбу не надо умолять.
Ты – в окруженье.
В тебя позволено стрелять
На поражение.
Укрыться где и от кого?
Кругом бойницы.
Нас выбьют всех до одного –
Не уклониться.
Пока для тайного стрелка
Ты служишь целью,
Цветут небесные шелка
И звонкой трелью
Сам соловей пугает тьму,
Сменив кукушку,
И кружит голову тому,
Кто взят на мушку.

* * *

Однажды выйти из судьбы,
Как из натоленной избы
В холодные выходят сени,
Где вещи, зыбкие, как тени,
Стоят, где глуше голоса,
Слышнее ветры и леса,
И ночи черная пучина,
И жизни тайная причина.

Поэтическая речь Ларисы Миллер непривычно для нас сдержанна. Она словно стесняется пафосности, открытой эмоциональности. «На тьму лирических словес наложим вето», – пишет она. «Ни цветаевской ярости», ни губановской расхристанности, ни шершавой «плотскости» Т. Бек в ее поэзии не обнаружишь. Миллер не грузит нас своими проблемами, не выворачивает нутро наизнанку, а просто, негромко делится какими-то открывшимися ей вечными истинами. Но так, что истины, увиденные ее незамыленным пристальным взглядом, вдруг начинают сиять заново, помогая ощутить мир в его первобытной прелести.

О мир, твои прекрасны штампы:
То свет с небес, то свет от лампы,
То свет от белого листа...
Прекрасны общие места.

* * *

Неслыханный случай. Неслыханный случай:
Листва надо мной золотистою тучей.
Неслыханный случай. Чудес чудеса:
Сквозь желтые листья видны небеса.
Удача и праздник, и случай счастливый:
Струится река под плакучею ивой.
Неслыханный случай. Один на века:
Под ивой плакучей струится река.

Какому-нибудь снобу стихи Миллер покажутся суховатыми, скучными, несовременными. В них не встретишь никакой экспериментальной эквилибристики, никаких неологизмов, стилистических ухищрений, никакого оркестра аллитераций – ничего из того, чем грешит нынешняя поэзия, от чего в ней так устаешь. Устойчивый, в чем-то однообразный ритмический рисунок. Парная рифма, напоминающая дыхание: вдох – выдох, скромная, неброская, не рассчитанная на читательский шок. На ее стихах глаз отдыхает, притом что душа – трудится, работает.

Такая поэзия считается старомодной. Да, она старомодна, если за новомодность принять игру в литературные кубики и шарады. Она старомодна, если старомодны любовь и смерть, детский смех и прозрачный воздух в осеннем лесу.

Поговорим о пустяках,
О том, что не живет в веках,
О том, чего подуй – и нету,
О том, что испарится к лету,
К рассвету, к осени, к весне...

– О чем ты? Говори ясней.
– Я о пустячном, мимолетном,
О состоянии дремотном,
О том, что просыпаться лень,
Как тянет в беспросветный день,
Забыв себя, стать первым встречным...
Постой, но это же о вечном.

Но когда читаешь эти стихи – проникаешься внутренней силой. Такая поэзия целительна и животворна. Она для тех, для кого Слово, Живопись, Музыка остались ценностями неизменными.

Не вмещаю, Господи, не вмещаю.
Ты мне столько даришь. А я нищаю:
Не имею емкостей, нужной тары
Для даров Твоих. Ожидаю кары
От Тебя за то, что не стало мочи
Все вместить. А дни мои все короче
И летят стремительно, не давая

Разглядеть пленительный отблеск края
Небосвода дивного в час заката...
Виновата, Господи, виновата.

Мне очень нравится, что стихи ее – не «женские», а – общечеловеческие. Есть такая затертая уже фраза (которую Блок сказал Ахматовой), что стихи надо писать не как перед мужчиной, а как перед Богом. Стихи Миллер – именно такие. Они обращены ввысь, минуя посредника в мужском обличье. В них как бы отрезана почва со всем ее мусором, с подробностями личной судьбы, предпочтение отдано целому перед частью, Главному, Сути. Поэтому мир в ее стихах кажется таким незамутненным, кристально чистым и ясным, хотя и не лишенным драматизма.

Поражает, как в такую лаконичную форму можно вместить бездну глубины содержания. Ведь по сути эти восьмистишия – квинтэссенция жизненной мудрости, их можно было бы развернуть в философские трактаты. В ее стихах угадывается влияние античных и христианских авторов, влияние философов-экзистенциалистов и писателей, близких к такому ощущению жизни (Габриэль Марсель, Герман Гессе и др.). Миллер продолжает традиции почти дневниковой философской лирики, которая в русской поэзии восходит к Тютчеву. В одном стихотворении у нее есть такая строчка: «И лежит моя закладка в толстой книге философской». В своей автобиографической прозе она рассказывает, что когда что-то в жизни ее брало за горло, происходили потрясения, с которыми она с трудом справлялась, она начинала читать философов, чтобы разобраться во всем. Она читала китайских, индийских, русских философов, но самым сильным ее впечатлением был Мейстер Экхарт. Он и другие мистики – в частности, исихасты – хотели сохранить Слово ценой молчания, на его грани. Немногословной Миллер это очень близко.

Ждали света, ждали лета,
Ждали бурного расцвета
И благих метаморфоз,
Ждали ясного ответа
На мучительный вопрос.
Ждали сутки, ждали годы
То погоды, то свободы,
Ждали, веря в чудеса,
Что расступятся все воды
И дремучие леса...

А пока мы ждали рая,
Нас ждала земля сырая.

В одном из рассказов Миллер есть описание бессонницы и ощущение хода времени (тиканье часов), которое мучает ее, школьницу, по ночам. Возможно, это было для нее каким-то предчувствием поэтического ритма?

Электронная начинка,
Примитивная починка:
Батарейку заменили,
И часы засеменили.
А они теперь без тика.
Хоть и мчится время дико,
Хоть, как прежде, убывает,
Но бесшумно убывает.

Ни бим-бома, ни тик-така,
Только тихая атака:
Час не стукнул и не пробил,
А подкрался и угробил.

* * *

Постой же, время, не теки.
Постой со мною у реки
Такой медлительной и сонной.
Пусть жизнь покажется бездонной
Упрямым фактам вопреки.
На этом тихом берегу
Поверить дай, что все смогу,
Что ничего еще не поздно,
Что я... «И это ты серьезно?» –
Шепнуло время на бегу.

Позже в интервью Миллер признавалась, что «помешана на времени», что это для нее одно из главных понятий: ход времени, ощущение человека во времени.

Где ты тут, в пространстве белом?
Всех нас временем смывает,
Даже тех, кто занят делом –
Кровлю прочную свивает.
И бесшумно переходит
Всяк в иное измеренье,
Как бесшумно происходит
Тихой влаги испаренье...

* * *

Мы у вечности в гостях
Ставим избу на костях,
Ставим избу на погосте
И зовем друг друга в гости:
«Приходи же, милый гость,
вешай кепочку на гвоздь».
И висит в прихожей кепка,
И стоит избушка крепко,
В доме радость и уют,
В доме пляшут и поют,
Топят печь сухим поленом.
И почти не пахнет тленом.

Существует огромное пространство, в которое мы все заброшены, и несущее нас время. Все, что в стихах Миллер – продиктовано этим. У нее страстное желание во что-то спрятаться: «Под небесами так страшно слоняться./ Надо хоть как-то от них заслоняться».

Куда бежать, как быть, о Боже, –
Бушует влажная листва.
И лишь непомнящих родства

Соседство с нею не тревожит:
Ее разброд, метанье, дрожь,
И шелестенье, шелестенье:
«Ты помнишь? Помнишь? Сном и бдением
Ты связан с прошлым. Не уйдешь.
Ты помнишь?» Помню. Отпусти.
Не причитай. Не плачь над ухом.
Хочу туда, где тесно, глухо,
Темно, как в люльке, как в горсти.
Где не беснуются ветра,
Душа не бродит лунатично,
А мирно спит, как спят обычно
Под шорох ливня в пять утра.

«Как страшно жить», – вспомнилась вдруг притча Ренаты Литвиновой. Но в самом деле, если вдуматься – охватывает чувство экзистенциального отчаяния. Никаких гарантий, никакой внешней защиты!

Погляди-ка, мой болезный,
Колыбель висит над бездной,
И качают все ветра
Люльку с ночи до утра.
И зачем, живя над краем,
Со своей судьбой играем,
И добротный строим дом,
И рожаем в доме том.
И цветет над легкой зыбкой
Материнская улыбка.
Сполз с поверхности земной
Край пеленки кружевной.

Это отголоски прозы ее любимого Набокова: «Колыбель качается над бездной. Заглушая шепот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь – только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями. Разницы в их черноте нет никакой, но в бездну прижизненную нам свойственно вглядываться с меньшим смятением, чем в ту, к которой летим со скоростью четырех тысяч пятисот ударов сердца в час» («Дар»). Основное чувство от поэзии Ларисы Миллер – это ощущение хрупкости и непрочности бытия.

Такой вокруг покой, что боязно вздохнуть,
Что боязно шагнуть и скрипнуть половицей.
Зачем сквозь этот рай мой пролегает путь,
Коль не умею я всем этим насладиться.

... И давит, и гнетет весь прежний путь людской
И горький опыт тех, кто жил до нас на свете,
И верить не дает в раздолье и покой
И в то, что мы с тобой избегнем муки эти;

И верить не дает, что наша благодать
Надежна и прочна, и может длиться доле,
Что не решит судьба все лучшее отнять
И не заставит вдруг оцепенеть от боли.

Все так невечно, зыбко, разрушительно в этом мире... Но и одновременно очень весома и значимо. Каждая частица бытия связана невидимыми нитями с чем-то, чего не увидишь глазами, но что является смыслом и сутью всего видимого, явного, что «знает из опыта» наша генетическая память.

Как будто с кем-то разлучиться
Пришлось мне, чтоб на свет явиться...
И шарю беспокойным взором
По лицам и земным просторам...

* * *

И замысел тайный еще не разгадан
Тех линий, которые дышат на ладан,
Тех линий, какими рисована былль.
И линии никнут, как в поле ковыль.
Мелок, ворожа и танцуя, крошится,
И легче легчайшего жизни лишиться.
Когда и не думаешь о роковом,
Тебя рисовальщик сотрет рукавом
С туманной картинки, начертанной всуе,
Случайно сотрет, чей-то профиль рисуя.

* * *

Наш рай земной невыносим.
На волоске с тобой висим...

Пронзительное понимание того, что «жизнь и любовь не прочней волоска», почти физиологическое ощущение бездны, которая буквально в двух шагах. Точно идешь по очень тонкому льду и можешь рухнуть. Иные творческие натуры сами ищут этой потерянности в бездне, упоения на ее краю. Миллер не ищет. Но она сама находит ее.

Ты сброшен в пропасть – ты рожден.
Ты ни к чему не пригвожден.
Ты сброшен в пропасть – так лети.
Лети, цепляясь по пути
За край небесной синевы,
За горсть желтеющей травы,
За луч, что меркнет, помелькав,
За чей-то локоть и рукав.

Существует мнение – его придерживается, например, Станислав Рассадин, что гармоническое начало ушло из искусства едва ли не сразу после смерти Пушкина. Трудно с этим согласиться, держа в руках книгу Миллер.

Есть удивительная брешь
В небытии. Лазейка меж
Двумя ночами. Тьмой и тьмой...

* * *

Существование на грани
Невесть чего. Исхода нет.
Любовь? Она лишь стылый след.
Покой? Но он нам только снится.
Так что же есть? Небесный свет,
В котором облако и птица.

* * *

Между облаком и ямой,
Меж березой и осиной,
Между жизнью лучшей самой
И совсем невыносимой,
Под высоким небосводом
Непрестанные качели
Между Босховским уродом
И весною Боттичелли.

Ее среда обитания – «меж небом и землей», «между облаком и ямой». Пространство метафизическое, эфемерное, пространство, где таится «мерцающий свет, рожденный мгновеньем, которого нет». А что же есть? То, что она силится передать: неуловимое состояние, мимолетное ощущение бытия.

Некто, нечто, дом, калитка,
Сад, готовый отцвести, –
Бесконечная попытка
Скоротечное спасти.

Можно, конечно, выразить дисгармоничность мира какофонией звуков, резкой сменой ритма, изломанной линией метра – и в этом отношении в 20 веке многое было сделано. Но гораздо труднее, находясь внутри этого искореженного, искаженного судорогой боли «страшного мира», увидеть его как бы снаружи, отстраненно, из далекого далека, из невидимого космоса, пронизывающего все обыденное. Эта запредельная пристальность зрения, слуха, всех чувств – главное свойство стихов Ларисы Миллер.

Да разве можно мыслить плоско,
Когда небесная полоска
Маячит вечно впереди,
Маня: «Иди сюда, иди».
Маячит, голову мороча,
Неизреченное пророча,
Даруя воздух и объем,
Которые по капле пьем
Из голубой бездонной чаши.
Отсюда все томленье наше,
Неутоленность и печаль.

Попробуй к берегу причаль,
Когда таинственные дали
Постичь идущему не дали
Ни первым чувством, ни шестым,
Что там, за облаком густым.

Космическое чувство бездны, пространства и связи со всем этим дает ощущение масштаба и защищенности от заикливания на временном и пустячном. Чем больше хаос, чем злее «злоба дня» – тем больше у нее потребность в гармонии. Стихотворение – это как лодочка, на которой она должна удержаться на плаву.

В тихом омуте черти,
В небесах ангелок.
Ну а мы посерединке
В неустойчивой лодке
В неизвестность плывем.
Наши вехи нечетки,
Ясен лишь окоем.

Она предпринимает отчаянную попытку ухватиться за что-то в этой неустойчивости, непрочности бытия:

Но в хаосе надо за что-то держаться,
А пальцы устали и могут разжаться.
Держаться бы надо за вехи земные,
Которых не смыли дожди проливные,
За ежесекундный простой распорядок
С настольною лампой за кипой тетрадок,
С часами на стенке, поющими звонко,
За старое фото и руку ребенка.

Поэт чувствует враждебный мир за спиной и – продолжает строить свое убежище от смерти и тлена.

Люби без памяти о том,
Что годы движутся гуртом,
Что облака плывут и тают,
Что постепенно отцветают
Цветы на поле золотом.
Люби без памяти о том,
Что все рассеется потом.
Уйдет, разрушится и канет,
И отомрет, и сил не станет
Подумать о пережитом.

Могуществу разрушения она противопоставляет детское доверие миру.

Хорошего уйма. Хорошее сплошь.
Вот хвост у сороки отменно хорош:
Большой, черно-белый. Такое перо –
Ему бы стоять на старинном бюро,
И если не манна слетает с небес,

То все ж филигранна, воздушна на вес
Снежинка, летящая в снежных гуртах.
И это о радости в общих чертах.
И это два слова про дивный пейзаж,
Про фон повседневный обыденный наш,
Про фон наш обычный. Но, может быть, мы
Являемся фоном для этой зимы,
Для этих сугробов, сорок и ворон.
И терпит картина серьезный урон,
Когда и летают, и падают ниц
Снежинки на фоне безрадостных лиц.

Первейшая задача поэта, как ее понимает Миллер, – гармонизировать хаос и мужественно, достойно пройти земной путь между колыбелью и бездной. И она протягивает нам эту соломинку спасения всем тонущим, руку помощи, фонарик, лучик света, которым освещает мрак и холод бытия.

Тьма никак не одолеет,
Вечно что-нибудь белеет,
Теплится, живет,
Мельтешит, тихонько тлеет,
Манит и зовет.
Вечно что-нибудь маячит...
И душа, что горько плачет
В горестные дни,
В глубине улыбку прячет,
Как туман огни.

В благодатных стихах Миллер нет благостности, сусальности, елеса. Она – не церковный человек, природное чувство фальши удерживает ее от придуманной веры, но есть в ее стихах и нечто религиозное, если понимать под религиозностью то, что помогает испытать чувство вечности. Или хотя бы намек на это чувство. «А вместо благодати – намек на благодать». Ибо

Все дело в том, что дела нет
Ему до нас. И всякий след
Готов исчезнуть через миг.
Все дело в том, что Светлый Лик
Всегда глядит поверх голов,
Не видя слез, не слыша слов,
Не опуская ясных глаз,
Глядит туда, где нету нас.

* * *

Досадно, Господи, и больно,
Что жизнь Тебе не подконтрольна,
Она течет невесть куда...

В стихах Миллер часто звучат богоборческие мотивы.

О, скольких за собою увлек еще до нас
Тот лик неразличимый, тот еле слышный глас.
Тот тихий, бестелесный, мятежных душ ловец.
Куда, незримый пастырь, ведешь своих овец?
В какие горы, доли, в какую даль и высь?
Явись хоть на мгновенье, откликнись, отзовись.
Но голос Твой невнятен. Влеки же нас, влеки.
Хоть знаю – и над бездной Ты не подашь руки,
Хоть знаю – только этот почти неслышный глас –
Единственная радость, какая есть у нас.

Но ей удастся выразить и почти библейскую радость, рассказывая, как сотворены стихи.

Когда Господь на дело рук
Своих взглянул, и в нем запело
Вдруг что-то, будто бы задело
Струну в душе, запело вдруг...

«И с той поры/ трепещет рифма, точно пламя,/ рожденное двумя словами/ в разгар божественной игры».

Я опять за свое, а за чье же, за чье же?
Ведь и Ты, Боже мой, повторяешься тоже,
И сюжеты Твои не новы,
И картинки Твои безнадежно похожи:
Небо, морось, шуршанье травы...
Ты – свое, я – свое, да и как же иначе?
Дождь идет – мы с Тобою сливаемся в плаче.
Мы совпали и как не совпасть?
Я подобье Твое, и мои неудачи –
Лишь Твоих незаметная часть.

Наверное, это и есть подлинное религиозное чувство, гармоническое ощущение Бога в себе и себя в Божьем мире.

Что за жизнь у человечка:
Он горит, как Богу свечка,
И сгорает жизнь дотла,
Так как жертвенна была.
Он горит, как Богу свечка,
Как закланная овечка
Кровью, криком изойдет
И утихнет в свой черед.
Те и те, и иже с ними;
Ты и я горим во Имя
Духа, Сына и Отца –
Жар у самого лица.
В толчее и в чистом поле,
На свободе и в неволе,

Очи долу иль горе –
Все горим на алтаре.

Мне очень дорога непоказная, целомудренная душевность и человечность стихов Ларисы Миллер. Она непритворно болеет за все живое, и в ее присутствии чувствуешь себя уже не так одиноко и заброшенно. Поэт тянет руки к Богу, но тут же оглядывается и протягивает их ниже – к ближним, дальним, сырым, несчастным.

Так и маемся на воле,
Как бездомные.
То простые мучат боли,
То фантомные.
Ломит голову к ненастью,
В сердце колики...
Сядем, братья по несчастью,
Сдвинув столики.
Сдвинем столики и будем
Петь застольную,
Подарив себе и людям
Песню вольную,
Все болезненное, злое
И дремучее,
Переплавив в неземное
И певучее.

Это ее способ жить, возможность сопротивления злу и хаосу. Мир природной красоты – ее оплот, плот, на котором она спасается и помогает спастись другим. Это уже не стихотворчество – это житнетворчество.

Поэзия Ларисы Миллер открывает нам тайны нашей собственной запутанной жизни. Сколько бед мы несем в себе сами своей глухотой, слепотой к ближнему, сколько бед от непонимания себя и других.

Несовпадение, несовпадение...
О, как обширны земные владения,
О, как немислима здесь благодать.
Как ненавязчиво Божье радение,
Сколько причин безутешно рыдать.
Жаждешь общения – время немотное.
Жаждешь полета – погода нелетная.
Жаждешь ответа – глухая стена,
Воды стоячие, ряска болотная,
Да равнодушная чья-то спина.

* * *

Смертных можно ли стращать?
Их бы холить и прощать,
Потому что время мчится
И придется разлучиться,

И тоски не избежать.
Смертных можно ль обижать,
Изводить сердечной мукой
Перед вечною разлукой?

В сущности, это переключка с цветаевским: «Послушайте! Еще меня любите за то, что я умру!». Но если у Марины – эгоцентристская жалость к себе, то у Миллер – мучительная жалость к людям, к их детски неразумной слабости, потерянности, заброшенности, не ведающим, что творят, не сознающим, что жизнь неминуемо и жестоко воздаст им с лихвой за все их грехи и ошибки.

Мы еще и не живем,
И не начали.
Только контуры углем
Обозначили.
Мы как будто бы во сне
Тихо кружимся
И никак проснуться не
Удосужимся.
Нам отпущен воздух весь,
Дни отмерены,
Но как будто кем-то здесь
Мы потеряны.
Нас забыли под дождем –
Мы не пикнули,
Но как будто вечно ждем,
Чтоб окликнули.

Стихи Миллер – как этот оклик, на который невозможно не остановиться, не оглянуться, не взглядеться в себя и в тех, кто рядом, оклик, который рождает благодарный отклик в душе. Чувствуется, что стихи эти писал человек очень честный, мужественный, безгранично добрый к другим и сурово требовательный к себе, человек, внутренне свободный и удивительно здоровый душой, который находит слова, где так органично слились боль и надежда:

Нас годы предают,
Нас годы предают,
Нас юность предаёт,
Которой нету краше,
И птицы, и ручьи
Весенним днем поют
Не нашу благодать,
Парение не наше.
Лети же, юность, прочь,
Я не коснусь крыла
И не попомню зла
За то, что улетела.
Спасибо, что была,
Спасибо, что вольна –
И улетела прочь
Из моего предела.
И я учусь любить

Без крика «подожди!»,
Хоть уходящим вслед
С отчаяньем гляжу я.
И я учусь любить
Весенние дожди,
Что нынче воду льют
На мельницу чужую.

Что я знаю о Ларисе Миллер? Знаю, что родилась она в Москве в 1940 году на Большой Полянке, жила в Кривоколенном переулке, который воспела в своих стихах. Ее отец – литератор, погибший на войне, прекрасно знавший поэзию русского золотого века. Мать – известная журналистка, работавшая спецкором в журнале «Красноармеец» в военные и послевоенные годы, которая была лично знакома с Ахматовой, Маршакom, Светловым, А. Толстым, дарившими ей свои книги. Лариса Миллер выбрала себе в наставники поэтов века предшествующего. Ее поэтическая родословная – Баратынский, Тютчев, Фет.

К стихам она пришла не сразу. В детстве чуть было не сделала актерскую карьеру. В конце 40-х снимался фильм «Первоклассница», и Агния Барто, у которой Лариса с матерью часто бывали, посоветовала создателям картины пригласить девочку на главную роль. Но бабушка не отпустила: «Не дам калечить ребенку жизнь». В роли первоклассницы снялась Наташа Защипина, и Лариса Миллер каждый раз, когда смотрела этот фильм, заново переживала свою «трагедию» несбывшегося. После школы она поступила в ИНЯЗ, работала преподавателем английского языка. Есть у нее и еще одна профессия: с 80 года она преподает музыкальную гимнастику по системе русской танцовщицы Л. Алексеевой. Желание танцевать, двигаться – это у нее с детства.

Опять этот темп – злополучное presto
И шальные души срываются с места,
И мчатся, сшибаясь, во мгле и в пыли,
Как будто бы что-то завидев вдали,
Как будто вдали разрешение, развязка,
И миг прекратится безумная пляска.
Неужто весь этот порыв и угар
Всего лишь музыка – бемоль и бекар;
Неужто наступит покой, передышка
И ляжет на клавиши черная крышка?

И не случайно у нее в стихах «слово похоже на жест», как сказал какой-то поэт, а любимые слова – «легкость», «полет».

Высота берется с лету –
Не поможет ни на йоту,
Если ночи напролет
До измоту и до поту
Репетировать полет.
...Высота берется сразу.
Не успев закончить фразу
И земных не кончив дел,
Ощувив полета фазу,
Обнаружишь, что взлетел.

Когда она пишет, у нее возникает чувство, что она летит. А когда долго не пишет – чувствует, что оседает, тяжелеет. В ее стихах необычайная пластика, грация душевного жеста и слога слиты воедино.

Музыка, музыка, музыка, мука –
Древняя тайна рождения звука,
Что существует, в пространстве кочуя,
Мучая душу и душу врачую.
Музыка, музыка, форте, пиано –
Ты и бальзам, и открытая рана,
Промыслы Бога и происки черта...
Музыка, музыка, пьяно и форте...

Еще студенткой Миллер поняла, что то, к чему она себя готовит – не главное в ее жизни. Она мучила себя вопросом: «зачем живу?» Неужели она живет только для того, чтобы закончить институт и преподавать английский язык? Это нужно для того, чтобы зарабатывать деньги, но ведь должно быть что-то еще. Она, как Печорин, «чувствовала в себе силы необъятные», но никак не могла понять, на что их употребить. И только когда написала первые стихи, почувствовала, что это именно то, что она должна делать.

Она не могла не писать. Это была какая-то болезненная, почти физическая потребность. Сейчас ей даже странно вспоминать, как она жила тогда. Комната на Кропоткинской в коммуналке. На столе – кастрюля с супом, который муж Борис Альтшулер (известный ученый-физик, друг Сахарова) за неимением ничего другого ел на завтрак. Незастеленная постель, на которой лежала Лариса и пыталась что-то сочинять и записывать. Заходила соседка: «Ну нельзя же так, девочка! Хоть бы котлет нажарила и комнату убрала». Но она боялась потратить секунду драгоценного времени на что-то, кроме стихов. Без них мир терял свою таинственность и казался плоским и будничным.

Когда тону и падаю, не видя дня другого,
Хватаюсь за соломинку – за призрачное слово.
Шепчу слова, пишу слова – то слитно, то раздельно,
Как будто все, что названо, уже и не смертельно.
Как будто все, обретшее словесное обличье,
Уже и не страдание, а сказочка и притча.
И я спасусь не манною, летящей легче пуха,
А тем, что несказанное поведать хватит духу.

В 68 году родился первый сын. Свободного времени становилось все меньше, и Лариса буквально отвоевывала у жизни каждый час для стихов. Она выходила из дома в 6 утра и медленно шла по переулку в молочную, которая открывалась в 7, а до семи она была свободна. Этот предрассветный час был самым насыщенным и значительным временем жизни. Она шла, глядя на снующий вокруг фонарей снег, слушая голоса и шаги прохожих. И неизвестно откуда возникали стихи:

Ни горечь, ни восторг, ни гнев
И ни тепло прикосновений,
Лишь контуры домов, дерев,
Дорог, событий и явлений...

Она писала по несколько стихов в день. Это была ее панацея, ее пир во время чумы.

А ты в пути, а ты в бегах,
Ты переносишь на ногах
Любую боль и лихорадку,
И даже бездна в двух шагах
Есть повод вновь открыть тетрадку.

* * *

Хоть кол на голове теши,
Все улыбаешься в тиши.
Тебе – жестокие уроки,
А ты – рифмованные строки.

В начале 60-х Лариса узнала, что при Союзе писателей открылась студия молодых литераторов, и стала ее посещать. Попала в семинар к А. Тарковскому. Тот пришел в восторг от ее стихов. Написал ей огромное письмо, которое она всю жизнь хранила как дорогую реликвию. Он называл ее «чудо» и «прелесть». «У Вас уже есть все, – писал он в письме, – для того, чтобы задирать носик и не считаться ни с кем. Больше, чем в чье-нибудь, я верю в Ваше будущее... Я уверен, что русская поэзия должна будет гордиться Вами; только, ради Бога, не опускайте рук! Я верю в Вас и знаю, что Ваше будущее – не только как поэтессы, но и как поэта у Вас в кармане, вместе с носовым платком. Еще год работы – и слава обеспечена...»

Большая слава, обещанная Тарковским, к Ларисе Миллер так и не пришла. На мой взгляд, она сильно у нас недооценена. Да и время сейчас не таких поэтов. Но было признание М. Светлова, В. Соколова, Ю. Карабчиевского, Л. Озерова, многих критиков и читателей.

Было 12 книг стихов и прозы, многочисленные газетные и журнальные подборки. В 2000 году журнал «Новый мир» выдвинул Л. Миллер на Государственную премию.

Ее очень любил Борис Рыжий. Они переписывались по электронной почте. Лариса вспоминает о нем в интервью: « В переписке он был очень нежен, и мне страшно его не хватает... Это удивительно – у нас такая разница в возрасте, ведь ему было 26 лет. Я давно не встречала такой открытости и такой прямоты, искренности предельной, которой я верила абсолютно».

Я открыла для себя Ларису Миллер в 98 году, когда прочла ее книги «Заметки, записи, штрихи» и сборник «Между облаком и ямой». Все в них уже испещрено моими пометочками, галочками, переложено закладками. Это было потрясением. Мне хотелось читать ее стихи направо и налево, что я и делала. «Упоение заразительно», – как она пишет, и мне удалось заразить ее поэзией многих своих друзей и знакомых. Подготовила вечер Миллер в нашей библиотеке, и все были поражены тогда, насколько эти стихи про всех нас.

Я раньше не имела обыкновения откликаться на затронувшую чем-то книгу, тем более – Миллер, не представляя, что такому самодостаточному человеку это может быть нужно. Но вот прочла, как она впервые принесла стихи в «Юность», а там ей сказали, что «писать надо так, как будто бьете поддых», и она огорченно побрела «полосой неудач, полосой неудач вдоль ослепших окон заколдованных дач», как впервые она читала свои стихи в литстудии, и они остались незамеченными (боже, где у них были глаза и уши!), и мне показалось, что она, в сущности, незащищенный и ранимый человек, как и все мы, смертные, нуждающийся в словах понимания и поддержки. И я послала Ларисе Миллер

письмо, где написала все, что думала о ее поэзии и что она для меня значит. Послала ей и свои стихи. Через неделю где-то в десятом часу вечера раздался междугородний звонок.

– Это Наташа? Это Лариса Миллер говорит.

– Лариса Емельяновна?! – так и подскочила я. Я не ожидала ее звонка и от растерянности и волнения плохо запомнила, что она тогда говорила.

Поблагодарив за письмо, она сразу перешла к моим стихам, сказав, что сейчас перечислит те, что ей понравились. Я не сообразила взять в руки их список, чтобы отметить себе галочками, и, конечно, ничего не запомнила, кроме трех-четырех, таких, как «Пастернак не заехал к родителям...», «В стихах живу я в полный рост...», «Зову тебя, ау – кричу, алё...», «Школьная контрольная». Она перечисляла довольно долго (но и послала я, правда, немало), и я отметила, что она называет почти все, одобренные Кушнером, словно они сговорились. Добавила «ложку дегтя»: «А четверостишия мне понравились меньше». Расспрашивала о моих лекциях (я послала ей абонемент).

Я посетовала, что у меня нет записей стихов в ее исполнении, и Миллер тут же пообещала подарить мне свои диски и новые книги. «Когда кто-нибудь от Вас будет в Москве, я ему передам». По счастью, в Москве как раз в это время гостили наши друзья. Я тут же им перезвонила, и драгоценные дары вскоре уже были у меня. Лариса передала мне три компакт-диска своих стихов, две кассеты с песнями на ее стихи в исполнении московских бардов Галины Пуховой и Михаила Приходько (под аккомпанемент гитары и флейты) и четыре свои книги, которых у меня не было, причем в нескольких экземплярах. Два я подарила друзьям, а два передала в нашу Областную библиотеку. Так что теперь все желающие ознакомиться с творчеством Миллер смогут это сделать.

К посылке была приложена открыточка, которую Лариса написала уже в коридоре, узнав от друзей, что у меня скоро день рождения: «Дорогая Наталья Максимовна! Еще раз спасибо за письмо и стихи. Вы занимаетесь замечательным делом – ведете поэтические вечера. Вы отзывчивый и щедрый человек. Посылаю Вам свои книги, диски и кассеты. Поздравляю Вас с 8 марта и с днем рождения! Всего Вам самого лучшего. Лариса Миллер. 5.03.04».

Две недели я наслаждалась записями, жила и дышала ее стихами и песнями. Слушая их, я мысленно повторяла вслед за Тарковским: «Вы чудо и прелесть!» Боже, как мне хотелось туда, в ее тихий, безмятежный, гармоничный мир, где травы, тишина и рай, где строчки «забыли, что они слова», а стали небом, речкой, земляничной поляной, где все освещено светом ее души, ее тихой радости. Как заманчиво «умирать от праздности», «следить полет шмеля», «следить за бабочкой», жить созерцательно, неторопливо, плавно. Но у меня так не получается. «И вечный бой». А покой и счастье – только в те минуты, когда читаешь такие стихи.

А когда я стала читать ее автобиографическую прозу, то обнаружила столько переключек со своими собственными книжками, столько просто неправдоподобных совпадений во вкусах, взглядах, фактах биографии, что в этом чудилось нечто провиденциальное.

Вот она разочарованно пишет о новой Москве: «...снесли дом моего детства и сад с сиренью, куда я не раз приводила старшего сына. На их месте пролегла равномерно гудящая магистраль с нависшим над ней чугунным памятником. Неужели и такая Большая Полянка может стать для кого-то заповедной улицей детства? Так дома ли я, если на моих глазах умер город, который я любила?» Как это похоже по сути на то, что я пишу в своих «Призраках былого города».

Насколько сдержанна Миллер в стихах, настолько открыта и исповедальна она в своей прозе. («Так писать непрофессионально», – укорил ее когда-то Карабчиевский, но потом взял свои слова обратно и даже сам стал писать от первого лица). Она пишет о детстве, о том, что хочет его «удержать». И я в своем эссе «Детство мое, постой...» о том же: «Хочется сохранить, собрать по крупицам все, что осталось, спасти от всепоглощающей пасти забвения и небытия». У нас одни те же любимые поэты: Г.

Иванов, Ходасевич, Чичибабин, Рыжий, Кушнер (о всех них я читала в библиотеке лекции). И даже в письмах Кушнеру мы с ней совпали.

«Прочтя книгу Кушнера «Канва», – пишет Миллер, – я написала ему длинное письмо. Письмо писалось светлой июньской ночью и столь же вдохновенно, как стихи. Очнувшись, я увидела, что оно состоит из строк Кушнера и моих междометий. Письмо я все-таки отправила, чтобы куда-то деть эмоции. Слава Богу, Кушнер письма не получил, вовремя поменяв квартиру». В книге «Письмо в пустоту» на стр. 194-200 я пишу о том, как точно так же под влиянием порыва почти в бредовом состоянии отправила Кушнеру письмо. Правда, я оказалась счастливее: Кушнер его получил и даже ответил.

Поразительное совпадение с Петром Старчиком. Миллер пишет о его диссидентстве, аресте, а мы с Давидом тоже были с ним знакомы. Давид даже был у него несколько раз дома в Москве. В 1988 году мы приглашали в наш клуб Максима Кривошеева, исполнившего много песен Старчика, и я с тех пор часто на своих вечерах демонстрировала эти записи. Старчик, узнав об этом, так был растроган, что написал музыку на один из моих стихов, «Утоли моя печали». (Ноты опубликованы на форзаце моего сборника 94 года «В логове души»). Из книги Миллер я узнала, что Старчик написал песню на ее стихи с таким же названием, «Утоли моя печали» (стихи я, разумеется, не сравниваю).

Миллер много пишет об антисемитизме, от которого очень страдала и в детстве, и в студенчестве, и это тоже одна из моих наболевших тем, я пишу об этом в памфлете «Русофобия» («По горячим следам»), в книге «Звезда или хлеб?» («Пасынки России», «Призрак шовинизма», «Человек мира»), да и в этой книге тоже («Пятый пунктик»).

О невозможности уехать из этой страны: «Почему не уходишь, когда отпускают на волю?/ Почему не летишь, когда отперты все ворота?» И у меня: «Не дает мне уехать мой город,/ Насмерть Липками прилепив». «И заморозки здесь, и отморозки,/ за выживание вечные бои,/ но светятся застенчиво березки/ и за руки цепляются мои».

А ее изумительные эссе о собаках «О преимуществах хвоста перед копчиком»! У меня без этой темы не обходится ни одна книга. Словом, я испытала глубокое и счастливое чувство духовного и человеческого родства. И не удержалась, чтобы вместе с благодарным и восторженным письмом не послать Миллер несколько своих книжек прозы и публицистики. 17 апреля я отправила бандероль, а 23-го вечером она позвонила. На этот раз мы говорили довольно долго. Попытаюсь воспроизвести эту беседу (я ее записала тогда «по горячим следам»).

– Наташа? Здравствуйте. Это Лариса Миллер говорит. (Она не любила отчеств, представлялась только по имени. Я почувствовала это и не называла ее больше «Емельяновна», но и по имени называть не решалась. Старалась избегать прямых обращений).

– Я сегодня получила Вашу бандероль. Нам прямо домой принесли. Я уже кое-что прочла. Большое Вам спасибо.

Оказалось, что в тот же день она прочла «Русофобию», «Как я не стала телеведущей» и о Кековой. Говорила, что очень рада была встретить «такую независимость суждений». Что я написала о Кековой и Шварц то, что она и сама хотела написать.

– Я думала, что это только я так думаю, что, может быть, чего-то недопонимаю... Но я не воспринимаю ее стихи. У меня такое ощущение, что ей нечего сказать.

Спросила, какие газеты меня поддерживают, есть ли у меня литературный круг. Я ответила, что обо всем этом я пишу в своих книгах. Она пообещала все прочесть. «Сейчас мы уезжаем до 18 мая, а потом поедem на дачу, я возьму туда Ваши книги, там у меня будет много свободного времени».

Говорила, что ей очень понравились мои эссе (я жалела потом, что не спросила, какие). Хвалила стихотворение на тыльной стороне обложки книги «По горячим следам» («Ошалев от любви и обиды...»), назвав его «прекрасным», что меня смутило, так как я

его таким не считала и была очень удивлена, что именно его читали по радио России, выбрав из книги.

Поговорили о нелестной рецензии Цивунина в «Новом мире» (№ 3, 2004), я высказала свое несогласие с ней. (Не сказала бы, что эта критика ее особенно расстроила).

Я спросила, почему в «ЛГ» давно не встречаю ее заметок. Миллер ответила, что уже три года как не пишет прозу – ни эссе, ни статей, только стихи.

– Почему?

– Не знаю... Куда-то это ушло.

Я выразила надежду, что «это» вернется. Восхищенно отозвалась о ее прозе, о том, как мне все это близко и родственно. Она спросила, какие газеты и журналы я выписываю. Посоветовала покупать приложение к «Независимой» «Экслибрис». Недавно там была рецензия Т. Бек на ее стихи. (Я на другой же день ее выписала). Сообщила, что в следующем номере «Нового мира» будут ее новые стихи и в «ЛГ» тоже скоро выйдет подборка. Я пообещала, что непременно прочту. Еще она сказала:

– Хорошо, что Вы прислали мне книги с Вашими фотографиями. Я теперь могу Вас себе представить. Вы, оказывается, намного моложе меня.

Я ответила, что у поэтов возраста не бывает. Миллер спросила меня, часто ли я бываю в Москве. «Нет, сейчас совсем не бываю». И – уже в конце разговора:

– Я очень рада, что мы с Вами познакомились. Вы мне пишете, пожалуйста.

Это было самое дорогое для меня. Интонация, с которой она это сказала. И вообще этот разговор был мне очень дорог тем, что она говорила со мной чуть взволнованно и – как бы это сказать – почти, да не почти, а – на равных. От этого радостно ухало сердце. Мне вовсе не свойственны ни подобострастие, ни лесть, но Лариса Миллер была для меня не просто человек, поэт, но целый мир, который казался раньше таким запредельным, недосыгаемым, и вдруг материализовался в виде негромкого глуховатого женского голоса в трубке, участливо спрашивавшего меня о моей жизни – это не укладывалось в голове. «Не вмещаю, Господи, не вмещаю...»

А через два месяца Лариса Миллер снова мне позвонила. Было 12 июля, около двух часов дня. Она звонила по карточке, с дачи. Сказала, что уже почти все прочла и сейчас находится под впечатлением прочитанного.

– ... Ваших стихов и прозы. И то, как Вы ходили в больницу к мужу, и о животных... Все это меня глубоко трогает. Вы очень щедрый человек. Вы борец. Мне самой это не свойственно, но я перед Вами преклоняюсь.

Я молчала, потеряв дар речи.

– Вы меня слышите? Я звоню по карточке, у меня мало времени. Я сейчас отдыхаю на даче. А вы куда-нибудь поедете?

– Нет, у меня все болят. Мама, муж.

– Передайте привет Давиду! Он мне уже таким близким стал после Ваших рассказов.

Я спросила, где она сейчас публикуется, будет ли где ее подборка. Она ответила, что обещали в 11-м номере «Дружбы народов». Я похвасталась, что у меня тоже должна выйти подборка в журнале «Арзамас» в Нью-Йорке, тоже 11-м номере. (Так мне сказал Марк Митник по телефону, председатель жюри 13-го конкурса «Пушкинская лира», на котором я победила, заняв 2-е место).

Лариса оживленно переспросила, поздравила. Потом что-то еще о том, что ее тронули мои стихи и эссе, что я борец, что она будет их еще читать. Вот в общем и все.

После этого разговора я кинулась перечитывать свои книги, читая их уже как бы глазами Миллер. И многое в них теперь уже хотелось исправить, переписать. Потом взяла в руки ее сборники. И тут не хотелось изменить ни слова. Я читала и читала. Господи, как близко и созвучно мне все, что она пишет! И в то же время какую пропасть ощущаю между своими поэтическими возможностями и ее кристально ясным, строгим, чистым талантом. «А мне туда и не пробиться, откуда родом Вы и птица», – хотелось

перефразировать ее строку. Только теперь, кажется, и понимаю, как надо писать. Но – учусь у нее счастью благодарности – не ревновать, не завидовать, а светло любить «дожди, что воду льют на мельницу чужую». Тем более, что ее мельница для меня – отнюдь не чужая, а своя, больше, чем своя, и моя благодарность ей искренна и безмерна.

А вскоре я достала из ящика очередной номер «Литературки» с новой подборкой Ларисы Миллер. В одном из стихотворений она отвечала мне на стих, который я ей послала (« я поэт нетяжелого веса, но мне так тяжело...»):

И ежели твой незначителен вес,
Не надо спускаться на землю с небес.
На грешную землю не надо спускаться,
Не надо вовеки земного касаться,
А надо летать, и летать, и летать,
Глядеть, как стемнело, как будет светать...

«ПО ЗДЕШНЕМУ СЧАСТЬЮ СПЕЦИАЛИСТ»

(об Александре Кушнере)

Есть стихи, которые просто читаешь, и есть такие, с которыми живешь. С которыми можно, как выразился Бродский, «более-менее прожить жизнь». (Как писала Цветаева Пастернаку: «Я живу с твоей душою...») Стихи Александра Кушнера для меня как раз из таких. Я открыла его для себя в 1988 году, когда к нам в клуб по нашему с Давидом приглашению приехал дуэт «Верлен» (Вера Евушкина и Лена Фролова) со своей новой бардовской программой. Одна из песен была на стихи Кушнера, которая сразу чем-то зацепила и запомнилась. Она называлась «Письмо».

Человек привыкает
Ко всему, ко всему.
Каждый год получает
По письму, по письму.

Это в белом конверте
Ему пишет зима.
Обещанье бессмертья –
Содержанье письма.

Как красив ее почерк –
Не сказать никому.
Он читает листочек
И не верит ему.

Зимним холодом дышит
У реки, у пруда
И в ответ ей не пишет
Никогда, никогда...

Меня поразила глубокая философская мысль, облеченная в непритязательную форму. Природа пишет нам письма на своем языке, письма, обещающие бессмертие. Умеем ли мы их читать? Понимать ее язык? Чем отвечаем на эти письма зимы, весны, лета? Есть ли нам, чем ответить? У меня даже возникли тогда строчки, как бы в ответ кушнеровским:

Мне пишет природа волной на песке,
Чернилами рос на зеленом листке,
Размашистым почерком вьюги шальной
И азбукой Морзе капли хмельной.
Как яблоко падает в руки само,
По адресу сердца слетает письмо.
На небе бумажном – заката печать.
И стыдно, и страшно ему отвечать.

Одна из книг Кушнера так и называлась: «Письмо». То есть исповедь, признание, сообщение сердца – сердцу, способ доверительной связи. И стихи это название оправдывали. Одно из них меня просто околдовало. Я влюбилась в это стихотворение с первого взгляда, повторяла несколько дней кряду, как сомнамбула:

Конверт какой-то странный, странный,
Как будто даже самодельный,
И штемпель смазанный, туманный,
С пометкой давности недельной,
И марка странная, пустая,
Размытый образ захолустья:
Ни президента Уругвая,
Ни Темзы – так, какой-то кустик.
И буква к букве так теснятся,
Что почерк явно засекречен.
Внизу, как можно догадаться,
Обратный адрес не помечен.
Тихонько рву конверт по краю
И на листе бумаги плотном
С трудом по-русски разбираю
Слова в смятенье безотчетном.
«Мы здесь собрались кругом тесным
Тебя заверить в знак вниманья
В размытом нашем, повсеместном
Ослабленном существованье.
Когда ночами (бред какой-то!)
Воюет ветер с темным садом,
О всех не скажем – но с тобой-то,
Молчи, не вздрагивай, – мы рядом.
Не спи же, взглядывайся зорче,
Нас различай по одиночке».
И дальше почерк неразборчив,
Я пропускаю две-три строчки.
«Прощай! Чернила наши блеклы,
А почта наша ненадежна.
И так в саду листва намокла,
Что шага сделать невозможно».

Письмо-сновидение, письмо-призрак, что-то из области «дневных снов» (так называется одна из кушнеровских книжек). Кто-то неуловимый, ускользающий, как тень, как дух, посылает поэту биотоки своей любви, родства, понимания, хочет заверить, что они здесь, с ним, рядом – те, для кого он пишет, творит, живет. Да, они – «в размытом, ослабленном существованье», они разобщены, рассеяны в пространстве и времени, не видны постороннему взгляду, но они есть, и поэт сердцем чувствует их позывные, их переключку во вселенной. Все во мне кричало: «Это я! Я одна из тех неизвестных, кто Вам писал ниоткуда, и зима, обещавшая бессмертье, которой в ответ никто не пишет, это тоже я. Услышьте меня, различите, откликнитесь!»

Эти стихи так тронули меня, что я почувствовала настоятельную потребность ответить, ощутив себя одним из тех анонимных единомышленников поэта. Письмо получилось в стихах (привожу только его начало):

Пишу в смятенье безотчетном,
В пространство, в воздух законный,
Не удержавшись от полета
За Вами ласточкой с балкона.

Не знаю, где письмо отыщет –
В подпольном вашем комитете,
Там, где ветра Олимпа свищут,
На этом ли, на том ли свете?

О Муз небесных мафиози,
Мне Ваши песни стали сниться.
Пишу, дрожа, как на морозе,
Сообщница и ученица.

От строчек – аромат лаванды...
Я ими брежу, как Кассандра.
Ношу в себе, как контрабанду,
Евангелие от Александра.

Хотела послать анонимно, в духе того кушнеровского стихотворения, чтоб не разрушать ауру сновиденного, но желание, чтобы поэт смог нас «различать по одиночке» пересилило, и я сопровождала стихи письмом. Через месяц пришел ответ от поэта: «Дорогая Наташа, спасибо за стихи и письмо, воистину «и нам сочувствие дается, как нам дается благодать». Ваш живой и такой талантливый отклик на стихи дороже всех критических похвал... Дар понимания поэзии – редкий дар, и все-таки он встречается, и Ваше письмо – драгоценное тому подтверждение. Еще раз – спасибо!.. Ваш Александр Кушнер». А через какое-то время я прочла в его новой подборке стихотворение, от которого радостно екнуло сердце. Может быть, это самонадеянно, но мне показалось, что оно было навеяно тем моим спонтанным откликом:

Кому-то в помощь жизнь твоя.
Он вызывает ночью, где-то
Тебя из тьмы и забвения.
Благодари его за это.
И ты бы помощи просил,
Хоть слова доброго, хоть взгляда,

Да он тебя опередил.
Зато тебе кричать не надо!

Этого счастья мне хватило надолго. Год я не писала Кушнеру, упиваясь его письмом и персонально адресованными мне стихами (так мне хотелось думать). И вот снова «пригласительный билет на пир вручен» – его новая книга! Одно стихотворение совершенно меня потрясло:

В отчаянье или в беде, беде,
Кто б ни был ты, когда ты будешь в горе,
Знай: до тебя уже на сумрачной звезде
Я побывал, я стыл, я плакал в коридоре.

Чтоб не увидели, я отводил глаза.
Я признаюсь тебе в своих слезах, несчастный
Друг, кто бы ни был ты, чтоб знал ты: небеса
Уже испытаны на хриплый крик безгласный.

Не отзываются. Но видишь давний след?
Не первый ты прошел во мраке над обрывом.
Тропа проложена. Что, легче стало, нет?
Вожусь с тобой, самолюбивым.

Боже мой, ну откуда, думала я, у этого «поэта без биографии», благополучного во всех смыслах, «застегнутого на все пуговицы», – этот опыт страдания, пронзительного ощущения чужой боли, откуда этот взгляд «с печалью вековой», взгляд в самую сердцевину моей души? Это стихотворение вызвало у меня ответные строчки:

Здесь до меня он был. Он плакал в коридоре.
Мне музыка и боль души его слышна.
И, кажется, на треть укоротилось горе.
Ура, я не одна! Ура, я не одна!

Здесь до меня он был. И до сих пор он возле.
И лишь его тоской земля напоена.
Но что же мне сказать тому, кто будет после?
Увы, я не одна. Увы, я не одна...

Если Блоку «мешал» писать Лев Толстой, то мне стихи Кушнера отнюдь не «мешали», а напротив, заражали и вдохновляли, хотя, может быть, и было бы правильной «кончить полной немотой», как призывал Пастернак, который, кстати, тоже не кончил. Какой Божий подарок были для меня его стихи, какое лекарство, блаженство, утешение, праздник!

Я написала Кушнеру еще одно письмо, на которое он незамедлительно откликнулся. «Спасибо за дружеское письмо, я им очень тронут и взволнован, – писал он. – Будьте здоровы. И пишите стихи, а если захочется – присылайте их мне, буду рад и обязательно отвечу». «Если захочется...» Еще бы мне не хотелось! Если бы я дала себе волю, я бы на него обрушила водопад своих стихов, исповедей, вопросов. «Вот счастье – с тобой говорить, говорить...» Но – боялась обременить, отнять лишнюю минуту его драгоценного времени. Училась сдержанности у его петербургской музыки.

Дымок от папиросы
Да ветренный канал,
Чтоб злые наши слезы
Никто не увидал.

Мне мила и близка была его строгость, старомодность – в старинном, классическом смысле этого слова, дисциплина стиха, целомудренность чувства, его душевная экология и гигиена. Стихи, конечно, растут из сора, но его «сор» был удивительно чистым и опрятным. О Кушнере часто говорили и писали как о поэте петербургской школы, «застегнутом на все пуговицы». Но иногда пуговицы предательски распахивались: «Быть нелюбимым – Боже мой! Какое счастье – быть несчастным...» «Мне кажется, что жизнь прошла...» «Среди знакомых – ни одна не бросит в пламя денег пачку...» Аскет, чистоплюй. А в глубине души таился бесенок. И почему-то вспоминался стойкий оловянный солдатик, бросившийся из-за любви в огонь.

Я часто читала ему стихи «в воображении», как он сам – Пастернаку:

Читать Пастернаку – одно удовольствие!
Читал я стихи ему в воображении.
Во-первых, не страшно. В своем разглагольствовании
И сам он – дитя. И широк, как все гении.

Я читала, примеряя свои вирши на его классический вкус, и это порой заканчивалось для них плачевно. Его слово о моих стихах было не просто мнение, а приговор. Но все равно хотелось его услышать. Я изредка посылала Кушнеру стихи, прося судить по «гамбургскому счету». Ответы и оценки были сдержанно-благожелательными, иногда даже комплиментарными: «Вы, конечно, лирик. Женщине труднее, чем мужчине, писать лирические стихи – слишком просто вступить в колею, проложенную Ахматовой. Но Вам удастся быть самостоятельной». «Неделю провел в Москве на «форуме» молодых поэтов, вел семинар. К сожалению, талантливых поэтов очень мало... Ваши стихи мне понравились куда больше – даже сравнивать нельзя с тем, что приходилось читать в Москве». Я ломала голову над каждой подобной фразой, пытаюсь доискаться, что здесь от вежливости, а что от истины. Мне не давала покоя одна его стихотворная строчка: «Но на беду/ вежливость с детства была внушена мне». Эта «вежливость» стала моим кошмаром. Она мешала мне поверить до конца его словам, мешала поверить в себя.

Кушнер признавался, что не умеет и не любит писать письма. «Простите, что пишу и зачеркиваю случайно подвернувшиеся под руку слова, но, может быть, таким образом письмо сохраняет сбой и неловкости устной речи, – и возникает ощущение, что я говорю с Вами, а не пишу Вам, – письменную речь я недолюбиваю». «Эпистолярный жанр для меня труден; по-видимому, с годами теряешь способность сказать что-то важное и оригинальное, письмо оказывается набором штампов и банальностей. А может быть, стихи – это и есть письма, письма в никуда, безадресные...» Но его стихотворные «письма» были очень даже «адресные», они попадали точно по адресу – в самое сердце. Однако и «эпистолярные» его письма были мне очень дороги. И совершенно напрасно Кушнер «одергивал» себя, поймав на неудачном обороте или каких-то там «штампах и банальностях», – я ничего этого не видела, так как читала эти письма не как филолог-буквоед, а как ослепшая от счастья их получения, и каждая его строчка была для меня не грамматическим предложением, а нитью Ариадны, ведущей в волшебный мир творчества.

Я обещала Кушнеру не обижаться, если он не ответит, ибо его поэзия «так прекрасна сама по себе, что большего счастья не надо». (Как писал он в другом стихотворении: «Обнимаю тебя. Одиссей. Отвечать мне не надо»./ «Какое счастье – ждать письма по месяцам – и не дожждаться...») Но еще большее счастье – дожждаться! Каждое его письмо было для меня больше, чем письмо. Будто это не просто строчки, а некое

сцепление сил мироздания, таких, как Бог, природа, звезды, вечность. «Там не будет обычных отношений», – писал Кушнер в одном из стихотворений.

То есть там, где нам назначают встречи,
Эти встречи такую же дарят радость,
Как звучащая здесь в стихотворной речи
Окрыленность, – так можно сказать? Крылатость.

Эти строки были о другом, о потустороннем мире, но для меня они были и об этом тоже.

Я старалась сдерживать свои восторги и метафизические ассоциации в письмах, зная нелюбовь Кушнера к символизму с его «эксплуатацией высоких тем» и недоверие ко всякого рода «нутряному лиризму» с его эмоциональной расхристанностью и душевным анархизмом. Поэзия Кушнера не знает абстракций, это поэт точной мысли.

...Видишь, я рад перерывать,
Перетряхнуть наш словарь, выбирая
Определения. Господи, быть
Точным и пристальным – радость какая!

Он ищет математически точного, наиточнейшего слова, которое бы, как винт, вошло в нарезку мысли.

Черты случайные сотру.
Свою внимательность утворю.

Он действительно стирает случайные черты, выбирает лучшее, очищает, приводит в гармоническое равновесие.

И я усилием привычным
Вернуть стараюсь красоту
Домам и скверам безразличным
И пешеходам на мосту.

С предубеждением относясь к бурному выплеску чувств, романтическому туману, надрыву, Кушнер и в моих стихах отмечал как самое достойное похвалы – точность слова. «Главное, Вы в большинстве случаев точны, зорко видите вещи...» (Из письма от 23 окт. 2001 г.) «Понравилось стихотворение «Пастернак не заехал к родителям...» – в нем высказана точная мысль и по-человечески верное недоумение, которое делает эти стихи очень достоверными...» (31 мая 2002 г.) И там же: «Больше всего мне понравилось стихотворение «Неграмотно, неопытно живу...» – из газетной подборки. В нем Вам удалось найти наиболее точные, самые необходимые слова для передачи лирического чувства: «во что мне эта роскошь обойдется» – очень хорошо. И еще безусловная удача – второе стихотворение в «цветаевском» цикле («Всю жизнь напролет пролюбила не тех...» – Н. К.) – здесь тоже все слова верно найдены и нет ничего лишнего».

«Из присланных Вами стихов отметил как лучшее – «О сирень четырехстопная...» В нем Вы нашли точные слова, эту сирень видишь, это наиболее оригинальное и неожиданное Ваше стихотворение...» (Из письма от 4 апреля 2004 г.)

«От тебя и хула – похвала», – писала Цветаева. Похвала Кушнера для меня очень много значила. Окрыляла, вдохновляла, вливала новые силы. Казалось, я теперь все сумею, все смогу. Но проходило какое-то время, и наркоз тех прежних лестных для меня слов уже переставал действовать. Начинал точить червь сомнения, что, может быть, это

всего лишь «жалкий, засохший листочек, показавшийся бабочкою под рукой», как писал он в одном из своих стихотворений. И я снова посылала ему свои стихи, и не могла ни есть, ни спать спокойно, пока не получала от моего Вожатого письменное подтверждение своего поэтического существования.

В одном из писем Кушнер заметил: «Мне кажется, Вы могли бы послать Ваши стихи в какой-нибудь московский журнал («Новый мир», «Знамя», альманах «Арион» и т. п.) Если бы я работал в редакции, я был бы рад таким стихам и постарался бы их напечатать». Эта фраза вызвала у меня горькую усмешку. Я посылала, и не раз, но не могла добиться, чтобы их там хотя бы прочитали. По телефону отвечали одно и то же: «Позвоните через недельку». После третьего-четвертого звонка попытки обычно прекращала. Многие недоумевали: почему я не попрошу Кушнера о содействии? Ведь он входит в состав многих жюри, редакционных коллегий, что ему стоит замолвить словечко... Но одна мысль о том, что он может подумать о какой-то меркантильной цели моего знакомства с ним, приводила в ужас. Я не могла «кроить панталоны из холста Рафаэля», по выражению Тютчева. Кушнер был для меня тот самый холст, которым надлежит лишь любоваться, и «кроить» из которого что-либо было бы кощунственно и преступно. Для меня гораздо важнее были его оценки, советы, которые очень помогали в работе над стихом.

Все знание о стихах – в руках пяти-шести,
Быть может, десяти людей на этом свете.
В ладонях берегут, несут его в горсти.
Вот мафия, и я в подпольном комитете
Как будто состою.

Как-то я поделилась с Кушнером одним литературным наблюдением. Я тогда прочла поэму И. Елагина «Нью-Йорк – Питсбург», и меня поразило, что, оказывается, стихи можно писать не только по какому-то весоному внутреннему поводу, когда уже – «не могу молчать», а просто так – описывать, что видишь, что делаешь, жизнь вокруг себя, друзей, знакомых, и это тем не менее поэзия. Меня привлекла моцартианская легкость, пушкинская непринужденность, с какой это делалось Елагиным, и показалось (признак настоящих стихов), что я тоже так смогу. И вот что у меня получилось (экспромт в чистом виде):

Попробую вести дневник в стихах.
Сегодня день был прожит мной – не ах!
С собакою гуляла до аптеки,
Прокручивая строчки в голове,
Пыталась дозвониться до ТВ
И суп мясной варила – в кои веки!

Давид ушел платить за свет, за газ,
Я накрутила волосы как раз,
А после, холодильник разморозив,
Засела за Елагина стихи,
Всей прочей чепухи и шелухи
Ненужный сор решительно отбросив.

Стихи растут из сора, спору нет,
Но сорняки задушат первоцвет,
Когда их не пропалывать усердно.

Звонил Амусин – не пойму к чему.
Орал, что сдохнуть не дают ему,
Вопил, ругался – Боже милосердный!

Включила ящик, новости узнав.
Суп убежал на волю – мать честна!
Потом звонила Вера от Марины,
Спросила, почему письма не шлю,
Та просит передать: «я их люблю»,–
Зачем не пишем ей давно – корила.

А я письмо отправила вчера...
Протерла пол, плитку et cetera.
На что уходит жизнь – о блин! – поэта.
И не дождусь, как призовет в полон
Меня к священной жертве Аполлон
Черкать блокнот до утреннего света.

Вообще-то такие стихи можно, конечно, писать километрами. Но стоит ли? Или просто прибегать к этому способу для тренировки пера, чтобы не потерять форму? Со всеми этими сомнениями и вопросами я обратилась к своему «крестному отцу», поэтическому «мафиози». И он мне ответил: «Что касается «экспромта», то первые две строфы хороши, а дальше все-таки пошло словоговорение, – следовательно, плыть по течению в стихах, наверное, не стоит. Мне больше нравятся Ваши «обдуманнные», «выстроенные», если так можно сказать, стихи...»

Кушнер был для меня непререкаемый авторитет, его советам я готова была следовать слепо, настолько доверяла его уму и вкусу. Но были случаи, когда хотелось и возразить. Так, в одном его стихотворении меня уколола строчка: «У счастливой любви не бывает стихов». Я посмела не согласиться с этим утверждением, и сделала это в стихах:

У счастливой любви не бывает стихов?
Как я счастлива Вас опровергнуть!
У меня их – как в поле цветов, как грехов,
Всяких-разных, пусть даже и скверных.

Фотовспышками строчек ловящих момент,
Передать его прелесть бессильных...
Вспоминается кстати любимый фрагмент
Из любимого старого фильма.

Там девчонка кружилась рассветной порой,
И струилась вода дождевая.
– А ведь так не бывает! – кричал ей герой.
– Нет, бывает! – смеялась. – Бывает!

Кушнер откликнулся в следующем письме: «Наиболее удачным стихотворением мне показалось последнее – с вопросом: «У счастливой любви не бывает стихов?» Я с Вами абсолютно согласен: «Бывает! Бывает!»

Кушнер сам говорит в каком-то интервью, что чужие стихи для поэта – это чаще всего повод для поэтического возражения. И нередко прибегает к этому приему:

Скучно, Гоголь, жить на этом свете!
Но повеет медом иногда
От пушистых зонтичных соцветий!
Чудно жить на свете, господа!

Кушнер утверждал в одной из статей, что поэзию понимает не более чем 1,5% населения. В провинции этот процент, по-видимому, еще меньше. Найти подходящую для себя литературную среду – большая проблема. Кушнер, понимая, что он мне ее в какой-то степени заменяет, сочувственно писал: «Догадываюсь, что в Саратове живется нелегко, наверное, Вам не хватает литературной среды, в которой Вы, конечно, нуждаетесь и безусловно ее заслуживаете» (из письма от 31 авг. 2001 г.) «Конечно, если бы Вы жили в Москве, Вам было бы значительно легче: без литературной среды писать стихи очень трудно, почти невозможно. Я от всей души желаю Вам успеха и стойкости...» (из письма от 4 апреля 2004 г.)

Да, думала я, а если бы я жила в Петербурге, мне было бы еще «легче»: я могла бы ходить в литстудию, которую вел Кушнер с 1973 года. Дважды в месяц там собирается круг друзей, людей разных профессий, которых объединяет любовь к стихам. Читают стихи друг другу, обсуждают их по «гамбургскому счету», спорят о поэзии. Кушнер говорит, что ему самому это многое дает. Занятия проходят на Набережной Макарова в книжном центре, что рядом с Пушкинским домом. Как бы хотелось хоть на одном побывать!

А. Кушнер – один из культурнейших наших поэтов. Ф. Искандер назвал его «поэтом окультуренного человеком мира». Филолог по выучке и призванию, он брал в спутники культуру, считал ее частью своей жизни. Раньше это называлось «книжность», «литературность» или «вторичность». В 60-е годы Кушнера клеймили за это в прессе, высмеивали в журнале «Крокодил». Сейчас, слава Богу, критика поуменьшилась.

В последнее время Кушнер часто бывает за границей. Им написан цикл стихов об Италии, Египте. В письме от 23 октября 2001 года он делился впечатлениями: «Две недели назад вернулся из поездки на Крит. Всю жизнь мечтал увидеть этот остров (миф о Тезее и Ариадне – один из самых любимых) – и вот эта детская мечта сбылась. Мы с женой провели две недели у моря, на фоне гор, в городке Платаньяс, побывали в нескольких других городах с остатками венецианских построек (несколько веков Критом владела Венеция)...»

Бродский назвал Кушнера «горацианским поэтом», продолжателем литературной традиции Квинта Горация Флакка. В его стихи запросто заходят Аристотель и Платон, Цезарь и Август.

Цезарь, Август, Тиберий, Калигула, Клавдий, Нерон...
Сам собой этот перечень лег в стихотворную строчку.

* * *

Какой, Октавия, сегодня ветер сильный!
Судьбу несчастную и злую смерть твою
Мне куст истерзанный напоминает пыльный,
Хоть я и делаю вид, что не узнаю.

Как будто Тацита читала эта крона,
И вот заламывает ветви в вышине
Так, словно статую живой жены Нерона
Свалить приказано и утопить в вине.

В своей книге «Волна и камень», в многочисленных статьях Кушнер отстаивает это право художника на книжность, литературность, цитатность. Право на переключку в стихах с предшественниками и современниками (несмотря на порицательные отзывы некоторых невежественных критиков).

...Реже, реже ступай, конькобежец...
Век прошел – и чужую строку,
Как перчатку, под шорох и скрежет
Поднимаю на скользком бегу.

...Между прочим – и это открытие
веселит, – из чужого стиха
забрав с конькобежною прытью:
все в родстве-воровстве, нет греха!

Кушнер убежден, что без культуры, без чтения нет поэта. В одном из писем он, жалуясь на малоталантливость авторов, писал: «Большинство начинающих – «прирожденные нечитатели», как говорил Мандельштам. Нечитатели – следовательно, и свои стихи пишут плохо». Он видел в этом прямую зависимость.

Однажды я увидела в Доме книги только что вышедшую в Санкт-Петербургском издательстве «Искусство-СПб» книгу Лидии Гинзбург «Записные книжки. Воспоминания. Эссе» с предисловием Кушнера (ее любимого ученика) – огромный фолиант в 750 страниц с астрономической ценой на обложке. Я долго облизывалась на нее и в конце концов решила на покупку – снова живем! – причем оказалась единственной, кто отважился выложить за нее сумму в 440 рублей. Когда я выбивала чек в кассе, по магазину прокатился вздох изумления продавцов: «Купи-и-или?!» Никто этого понять был не в состоянии. Но мне такие книги были, как воздух, необходимы. Я написала потом об этом Кушнеру. Он отозвался: «Мне отрадно было узнать, что книга Л. Я. Гинзбург продается в Саратове, но, конечно, цена совершенно возмутительная, и я поражаюсь, как Вы решились ее купить. Зато не сомневаюсь, что она доставит Вам огромное удовольствие». В письмах наряду с другими пожеланиями он желал мне «прекрасного чтения», «наполненности жизни приятными для Вас людьми, книгами, событиями».

Меня всегда привлекала естественность кушнеровских стихов, насыщенность жизненными реалиями и многообразными впечатлениями. Он – счастливый человек. Поэт счастья. И это самое волшебное в нем.

Сюда – цветы, тюльпан и мак.
Бокал с вином – туда.
Скажи, ты счастлив? – Нет. – А так?
Почти. – А так? – О да!

Счастливых поэтов в России немного. Ну, Кузмин, ну, Пастернак. Все больше трагические. А Кушнер провозгласил себя «специалистом по счастью». Не слабо. Но, читая его стихи, убеждаешься в этом. Их читаешь как учебник счастья.

Посчастливилось плыть по Оке, Оке
На речном пароходе сквозь ночь, сквозь ночь,
И, представь себе, пели по всей реке
Соловьи, как в любимых стихах точь-в-точь.

Я не знал, что такое возможно, – мне
Представлялся фантазией до тех пор,
Поэтическим вымыслом, не вполне
Адекватным реальности, птичий хор.

До тех пор, но, наверное, с той поры,
Испытав потрясенье, поверил я,
Что иные, нездешние есть миры,
Что иные, загробные есть края.

И, сказать ли, еще из густых кустов
Ивняка, окаймлявших речной песок,
Долетали до слуха обрывки слов,
Женский смех, приглушенный мужской басок.

То есть голос мужской был, как мрак, басист,
И таинственней был женский смех, чем днем,
И, по здешнему счастью специалист,
Лучше ангелов я разбирался в нем.

А какой это был, я не помню, год,
И кого я в разлуке хотел забыть?
Назывался ли как-нибудь пароход,
«Композитором Скрябиным», может быть?

И на палубе, верно, была скамья,
И попутчики были – не помню их,
Только путь этот странный от соловья
К соловью, и сверканье зарниц ночных!

В чем же секрет этого умения быть счастливым? Он в непрестанном диалоге с мгновеньем. Когда нет рядом людей, Кушнер говорит с травинкой, соломинкой, цветком, звездой, с паучком на балконе, с мошкаркой под ярким фонарем. И нам хочется быть рядом с поэтом, чтобы и нам научиться быть не одинокими. Так же восхищаться, радоваться, благодарить, тянуться к свету с доверчивостью ребенка. Почти все его стихи – это молитва благодарения. Как бы полемизируя с Лермонтовым по поводу его саркастических строчек «За все, за все Тебя благодарю я...», Кушнер благодарит Его за неповторимое счастье жизни:

За что? За ночь. За яркий по контрасту
С ней белый день и тополь за углом,
За холода, как помните, за астму
Военных астр, за разоренный дом.
Какой предлог! За мглу сырых лужаек,
За отучивший жаловаться нас
Свинцовый век, за четырех хозяек,
За их глаза, за то, что Бог не спас.

За все, за все... Друзья не виноваты,
Что выбираем мы их второпях.
За тяжелых бед громовые раскаты,
За шкафчик твой, что глаженьем пропах,

За тот смешок в минуту жизни злую,
За все, чем я обманут в жизни был:
За медь дубов древесную сырую
И за листву чугунную перил.

«Вы поэт нравственно здоровых ориентиров», – сказала Кушнеру в интервью Т. Бек. И он с улыбкой заметил, что назвать так себя ему мешает чувство юмора. Но, кроме смеха, это действительно так. И почему этого нужно стесняться? Когда «смеркается время» («где разводы его, бархатистая ткань и канва?»), я учусь у Кушнера искать скрытых бабочек радости («может быть, и любовь где-то здесь, только в сложенном виде?») Мне кажется, такие стихи нужно выписывать (прописывать?) людям как рецепты от всех несчастий и болезней души.

«Не жизни жаль с томительным дыханьем, – что жизнь и смерть! – а жаль того огня...» – писал его любимый Фет. А Кушнеру жаль жизни, того, как она проходит, ускользает. Он не хочет «брать тоном выше».

И за словом, на два тона
Взятым выше – смрад обмана...

Ему жалко «не этого пира и пара, а жизни – до слез». Той самой, за которую все был готов отдать Мандельштам («Я все отдам за жизнь, мне так нужна забота./ И спичка серная меня б согреть могла»), жаль ее «бестолкового трамвайного тепла». А «того огня, что в ночь идет и плачет, уходя», не жаль, ибо чем кратковременнее он, тем прекрасней, а вечный был бы, наверное, скучен.

Огонь, несущийся во тьму,
Еще прекрасней потому,
Что невозвратно.

И в то же время Кушнер не верит в конечность этой жизни. «Не бойся ничего: нет смерти, хоть убей». Он отгоняет страшные мысли:

Да что ж бояться так загробной пустоты?
Кто жили – умерли, и чем же лучше ты?

То же самоугоуваривание, самогипноз, как у Миллер: «Жить легко» – говорит она, «жить радостно, сладко, чудно», – говорит он. «Жизнь прекрасна, прекрасна, прекрасна, ужасна, прекрасна». «О, до чего ж эта жизнь хороша и сладка...» Жизнепоклонник, он не жалуется «жизнененавистников»:

Жизнь бывает такой отвратительной,
Что об этом умней промолчать.
И без нас есть большие любители
Черной краской ее рисовать,
Словно в детстве их чем-то обидели,
Не любили отец их и мать.

Кушнер не приемлет трагизм, жертвенность, мысли о смерти, его душа сопротивляется, не хочет с этим примириться.

Летит на яркий свет мучительное слово,
Добытое в огне и горечи земной.
Жить надо... – в дневнике есть запись у Толстого, –
Как если б умирал ребенок за стеной.
Жить надо на краю... чего? Беды, обрыва,
Отчаянья, любви, все время этот край
Держа перед собой. Мучительно, пылливо
Жить надо... Не могу так жить, не принуждай!

Жесту отчаянья, жесту, которым «Творцу возвращают билет», Кушнер противопоставляет другой, созидающий, восстанавливающий связи человека с миром, души с Богом. И это требует не меньшего мужества.

Ты кто, трибун, колосс,
Оратор, инвалид,
Как остеохондроз
Твой и радикулит?
Устал держать, небось,
Копье свое и щит?

Устал таскать бруски,
Железный сухостой, –
Распасться на куски,
Стать мраморной трухой,
Сном завалить виски,
Кустами и травой.

Но держатся копьем,
Но держатся щитом
И небо с воробьем,
И сад, и смысл, и дом.
Заснуть смертельным сном –
И все пойдет на слом.

Существовать, несмотря на подстерегающие страдания – это редкая удача, выпавшая на долю человека, пусть она и не может длиться вечно. «Нам пригласительный билет на пир вручен, нас просит облако дожить до юбилея». Но понимание это дается долгим и трудным опытом.

Смысл жизни – в жизни, в ней самой,
В листве, с ее подвижной тьмой,
Что нашей смуте неподвластна,
В волненье, в пенье за стеной.
Но это в юности неясно.
Лет двадцать пять должно пройти,
Душа, цепляясь по пути
За все, что висилось и висло,
Цвело и никло, дорости
Сумеет, нехотя, до смысла.

Так медленно, недоверчиво, отвлекаемый трудностями и горем, «нехотя» учится человек радости бытия. По Кушнеру, жизнь прекрасна, сам факт жизни уже чудесен. «Обычной жизнью названное чудо».

Эта тень так прекрасна сама по себе под кустом
Волоокой сирени, что большего счастья не надо.
Куст высок, и на столик ложится пятно за пятном.
Ах, какая пятнистая, в мелких заплатках, прохлада!

Круглый мраморный столик не лед ли сумел расколоть,
И как будто изглодана зимнею стужей окружность.
Эта тень так прекрасна сама по себе, что Господь
Устранился бы, верно, свою ощущая ненужность.

Кушнер живет настоящим. «Аналогий с прошлым веком не хочу как с прошлым снегом», – пишет он. В противовес всем анафемам нынешнему веку он заявляет: «Времена не выбирают. В них живут и умирают». И в прошлых веках было много дурного и страшного: ужасы революций, истребительных войн и концлагерей, эпидемии чумы и проказы, голод и холод. Сколько людей было погублено и замучено в прошлом веке, любой из них охотно поменялся бы с нами судьбой. Нам повезло уже в том, что мы живем.

На Земле – глубокие сомненья,
Все глядит в тысячелетний мрак.
Странный миг. И все-таки везенье.
Ни за что везенье, просто так!

Надо ценить жизнь – кричит каждая его строчка, – ценить каждый ее миг. Мужество и мудрость не в том, чтобы вернуть Творцу билет, а в том, чтобы сделать жизнь интересной и радостной, реализовать в ней себя. Это трудно, особенно в России, где, кроме метафизической бездны, тебя подстерегают на каждом шагу вполне реальные пропасти и провалы, колдобины и катастрофы, где даже безмятежный сон на чистой простыне в собственном доме еще недавно был великой роскошью.

И если спишь на чистой простыне,
И если свеж и тверд пододеяльник,
И если спишь, и если в тишине
И в темноте, и сам себе начальник,
И если ночь, как сказано, нежна,
И если спишь, и если дверь входную
Закрыл на ключ, и если не слышна
Чужая речь, и музыка ночную
Не соблазняет счастьем тишину,
И не срывают с криком одеяло,
И если спишь, и если к полотну
Припав щекой, с подтеками крахмала,
С крахмальной складкой, вдавленной в висок, –
Под утюгом так высохла, на солнце? –
И если пальцев белый табунок
На простыне доверчиво пасется,
И не трясут за теплое плечо,
Не подступают с окриком и лаем,

И если спишь – чего тебе еще?
Чего еще? Мы большего не знаем.

Двадцатый век принес человеку неслыханные страдания, но и в этих испытаниях научил его дорожить жизнью, счастьем: начинаешь ценить то, что вырывают у тебя из рук. Поэтому сейчас «стыдно быть несчастливым», как говорил А. Володин. «Несчастны только глупцы и животные», – к пониманию этой мудрости пришел в своей «каторжной норе» декабрист М. Лунин. «Нет в жизни счастья» – это формулировка уголовников, считает Кушнер, и утверждать то же самое в стихах – значит соглашаться с ними. Жизнь не вечна, но и страдание преходяще, отчаянье – пройдет, боль – отпустит, надо лишь дожидаться этого праздника души.

Мне кажется, что жизнь прошла.
Остались частности, детали.
Уже сметают со стола
И чашки с блюдцами убрали.
Мне кажется, что жизнь прошла.
Остались странности, повторы.
Рука на сгибе затекла,
Узоры эти, разговоры...

Мне кажется, что жизнь прошла.
Уже казалось так когда-то,
Но дверь раскрылась – то была
К знакомым гостя – стало взгляда
Не отвести и не поднять;
Беседа дрогнула, запнулась,
Потом настроилась опять,
Уже при ней, – и жизнь вернулась.

Вопреки сложившейся традиции лирики Кушнер пишет о счастливой любви. Когда в разговоре с ним Бродский посетовал, что его одолевают письмами поклонницы, и спросил, не пишут ли Кушнеру такие письма, тот ответил: «Нет. По моим стихам видно, что я люблю свою жену». С женой ему повезло. Это Елена Невзглядова, филолог, она тоже любит стихи и пишет о них. Ее научные работы об интонационной теории стиха, опубликованные в научных журналах, стали событием в отечественном литературоведении. Они женаты уже больше тридцати лет, у них взрослый сын, но стихи Кушнера, посвященные жене, по-прежнему дышат юношеским восторгом и первозданностью чувства:

Я и сегодня люблю тебя так,
Как я любил тебя в восьмидесятом...

* * *

Какое счастье, благодать
Ложиться, укрываться,
С тобою рядом засыпать,
С тобою просыпаться!

...Всю ночь в наш сон ломился гром,
Всю ночь он ждал ответа:
Какое счастье – сон вдвоем,
Кто нам позволил это?

* * *

Вот счастье – с тобой говорить, говорить, говорить!
Вот радость – весь вечер, и вкрадчивой ночью, и ночью.
О, как она тянется, звездная тонкая нить,
Прошив эту тьму, эту яму волшебную, волчью!

До ближней звезды и за год не доедешь! Вдвоем
В медвежьем углу глуховатой Вселенной очнуться
В заставленной комнате с креслом и круглым столом.
О жизни. О смерти. О том, что могли разминуться.

Могли зазеваться. Подумаешь, век или два!
Могли б заглядеться на что-нибудь, попросту сбиться
С заветного счета. О радость, ты здесь, ты жива.
О, нацеловаться! А главное, наговориться!

Его счастье кажется таким безмятежным, безоблачным, таким... ветхозаветным, что ли. Как он не боится прогневать богов, вызвать их зависть? Но поэту покровительствует свой бог, «бог семейных удовольствий, мирных сенок и торжеств». («Тихо мальчика погладим, друг на друга поглядим».) Идиллия. Неужто такое возможно в наше время?

Но любовь эта тревожна. Счастливая любовь, как всякое счастье и красота, конечно, они принадлежат миру, которому присущи опасности, трудности и противоречия. Это чувство то просвечивает сквозь ткань стихов, то прямо в них названо:

Страх и трепет, страх и трепет, страх
За того, кто дорог нам и мил.
Странно жить, с улыбкой на устах,
Среди белых, среди темных крыл.

С самой жаркой, кровной стороны,
Уязвимо-близкой, дорогой –
Как мы жалки, не защищены,
Что за счастье, вечный страх какой!

...И задобрить пробую беду,
И, пугаясь тени, как во сне,
Сам ищу в потемках руку ту,
Что из мрака тянется ко мне.

Его стихи – о счастье жизни и о неутрачивающей за него тревоге. В них нерасторжимая связь жизнеутверждающего и трагического.

С той стороны любви, с той стороны смертельной
Тоски мерещится совсем другой узор:
Не этот гибельный, а словно акварельный,
Легко и весело бегущий на простор.

О, боль сердечная, на миг яви изнанку,
Как тополь с вывернутой на ветру листвою,
Как плащ распахнутый, как край полы, беглянку
Вдруг вынуждающий прижать пальто рукой.

Любовь, даже счастливая, это всегда – боль. Насколько проще, казалось бы, не зная ее, живущим налегке, свободно.

Если б жить, никого не любя!
Плащ – товарищ, другого – не надо.
Он от ветра укроет тебя,
Прорезиненной тканью скрипя,
От дождя и пытливого взгляда.

Тот свободен, кто так одинок.
Что ему телефонный звонок?
Он как хвост не трясется овечий.
Сто дверей перед ним, сто дорог,
Вавилонская башня наречий.

Где я? Кто меня сделал таким, –
Страх за ближнего, дрожь и смятенье, –
Суеверным, пугливым, как дым,
По пригоркам ползущим ночным,
Обвивающим сны и виденья?

Боже мой! Никого не любить!
Мостовыми крутыми бродить.
Не равны ли все вещи на свете?
Подвернувшийся куст теревить:
Что кудряшки, что веточки эти.

Но душа моя в рабстве своем
С каждым часом теплей, с каждым днем,
С каждой болью сердечной и страхом,
И когда-нибудь станет огнем,
И сгорит, и взвьется над прахом!

Недавно я, роюсь в библиотечных каталогах в поисках литературы о Кушнере, натолкнулась на одну диссертацию о его творчестве некоего Д. Б. Пэна, научного сотрудника Ростовского университета. Она меня очень позабавила. Не удержусь, чтобы не привести небольшой фрагмент.

«Анализ лирического героя А. Кушнера

ДОСУГ. Подлинной жизнью кушнеровский герой живет в свободное от работы время, что естественно для человека, не находящего себя в отведенном ему обществом труде. Свободное же время

современного горожанина ограничивается узкими рамками отпусков, выходных дней, праздников, да нескольких часов в сутки... ПРАЗДНИКИ. Скромные семейные торжества. Они изредка упоминаются, но не оказываются в центре лирических исповедей, чего нельзя сказать о каждодневных свободных часах, посвященных друзьям, прогулкам, простым городским развлечениям... СОН. Пожалуй, больше прогулок любит поэт поспать. И это очень естественно. Эмоциональная, нервная натура, вынужденная существовать не в очень для нее благоприятной среде, должна погружаться в целебное забытие. Физиологически сон – это реакция на утомление, в том числе и социальной действительностью. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. Они незамысловаты. Досуг подчеркнуто интеллектуализирован: популярные лекции, книги, шашки. Из искусств – предпочтительней живопись, а театр вызывает скуку. Из средств массовой информации – газеты...»

Завершает всю эту мутотень многозначительная фраза: «Так художественно-социологическая информация оказывается сложно взаимосвязанной с художественно-психологической, содержание – с поэтикой». Классический пример проверки гармонии алгеброй. Впрочем, даже алгеброй эту абракадабру не назовешь. А вот что пишет этот автор о «теме любви в творчестве поэта»:

«Молодой поэт относился к любви с юношеским скепсисом: «Бог с ней, с любовью»,– говорил он. Бог с ней. И все.

«Первое впечатление» вышло, когда Кушнеру было 26 лет, «Ночной дозор» – когда исполнилось тридцать. Пушкин в 26 лет пишет «Сожженное письмо», «Мой талисман», а в 30 – «На холмах Грузии», «Я Вас любил»; Лермонтов в 26 пишет «Мне грустно, потому что я тебя люблю», Фет сочинит в 30 «Шепот, робкое дыханье...» Трудно представить молодую поэзию без любви, без сильного эротического чувства, а если без любви и эротического чувства, то хотя бы без сладкого томления души.

Строгий ленинградец не знал любви. Он склонялся над микроскопом, разглядывал старинные рисунки, стремился постичь душу обыденных вещей. Знал тоску, дружбу, но любви не знал... Только перед финалом второй книги поэт приведет своего героя к любви:

Октябрь. Среди полян и просек
Стоят туманы и дожди.
Уже взаимности не просит
Любовь, лишь прячется в груди.
И мы, спокойны и печальны,
В лесах гуляем, не слышны.
И наши маленькие тайны
Одной большой окружены.

Здесь нет никакого чувственного огня. Спокойствие и печаль. Холод и некоторая анемичность. Любовь эта, как пишет А. Кушнер, не просит взаимности. Но может ли любовь не просить взаимности? Естественно, она просит ее...»

И так все 60 страниц текста. Меня передергивало, когда я читала эту безапелляционную глупость. Работа, между прочим, печаталась «по решению редакционной комиссии по филологическим наукам РИСО РГУ», а в аннотации сказано: «В работе впервые в советском литературоведении исследуется творчество видного современного поэта А. Кушнера. Предлагается оригинальная концепция поэзии литературоведческого эссе»... Автор так по-школярски старателен, дотошен, зануден в своем «разборе», что невольно теряешься, думая, – ну как объяснить такому, что его на пушечный выстрел нельзя подпускать к поэзии, что любое его прикосновение к этой тонкой материи – как тронуть за крыло бабочку, как «музыку – руками» – убийственно для нее, все разрушает, приземляет, упрощает, опошляет. Зачем нужны такие работы? По моему, они не только никому не нужны, они вредны. Прочтя такой опус, вряд ли кто захочет открыть книги поэта.

А любовь «строгий ленинградец» знал, и не только взаимную, но и «несчастную», до того, как встретился с Еленой. И эти стихи – самые пронзительные в его сборниках. Как Пэн умудрился их не заметить? Не понять?

Прощай, любовь!
Прощай, любовь, была ты мукой.
Платочек белый приготовь
Перед разлукой
И выутюжь, и скомкай вновь.

... Твоей руки,
Твоей руки рукой коснуться
Казалось счастьем, вопреки
Всем сексуальным революциям.
Прощай. Мы станем старики.

У нас в стране.
У нас в стране при всех обидах
То хорошо, что ветвь в окне,
И вздох, и выдох,
И боль, и просто жизнь – в цене.

А нам с тобой,
А нам с тобой вдвоем дышалось
Вольней, и общею судьбой
Вся эта даль и ширь казалась –
Не только чай и час ночной.

Отныне – врозь.
Припоминаю шаг твой встречный
И хвостик заячий волос.
На волос был от жизни вечной,
Но – сорвалось!..

Даже в страдании – счастье. Лишь бы душа была жива.

Быть нелюбимым! Боже мой!
Какое счастье быть несчастным!
Идти под дождиком домой
С лицом потерянным и красным.

Какая мука, благодать
Сидеть с закушенной губою,
Раз десять на день умирать
И говорить с самим собою.

Какая жизнь – сходить с ума!
Как тень, по комнате шататься!
Какое счастье – ждать письма
По месяцам – и не дожидаться.

Кто нам сказал, что мир у ног
Лежит в слезах, на все согласен?
Он равнодушен и жесток,
Зато воистину прекрасен.

Что с горем делать мне моим?
Спи. С головой в ночи укройся.
Когда б я не был счастлив им,
Я б разлюбил тебя. Не бойся!

* * *

...Любил – и стоял к механизму пружин
Земных и небесных так близко, как позже
Уже не случалось; не знание причин,
А знание причуд; не топтанье в прихожей,
А пропуск в покои, где кресло и ложе.

Любил – и, наверное, тоже любим
Был, то есть отвержен, отмечен, замучен.
Какой это труд и надрыв – молодым
Быть; старым и все это вынесшим – лучше.
Завидовал птицам и тварям лесным.

Любил – и теперь еще... нет, ничего
Подобного больше, теперь – все в порядке,
Вот сны еще только не знают того,
Что мы пробудились, и любят загадки:
Завесы, и шторы, и сборки, и складки.

Любил... О, когда это было? Забыл.
Давно. Словно в жизни другой или веке
Другом, и теперь ни за что этот пыл
Понять невозможно и мокрые веки:
Ну что тут такого, любил – и любил.

Каких только задач мы не ставим перед поэзией! Она должна и воспитывать читателя, и вести его за собой, и бичевать недостатки, и «жечь глаголом», отражать, откликаться, призывать, воспевать... Но забываем самое главное. Поэзия – это наша память о том, какой бывает жизнь в лучшие свои минуты.

Придешь домой, шурша плащом,
Стирая дождь со щек.
Таинственна ли жизнь еще?
Таинственна еще.

Поэзия – это аккумулятор счастья, сгусток энергии, ее накопитель. Эту энергию поэт вложил в свои стихи, и мы получаем ее спустя много лет из стихотворных строк.

А. Кушнер не знает, что такое творческий кризис, простой, муки творчества. Он не понимает слов Блока: «Для одних ты и Муза, и чудо, для меня ты – мученье и ад». Считает, что Блок написал их для красного словца. Для него писание стихов – это абсолютно счастливое времяпрепровождение. В письме от 4 апреля 2004-го он писал мне: «Может быть, эти замечания Вам пригодятся в Вашей дальнейшей работе. Впрочем, «работа» – не вполне удачное слово, ведь стихи – это радость прежде всего. Пусть ее будет у Вас как можно больше!» И я с ним совершенно согласна, стихи – это радость. Мир подробен, детален, пестр, неожидан, и поэзия разлита в нем, включена в него повсеместно. Кушнер пишет: «Не надо ничего выдумывать, жизнь фантастична!» Стихи – из жизни и о жизни, а поэзия, возникнув на ее почве – «явление иной, прекрасной жизни где-то по соседству с привычной нам, земной», «пятая стихия», духовный космос.

Кушнер – поэт текущей жизни. Он утверждает именно сей миг, сей час, сей день, пытаюсь уловить его вкус и смысл. В его стихах теснятся вещи, пейзажи, мелочи жизни. Сколько тут всякого сора!

Сентябрь выметает широкой метлой
Жучков, паучков с паутиной сквозной,
Истерзанных бабочек, ссохшихся ос,
На сломанных крыльях разбитых стрекоз,
Их круглые линзы, бинокли, очки,
Чешуйки, распорки, густую пыльцу,
Их усики, лапки, зацепки, крючки,
Оборки, которые были к лицу...

Все это – «счастья неприбранный вид». Такая поэзия помогает нам воспринимать жизнь не только умом и воображением, но и глазами, кожей, слухом, всеми органами чувств. Мы ведь живем как слепоглухонемые, не умеем ощущать в повседневности это «жизнью названное чудо».

Мандельштам приедет с шубой,
А Кузмин с той самой шапкой...

Я бы сказала ему в тон: «А Кушнер – с лупой». Кушнер поразительно наблюдателен. Он словно инвентаризирует подробную прелесть мира. Мне нравится эта его микроскопическая пристальность, любовное разглядывание предметов и постижение их скрытой сущности. Он расширяет и отвоевывает для поэзии вещи, никогда прежде не входившие в круг поэтических тем, постоянно осваивает новые, непривычные для поэзии лирические сюжеты.

А ствол у тополя густой листвой оброс,
Весь, снизу доверху, – клубится, львиногривый,
За то, что ракурс свой я в этот мир принес
И не похожие ни на кого мотивы.
За то, что в век идей, гулявших по земле,
Как хищники во мраке,
Я скатерть белую прославил на столе
С узором призрачным, как водяные знаки.

Как он не боится включать в стихи то, что, казалось бы, им совершенно противопоказано? Вот Кушнер пишет о поездке зимой на дачу:

Не для того, чтоб в поле вырваться, –
А по причине воровства:
Забрали супницу и мыльницу,
Насос и вывезли дрова.

Как его служение муз терпит эту суету – супницы, мыльницы! Ведь поэт, казалось бы, должен быть выше всей этой прозы быта. Как там у Ахмадулиной: «Я отпускаю зонт и не смотрю, как будет он использовать свободу...» Вот истинно поэтическое поведение! Но Кушнер не хочет быть выше. «Без быта нет жизни, – говорит он в интервью, – быт и бытие – слова однокоренные. Считающий себя выше быта просто перекладывает часть своей ноши на плечи близких, а сам идет налегке. Любить эту сторону жизни трудно, но и презирать ее глупо». Подробности быта, введенные Кушнером в стихи, делают их убедительными, достоверными. Его поэтический мир – это мир живых, одушевленных вещей, почти его самостоятельных персонажей.

Граненый столбик, простачок,
Среди других посуд
Он тем хорош, что одинок,
Такой простой сосуд!

Собрание лучей дневных!
И вот, куда ни встань,
Сверкает ярче остальных
Не та, так эта грань.

(«Стакан»)

Он видит «небо в алмазах» даже там, где его трудно предположить: например, в такой сугубо прозаической вещи, как домашняя пыль:

Вдоль полок палец по привычке
Скользит во власти забытья.
Как хорошо лежат частички
Таинственного бытия,
Реснички, ниточки, ворсинки...
Как нежен хаос, волокнист!

Даже нудные домашние обязанности рождают в его душе высокий восторг, непонятный нам, простым смертным:

Сторожить молоко я поставлен тобой,
Потому что оно норовит убежать...

Поэт увлеченно наблюдает за жизнью молочной поверхности:

Надувается, сердится, как же! пропасть
Так легко... сколько всхлипов, и гневных гримас,
И припухлостей... пенная, белая страсть,
Как морская волна, окатившая нас.

(Значит, молоко все-таки убежало). А как упоенно поэт моет посуду!

Тарелку мыл под быструю струей
И все отмыть с нее хотел цветочек,
Приняв его за крошку, за сырой
Клочок еды – одной из проволочек
В ряду заминок эта тень была
Рассеянности, жизнь одолевавшей...
Смыть, смыть, стереть, добраться добела,
До сути, нам сквозь сумрак просиявшей.

Поражает это неистощимое умение изумляться привычным предметам быта, извлекать радость из малого, повседневного:

Скатерть, радость, благодать!
За обедом с проволочкой
Под столом люблю сгибать
Край ее с машинной строчкой.

Поэт видит, различает в этих простых предметах такие грани, горизонты, которые нам и не снились, они вызывают в нем бурю эмоций, ассоциаций, мыслей.

Вода в графине – чудо из чудес,
Прозрачный шар, задержанный в паденье!

Вот так из осколков повседневных впечатлений создавалась целостная картина мира в зеркале поэзии. И я, начитавшись стихов Кушнера, ловила себя на том, что у меня уже не поднимается рука бестрепетно стирать пыль, в которой вижу теперь «частички таинственного бытия», я замороженно слежу за бурной жизнью закипающего молока, после чего исступленно мою плиту, стремясь «добраться добела, до сути, нам сквозь сумрак просиявшей...» «Вот что Вы творите своими стихами!» – посетовала я в очередном письме поэту. А если серьезно – я училась видеть, слышать, чувствовать, как впервые.

Книги Кушнера скромны и негромки. Критики ругали его за «мелкотемье». Иронизировали: описывает графин с водой, стакан, вазу, сахарницу, микроскоп, школьную готовальню – нашел темы! Газетных романтиков это раздражало. Но то было не собирание мелочей, а выбор иного ракурса, поиск предметных связей с миром, попытка проявить поэтичность простой вещи, обыденной ситуации. Не все это понимали. Как-то я прочитала стихи Кушнера Амусину. Под влиянием моих восторгов он купил его книжку. Спрашиваю потом: «Ну как?» Тот пренебрежительно бросил: «Нет размаха!» В одном из писем я привела Кушнеру это «мнение», заметив, что в последнее время много встречается стихов, в которых один сплошной размах. Я не думала, что эта «критика» как-то его заденет, но, видимо, чем-то она зацепила, так как вскоре в новой подборке поэта появилось такое стихотворение:

Я не прыгун с шестом,
Чтоб прыгать метров на пять,
Аплодисментов гром
Сорвав себе на память,
И шест, как метроном,
Внизу трястись оставить.

Не чемпион лыжни,
Не рекордсмен трамплина,
Мне крики не нужны
С трибун, мне куст жасмина
Милей, и тишины
Снотворная рутина.

...Мне мериться ни с кем
При жизни не пристало.
Я не напялю шлем
Из кожи и металла.
Не гонщик я – зачем?
Не пленник пьедестала.

Мы сами по себе,
Не в зале перед рампой,
Мы на лесной тропе,
На взморье мы, за дамбой.
Прочтут нас не в толпе,
А под настольной лампой.

И вспомнят при ходьбе.

Подумать только – не было бы той дурацкой реплики Амусина и моего письма – не было бы, возможно, и этого стихотворения. «Когда б вы знали, из какого сора...»

Ему лепили ярлыки: «поэт малых вещей», «поэт оседлой жизни», «поэт дома», «певец уюта». Он сам признавался: «Неромантичны наши вкусы». Камерный мир, ограниченный семейным кругом. Мир, запертый в четырех стенах комнаты.

Комната. Скрипящая доска.
Четырехугольная тоска.

Он воспевает уют «десяти метров мирного житья». Но, кажется, это все лишь для того, чтобы заговорить боль, «четырёхугольную тоску». Кажется, он прячется от жизни, от ее контрастов и бед, от ее неожиданных поворотов. Это почти детское желание, спрятав голову под подушку, обыграть, обмануть судьбу, закрыться от нее руками. Когда же поэт пробует открыть лицо, отрывает руки, то почти физически ощущаешь, как страшно ему оставаться лицом к лицу с полным трагических противоречий миром.

И голый ужас, без одежд,
Сдавив, лишил меня движений.
Я падал в пропасть без надежд,
Без звезд и тайных утешений.
И в целом стоге под рукой,
Хоть всей спиной к нему прижаться,
Соломки не было такой,
Чтоб, ухватившись, удержаться!

Его охватывает ужас перед приметами небытия:

Я спустился в глубокий овраг,
Чтоб не грохнуться – наискосок,
Там клубился сиреневый мрак
И стеной поднимался песок.

Был он красен, и желт, и лилов,
А еще – ослепительно бел.
«Ты готов?» Я шепнул: «Не готов».
И назад оглянуться не смел.

Не готов я к такой тишине!
Не к живым, а к следам от живых!
Не к родным облакам в вышине,
А к теням мимолетным от них!

Дай мне силы подняться наверх,
Разговором меня развлеки,
Пощади. Я еще не из тех,
Для кого этот блеск – пустяки.

Приверженность к порядку, гармония и стройность и, наряду с этим, страх перед непрочностью этого порядка. При внешнем спокойствии этой поэзии в ней присутствует скрытый драматизм. «Уравновешенный безумец», как сам Кушнер назвал себя в первой книге, он не в силах удержать душу в своем любовно вылепленном, выпестованном раю:

Проснулся я. Какая сила
Меня с постели подняла?
В окне земля тревогу била
И листья поверху гнала.

Бежало все. Дубы дышали
В затылок шумным тополям.
Быстрее всех кусты бежали
По темным склонам и полям...

И, запыхавшись, ночь дышала
Трудней усталого коня.
И, как безумная, бежала
Душа, отдельно от меня.

Теперь он не просто пытается выкроить радость из материи жизни, но прикоснуться к ее тайнам, чем бы они ни грозили – бедой ли, опасностью.

Имел я, помнится, внимание к вещам...
Все это схлынуло. Стакан, графин с водой
Жизнь отодвинула как бы одной рукой.

«И разговор у нас совсем иной пошел». То есть о более глубоких слоях жизни.

Кто, кто так держит мир в узде,
Что может птенчик спать в гнезде?

* * *

В деревьях ужас нежитья
И ветра шорох с краю,
Как чей-то крик: «А как же я?»
И чей-то вздох: «Не знаю...»

Поэту с годами глубже открылась теневая сторона мира, трагическая его подоплека.

Нет, не одно, а два лица,
Два смысла, два крыла у мира.

* * *

Но силы нужны и отвага
Сидеть под таким сквозняком!
И вся-то защита – бумага
Да лампа за тесным столом.

Кушнер предлагает свой способ спастись, удержаться над бездной:

Друзья мои, держитесь за перила,
За этот куст, за живопись, за строчку,
За лучшее, что с нами в жизни было,
За сбивчивость беды и проволочку.

Он действительно поэт дома, но дома, стоящего на краю пропасти, о которой не забывает, даже занимаясь самыми обыденными делами. И неизвестно в чем больше мужества – в том, чтобы напряженно и обреченно вглядываться в бездонную мглу, или в том, чтобы, невзирая на нее, уметь радоваться простым вещам:

За дачным столиком, за столиком дощатым,
В саду за столиком, за вкопанным, сырым,
За ветхим столиком я столько раз объятым
Был светом солнечным, вечерним и дневным!

...В саду за столиком... А дело в том, что слишком
Душа привязчива... И ей в щелях стола
Все иглы дороги, и льнет к сосновым шишкам,
И склонна все отдать за толику тепла.

И такой покой, такая благодать в этом его мире «дощатых столиков», кустов жасминовых, бабочек, ласточек, что хочется, как птенчику, доверчиво «спать в гнезде» стиха и не просыпаться. «Но не тем холодным сном могилы...» У Кушнера даже сны счастливые.

Мне приснилось, что все мы сидим за столом,
В полублеск облачась, в полумрак,
И накрыт он в саду, и бутылки с вином,
И цветы, и прохлада в обнимку с теплом,
И читает стихи Пастернак.

Александр Кушнер родился в 1936 году в Ленинграде. (Живет в Калужском переулке, почти в Таврическом саду, рядом с башней Вячеслава Иванова – наверное, не случайно – в таком магическом месте!) Мать хотела видеть его врачом, отец – морской офицер – морским инженером, но сын пошел другим путем. Поступил на филфак Педагогического (в университет его не приняли, хотя он закончил школу с золотой медалью) и потом 10 лет преподавал русский язык и литературу в школе рабочей молодежи. Кушнер считает, что поэт должен жить общей жизнью со всеми и меньше всего думать о себе как о поэте.

При всем таланте и уме
В библиотечной полутьме
Так и состаришься, друг милый.

А я на школьных сквозняках
Состарюсь, мел кроша в руках,
Втирая в доску что есть силы.

У века правильный расчет.
Он нас поглубже затолкнет,
Он знает: мы такого теста.
Туда, где ценятся слова,
Где не кружится голова.
И это, точно, наше место.

Есть поэты «с биографией», такие, как Пушкин, Лермонтов, Байрон, Бродский, и поэты без биографии (Фет, Тютчев, Анненский). Кушнер относит себя ко второй категории и благодарен судьбе, что она позволила ему заниматься любимым делом, не отвлекаясь на «биографию». «Слово «поэт» я к себе не примерял, – говорил он, – поэт – это Блок, я же жил с ощущением «человека, пишущего стихи» – это словосочетание, употреблённое Блоком в одной из его статей в отрицательном значении, казалось ему самым подходящим для себя. Любимый миф Кушнера – это эпизод в божественной карьере Аполлона, целый год принуждённого Зевсом провести в услужении у царя Адмета пастухом. Анонимность, неузнанность представляются ему более достойными поэтического дара, нежели высокомерие. В своём «Пророке» Кушнер, полемизируя с Пушкиным, встречает божественного посланца весьма иронично:

Он встал в ленинградской квартире,
расправив среди тишины
шесть крыл, из которых четыре,
я знаю, ему не нужны.

Никаких божественных откровений не даёт этот необычный визит высокого ангельского чина. Скорее, наоборот, герой доказывает гостю своё право на частную жизнь. Нет, он не будет, «обходя моря и земли, глаголом жечь сердца людей». И в груди у него не уголь, а обычное сердце.

Никакой патетики, пафоса, позы. («Впрочем, мне напыщенное слово/ не идёт, гремит оно, как жесьть»). Его жизнь предстаёт перед нами в стихах в условиях прозаического быта у лампы «за тесным столом», посреди дальних командировок, сборов на дачу.

Я к друзьям загляну – и у них, и у них
те же трещины, та же борьба.
Хорошо иногда подсмотреть у других
то, что общая дарит судьба.

* * *

Другие у нас представленья и нравы.
И милая спит, и в ночной тишине
пусть ей не мешает молва обо мне.

Говоря о герое своих стихов, Кушнер представляет его себе как обычного, ничем не примечательного человека: это может быть врач, или учитель, или инженер, научный сотрудник, библиотекарь...

Всё нам Байрон, Гёте, мы как дети,
знать хотим, что думал Теккерей.
Плачет Бог, читая на том свете
жизнь незамечательных людей.

В одном из стихотворений его лирический герой скажет о себе: «Я затерян, как цифра в четвёртой графе...»

Кто тише старика,
попавшего в больницу,
в окно издалика
глядящего на птицу?

Кусты ему видны,
прижатые к киоску.
Висят на нём штаны
больничные в полоску.

Бухгалтером он был
иль стёкла мазал мелом?
Уж он и сам забыл,
каким был занят делом...

И дальний клён ему
весь виден до прожилок,
быть может, потому,
что дышит смерть в затылок.

Вдруг подведут черту
под ним, как пишут смету,
и он уже – по ту,
а дерево – по эту!

Что делать поэту, если его жизнь совсем обыкновенна? Эвакуация и дальние отзвуки войны, школа, Педагогический институт, учительство... О чём тут писать? Придумать себе жизнь героическую? Переменить её? «Сделать себе биографию?»

Но Кушнеру чужда романтическая модель поведения. Нет ничего нелепей, чем напяливать на себя чужую судьбу, как чужую шапку, считает он. Но неужели в этой обыкновенной жизни – а ею живёт большинство – вовсе нет поэзии? Кушнер и в ней чувствовал себя поэтом. В его распоряжении был материк осваиваемой им культуры. И – тот жизненный круг, в котором он вращался, тот быт и обиход, дома, улицы, в которых он пребывал. Он понимал, что они назначены ему судьбой, что тут он должен искать своё счастье, осуществлять своё человеческое призвание, просто жить. В стихотворении «Комната» он писал:

Десять метров мирного житья,
дел моих, любви моей, тревог,
форма городского бытия,
вставшая дорогам поперёк.

Кушнеру чужд романтический анархизм Цветаевой, бурный выплеск эмоций, страстей, демонстрация своей внутренней жизни:

Наваливаюсь на,
как молвила б Цвета-
ева, но мне дана
другая речь, не та,
где страсть накалена,
но спутаны цвета.

Ему претит и бардовский слёзный надрыв, всё, что – на публику, напоказ:

Ещё чего, гитара!
Засученный рукав.
Любезная отрава.
Засунь её за шкаф.

Пуškai на ней играет
Григорьев по ночам,
как это подобает
разгульным москвичам.

А мы стиху сухому
привержены с тобой.
И с честью по-другому
справляемся с бедой.

Дымок от папиросы
да ветреный канал,
чтоб злые наши слёзы
никто не увидал.

У романтического поэта, конечно, привлекательная, выигрышная позиция. Она более «поэтична», если можно так выразиться, более импонирует читателю, который в большинстве своём явно будет на стороне Цветаевой и гитары. Тем большее уважение вызывает стойкая, и, на мой взгляд, более благородная, бескомпромиссная позиция Кушнера, мужественно отстаивавшего свою правоту в споре с романтиками всех эпох:

Обратясь к романтической ветке,
поэтической ветке родной,
столько раз ради трезвости меткой
из упрямства отвергнутой мной,
я сказал бы им, братьям горячим,
как мне пусто и холодно тут!
Я не лью свои слёзы, я прячу.
Дайте плащ поносить! Не дадут.

– Надо вовремя было из комнат
на корабль трёхмачтовый взбегать,
незаметною ролью и скромной
не пленяться, обид не глотать,
надо было не чашку и блюдце

и не скатерть любить на столе,
надо было уйти, отвернуться
от всего, что любил на земле.

– Дорогие мои, не судите
так же быстро, как я вас судил,
восхищаясь безумством отпльтий,
бегств и яркостью ваших чернил.
Мне казалось, что мальчик в Сургуте
или Вятке, где мглист небосвод,
пусть он мной восхищаться не будет,
повзрослеет – быть может, поймёт.

– Надо было, высокого пыла
не стесняясь, порвать эту сеть,
выйти в ночь, где пылают светила,
просиять в этой тьме и сгореть.
Ты же выбрал земные соцветья
и огонь белокрылый, дневной,
так сиди ж, оставайся в ответе
за все слёзы, весь ужас земной.

Нельзя, говоря о Кушнере, не сказать и о его отношениях с Бродским. Друзья-антиподы, приятели-соперники, их многое и связывало, и разъединяло. Они представляли собой как бы две разных модели поэтического существования. Бродский – поэт байронического склада, который жил с ощущением своей высокой миссии поэта, противостоящего толпе и мирозданию. Б. Пастернак в своей «Охранной грамоте» (1930), вспоминая 10-е годы, писал о «романтической манере», с которой он сознательно расстался – «это было понимание жизни как жизни поэта». Такое понимание жизни Кушнеру было чуждо. Когда Бродский вместе с Барышниковым выкупил у датской скульпторши свой бронзовый бюст, передав при жизни в Петербургский музей Ахматовой, Кушнер, покоробленный этим поступком, написал ироническое стихотворение:

Быть классиком – значит, стоять на шкафу
бессмысленным бюстом, топорща ключицы.
О Гоголь, во сне ль это всё, наяву?
Так чучело ставят: бекаса, сову.
Стоишь вместо птицы.

...Быть классиком – в классе со шкафа смотреть
на школьников, им и запомнится Гоголь
не странник, не праведник, даже не щеголь,
не Гоголь, а Гоголя верхняя треть...

Да, Кушнер не обладал такой богатой поэтической биографией, как Бродский. Но это не значит, что не могло быть в то время иных вариантов жизни и поведения. Кушнер не пошёл на открытый конфликт с эпохой, но и не совершал никаких ложных шагов и бесчестных поступков ради карьеры, нисколько не поступившись собой. Бессмысленно сравнивать, кто талантливей – Бродский или Кушнер. Дело не в уровне таланта – в разном понимании поэтических задач, в ориентации на разные образцы, в разных поэтических

родословных. Кушнер хорошо сказал об этом в своём стихотворении, посвящённом памяти Бродского:

Я смотрел на поэта и думал: счастье,
что он пишет стихи, а не правит Римом,
потому что и то, и другое властью
называется, и под его нажимом
мы б и года не прожили – всех бы в строфы
заклучил он железные, с анжамбманом
жизни в сторону славы и катастрофы,
и, тиранам грозя, он и был тираном,
а уж мне б головы не сносить подавно
за лирический дар и любовь к предметам,
безразличным успехам его державным
и согретым решительно-мягким светом.
А в стихах его власть, с ястребиным криком
и презреньем к двуногим, ревнуя к звёздам,
забиралась мне в сердце счастливым мигом,
недоступным Калигулам или Грозным,
ослепляла меня, поднимая выше
облаков, до которых и сам охотник.
Я просил его всё-таки: тише! тише!
Мою комнату, кресло и подлокотник
отдавай, – и любил меня, и тиранил:
мне-то нравятся ласточки с голубою
тканью в ножницах, быстро стригущих дальний
край небес. Целовал меня: Бог с тобою!

В юности они были друзьями. Жили в одном городе, тусовались в одних компаниях, ходили в гости друг к другу. Как-то на день рождения Кушнера Бродский принёс вместо подарка (он всегда вместо подарков дарил стихи) прелестное шуточное стихотворение «Почти ода на 14 сентября 1970 года»:

Ничем, певец, твой юбилей
мы не отметим, кроме лести
рифмованной, поскольку вместе
давно не видим двух рублей...

Мы предпочли бы поднести
перо Монтеня, скальпель Вовси,
скальп Вознесенского, а вовсе
не оду, Господи прости...

Заканчивались стихи извинением:

Довольно, впрочем. Хватит лезть
в твою нам душу, милый Саша,
хотя она почти как наша,
но мы же обещали лезть...

В некоторых стихах Бродского тех лет встречается переключка с кушнеровскими стихами. Так, в стихотворении «Подсвечник» (1968) в последней строфе – переключка со

стихом Кушнера «День рождения» 1966 года. Где-то среди стихов Бродского промелькнула строчка: «Пусть от меня Кушнер это запомнит», – какая-то шутливая угроза. Кушнер посвятил Бродскому прекрасные стихи, которые послал ему в место ссылки, в село Норинское. Сейчас уже это документ эпохи.

Уснёшь с прикушенной губой
среди мелких жуликов и пьяниц.
Заплачет ночью над тобой
Овидий, первый туняец.

Такая жгучая тоска,
что ей положена по праву
вагона жёсткая доска,
опережающая славу.

В стихах Кушнера не раз упоминается Бродский. В стихотворении «Посещение» (1975), например, слышны отголоски их поэтического спора:

Приятель мой строг,
необщей печатью отмечен,
и молод, и что ему Блок?
«Ах, маменькин этот сынок?»
– Ну, ну, отвечаю, полегче!

И в стихотворении Кушнера «В кафе», построенном на переключке с «Зимним вечером в Ялте» Бродского, звучит упоминание «рыжего друга». Стихи Бродского оказали немалое влияние на Кушнера, правда, совершенно, к счастью, не изменив его творческую манеру. В 1978 году он пишет стихотворение «Сложив крылья», навеянное стихами Бродского «Бабочка» и «На скользком кладбище».

Потом Бродский уехал. Их жизненные и творческие пути разошлись. Но Кушнер не забывает друга – навещает его родителей, принимает участие в их похоронах. В 1981 году он пишет стихотворение, обращённое к Бродскому, которое очень тронуло того:

Свет мой, зеркальце, может быть, скажет,
что за далью, за кружевом пляжей,
за рогожей еловых лесов,
за холмами, шоссе, заводскими
корпусами, волнами морскими,
чередой временных поясов,
вавилонскою сменой наречий
есть поэт, взгромоздивший на плечи
свод небесный иль большую часть
небосвода, – и мне остаётся
лишь придерживать край, ибо гнётся,
прогибается, может упасть.
А потом на Неву налетает
ветерок, и лицо его тает,
пропадает, – сквозняк виноват,
нашей северной мглой отягчённый, –
только шпиль преломлён золочёный,
только выгиб волны рыжеват.

Когда при встрече Кушнер показал Бродскому эти стихи, тот был взволнован. «Я тоже о тебе думал в те годы», – скажет он ему. Бродский дарил Кушнеру свои книги с дарственными надписями, непривычно сентиментальными в его устах: «Милому Александру от нежно любящего его Иосифа», «Саше и Лене с беспредельной нежностью».

В ноябре 1990 года был вечер Кушнера в Бостонском университете, на котором Бродский говорил вступительное слово, опубликованное позже в качестве предисловия к американской книге Кушнера. А потом... потом в их отношениях произошёл разрыв.

В одной из статей Кушнер позволил себе критически отозваться о словаре Бродского, назвав его «чрезмерно современным»: «блзнит», «жлоблюсь о Господе», «кладу на мысль о камуфляже», «это мне – как серпом по яйцам» и т. п. Бродский затаил обиду, которая позже выплеснулась в его стихе, посвященном Кушнеру, – «Письмо в оазис». Стихотворение оскорбительное, содержащее несправедливые и незаслуженные упрёки поэту, я не буду его здесь цитировать. Кушнер, узнав о нём, как это водится, последним, позвонил Бродскому в Нью-Йорк и потребовал объяснений. Бродский был смущён. Сказал, что меньше всего хотел бы его обидеть. В конце концов он снял посвящение с этого стихотворения. «Скажи Сашке, чтоб не обижался, – передал он потом их общему другу Я. Гордину, – пусть напишет тоже что-нибудь такое про меня и забудет». Мир был восстановлен. Уже после смерти Бродского Кушнер напишет стихи, посвящённые его памяти:

Поскольку я завёл мобильный телефон, –
не надо кабеля и проводов не надо, –
ты позвонить бы мог, прервав загробный сон
мне из Венеции, пусть тихо, глуховато, –
ни с чьим не спутаю твой голос: тот же он,
что был, не правда ли, горячий голос брата.

По музе, городу, пускай не по судьбам,
зато по времени, по отношению к слову.
Ты рассказал бы мне, как ты скучаешь там.
Или не скучно там, и, отметя полову,
точнее видят смысл, сочувствуют слезам,
подводят лучшую, чем здесь, под жизнь основу?

Тогда мне незачем стараться: ты и так
всё знаешь в точности, как есть, без искажений,
и недруг вздорный мой смешон тебе – дурак,
с его нескладицей примет и подозрений,
и шепчешь издали мне: обмани, приляг,
как я, на век, на два, на несколько мгновений.

В этом стихотворении есть намек на некоего недруга Кушнера. Об этом мне хотелось бы рассказать поподробнее. Еще в 80-е годы критик А. Арьев писал: «Странное у Кушнера положение: ни противников, ни славы. То ли славы нет оттого, что нет противников, то ли противников нет оттого, что нет славы». Ну, что касается славы, во всяком случае, всероссийской известности, то она у поэта уже имеется. Так же, как и официальное признание: Госпремия России, Пушкинская премия фонда Альфреда (А.Тёпфера), премия «Северная пальмира». Но и противниками Бог не обидел.

Кушнер говорит, что мог бы назвать имён семь-восемь. «Как правило, это несостоявшиеся или малоодарённые поэты. Обижаться на них нельзя...» Один из самых популярных и одиозных – это критик и публицист Виктор Топоров, редактор издательства «Лимбус Пресс», который в последнее время избрал своей мишенью А. Кушнера и его жену Е. Невзглядову. «Топоров – это клинический случай», – замечает Кушнер. В одном из стихотворений он рисует его портрет:

Топорный критик с космами патлатыми,
сосущий кровь поэзии упырь,
с безумными, как у гиены, взглядами,
суёт под нос свой жёлтый нашатырь.
И нету лжи, которую б не приняли,
и клеветы, которую б на щит
не вознесли...

Помню, читая стихи Кушнера, я натолкнулась на его горькие строки о критиках, которые «не любят» и «негодуют», и о тех, кто, «нахмурясь над лучшей строкой, ничего не поймут».

Если бы всё, что прочесть о себе
мне посчастливилось, принял я близко
к сердцу, – на обе ноги при ходьбе
я бы хромал и страшной василиска
был бы, – и мытаря так не стыдят,
вора и взломщика так не бичуют.
Как же в стихах своих я виноват!
Как их не любят! И как негодуют!

Я была возмущена: «Кто посмел?!» Вертелась на уме «утешительная» строчка Лермонтова: «Но знай, что в этом есть краю один, кто понял песнь твою!» И тут же села писать письмо поэту: «Ну что Вам эти мужья Марьи Ивановны, когда Коперник, а также Гомер, Алкей, Катулл, Гораций Флакк Вас несомненно слышат и одобряют. Не говоря уже о таких, как я!»

А вскоре с одним «творением» такого «недруга» мне довелось познакомиться поближе. Прочитав в «Книжном обозрении» какой-то невнятный анонс новой книги неизвестного мне автора, я – поскольку там упоминалось имя Кушнера, а меня всё, связанное с ним, интересует, – выписала этот роман из Санкт-Петербургского издательства «Алетейя». Прочитанное повергло меня в шок. На 800-стах страницах фолианта некто Владимир Соловьёв (не путать с журналистом НТВ) поливал Кушнера грязью. Поразил чудовищный объём и напор злобы. Вот образчик его «критики»: «Уже за шестьдесят, хреновый для поэтов возраст, а он всё ещё выёбывается». О Лидии Гинзбург: «мелкий бес крупных габаритов», «старая толстая еврейка», «лесбиянка», «эпигонка». «Саша прилепился к ней сразу и навсегда», она его «литературно усыновила». Критик договаривается до того, что Кушнер – это её псевдоним, якобы Гинзбург сочиняет за него «вирши».

В чём же он обвиняет поэта? В том, что, в отличие от Бродского, бросившего школу, закончил её с золотой медалью и «психологию отличника» пронёс через всю жизнь. «Все его любят, все печатают». Обвиняет в благополучии, в счастливой судьбе. «Его поэзия – это профилактические указания о том, как избежать страдания, как обмануть судьбу, как остаться счастливым...» А чем это плохо? Да, судьба благоволила к Кушнеру, но он был честен и ничего дурного не делал, чтобы её задобрить.

Соловьёв мстительно вспоминает, как они играли в снежки, «и Саша всё норовил в меня попасть...» Теперь в него норовил попасть он, и уже не снежком, а здоровенным куском дерьма. Но только всё промахивался мимо цели. (Когда я читала, мне вспоминался эпизод из фильма «Коммунист», как один из стрелявших всё тыкал в героя Урбанского пистолетом в трясущейся от бессильной злобы руке, но никак не получалось убить. Вот этот дрыгающийся убийца – вылитый портрет Соловьёва). Обвиняет в зависти Бродскому, пытаюсь изобразить из них то Моцарта и Сальери, то Чацкого и Молчалина, в кротком характере («цыплячьи стишки, цыплячья душа»), в антисемитизме (не хотел афишировать своё происхождение), в патриотизме, (в нежелании эмигрировать):

«Я ему протянул однажды верёвку, а он стал размахивать руками и брызгаться. – Я здесь живу, это моя родина, я её люблю! – И – на здоровье, вольному воля. Отойду подальше, а то забрызгает». Но брызгает слюной как раз этот, изрыгая свои «постулаты», как чахоточные плевки. «В строку» Кушнеру ставится и природный оптимизм, и медлительная речь, и даже маленький рост. «Он и шагает, подпрыгивая, чтобы быть выше ростом или чтобы дотянуться до рядом идущей женщины (а любит высоких, крупнокостных, больших)...» «Критик» называет его «маленьким озлобленным карлой». Если уж кто и озлоблен, так это он сам.

Соловьёва раздражает, что «Саша с Пушкиным тёзки, и фамилии их созвучны». Модель «Моцарт – Сальери», под которую неуклюже пытается подверстать критик Кушнера с Бродским, напрашивалась в отношении его самого и Кушнера, но он и на Сальери не тянет, слишком мелок и гадок.

В конце романа, словно устыдившись, Соловьёв спрашивает себя: «Не слишком ли много грехов навесил я на Сашу? Не слишком ли велика отрицательная на него нагрузка?» Лицемерно вздыхает: «Мне глубоко и бесконечно жаль Сашу» (с.260). «Мне краем сердца жалко Сашу» (с. 261). «Я гляжу в его пустые, как у трупа, глаза, и жалость застилает мне душу» (с.256). «Мне жалко моего героя – Сашу, но не его прототипа, который облучился советской славой и стал литературным импотентом». Фарисейски вопрошает: «А может быть, виноват я, потребовав от маленького поэта, чтобы он стал большим?» Да ему до этого «маленького поэта» – как до звезды небесной!

Когда издательство «Захаров» переиздало этот гнусный «Роман с эпитафиями» под более кассовым названием «Три еврея» (имеются в виду Кушнер, Бродский и сам Соловьёв), и редактор предложил Кушнеру ответить что-нибудь в предисловии, тот отказался, заметив лишь, что «от этого романа воняет». У Кушнера есть стихи про Зоила, который останется в веках только благодаря тому, что поэт прихлопнет его точным словом. Но этого дерьмописца он и прихлопывать не стал – много чести. Он не унизился до полемики с этим господином, уделив ему в своих воспоминаниях о Бродском лишь несколько презрительных строк. Какой контраст между интеллигентным, выдержанным тоном статьи Кушнера и захлёбывающейся истерикой этого психопатического мемуариста! Чем больше накал извергаемой им «уничтожающей» хулы, тем очевидней высота и достоинство поэта. Не удалось ему его замарать, никакая грязь к нему не пристала. Я написала тогда Кушнеру, чтобы он не обращал внимания на подонков («есть слово точное – «подонки»! – писала Б. Ахмадулина), ведь «мы-то знаем, кто лучший поэт», и не только мы, весь читающий мир знает. Во всяком, случае, лучшие его представители.

Я пыталась понять, чем же так насолил Кушнер этому Соловьёву, в чём причина такой патологической злобы? Зависть? Но ведь поначалу он писал о нём хвалебные рецензии. Что же развернуло его на 180 градусов? Поскольку Соловьёв писал в романе о том, как его вербовали кэгебэшники, сама собой напрашивалась мысль, что, видимо, Кушнер вольно или невольно разоблачил его связи с КГБ, из-за чего Соловьёв вынужден был уехать из Ленинграда в 70-е и до сих пор за это Кушнеру мстит. Я поделилась в письме этой гипотезой с поэтом. И вот что он мне ответил: «Что касается Соловьёва, то это, действительно, негодяй, сотрудник КГБ; однажды он мне признался в своей

осведомительской деятельности – и на следующий день (мы были с ним в одной поездке в Литве) уже не смотрел мне в глаза и почти сразу стал мстить, возненавидел. Его романа я не читал, разумеется, но мне рассказывали его содержание: гнусность и ложь. И чем чернее у него я получаюсь, тем, я надеюсь, меньше доверия внушает эта стряпня. В конце 80-х он выступал, уже будучи за границей, против А. Д. Сахарова. И за границу был отпущен для провокаторской деятельности. В Ленинграде о его стукачестве знали многие – и многие пострадали. Увы, я долгое время об этом не догадывался – и он ходил в моих друзьях.

Вы всё о нём правильно поняли – и хватит об этом, – уж очень противно». (20сент. 2001)

У Бориса Рыжего есть стихотворение «В гостях», где он описывает свой визит к Кушнеру:

– Вот «Опыты», вот «Сумерки», а вот
«Трилистник». – Достает
из шкафа книги. «Сумерки», конечно,
нам интересны более других.
«Стихи – архаика. И скоро их
не будет». Это бессердечно.

И хочется спросить: а как
же мы? Он понимает – не дурак,
но, вероятно, врать не хочет – кротко
на нас с товарищем глядит
и, улыбаясь, говорит:
– Оставайтесь, у меня есть водка.

Кушнеровские строчки об «архаике» меня, помню, тоже задели, и я писала на это:

«Стихи – архаика...» Быть может,
но даже если в Лету канут, –
объятый дрожью иглокожей,
со дна их кто-нибудь достанет.

Свою книгу «Четыре десятилетия» Кушнер заканчивает так:

И третье, видимо, нельзя тысячелетье
представить с ямбами, зачем они ему?
Всё так. И мало ли, о чём могу жалеть я?
Жалей, не жалуйся, гори, сходя во тьму.

Прав ли поэт? Прав, конечно. Хотя бы потому, что поэт всегда прав. И всё же хочется верить, что третье тысячелетие не расстанется с ямбами. И порукой тому в немалой степени сам Кушнер. Потому что русский язык так создан и душа так устроена, что без стихов нам всё равно не обойтись. И я писала Кушнеру в ответ на его стихи:

Пусть даже будут в мире этом
царить духовные калеки –
поэт останется поэтом,
горя, сходя во тьму, вовеки.

В мою книгу «Письмо в пустоту» вошли письма тем, кому я не успела сказать слова любви при жизни. Ему, слава Богу, успела.

ПЛАТЬЕ ГОЛОГО КОРОЛЯ

(о псевдопоэзии)

1. Искусство тотального приколизма

У поэта А. Аронова есть такие строчки:

Блок писать почти не мог,
всё стихи не получались.
Но друзья поэта в срок
собрались, посоветались, –
слава громкая итог.
Хлебников связать двух строк
не умел, как ни старался.
Снова круг друзей собрался,
тот же случай, что и Блок.

Это, конечно, шутка, но в ней есть доля правды, которая в том, что и Блок, и Хлебников живут в литературе, пока действует этот «круг друзей», как авторитетный союз критиков и читателей. В наши дни этот факт доведён до крайности, до абсурда, когда «круг друзей», то есть околотературная тусовка становится своего рода мафией, определяющей, кому жить, а кому не жить в литературе. При этом основополагающий критерий один: «наш» это человек или «чужак».

Одна из таких тусовок под кодовым названием «Арт-система» недавно громогласно заявила о себе в средствах массовой информации как о чём-то доселе в Саратове невиданном и небывалом. Несколько раз по ТВ в «Новостях культуры» крутился ролик, где её лидер поэт-бизнесмен И. Алексеев со своим соратником А. Сокульским возвещали о своих глобальных планах, долженствующих осчастливить местное поэтическое сообщество:

– Мы собираемся совершить акцию «Поэтические пояса России»... структурировать литературное пространство... Мы не хотим никуда ехать, мы выведем Саратов на мировой уровень...

В переводе на обычный язык это означало, что Алексеев с Сокульским пригласили на свою ресторанный тусовку (небольшой междусобойчик, который раз в месяц эти ребята устраивали в уютных стенах «Камелота» с чтением стихов и пением бардовских песен) своих друзей из Москвы, с которыми познакомились в интернете, вроде бы редакторов каких-то третьестепенных журналов и альманахов. Всё это очень мило, конечно, но, при чём здесь «акция», «проект», «поэтические пояса России», «литературный форум», «мировой уровень» и тому подобная туфта? Где это, с позволения сказать, «новое поэтическое пространство» будет размещаться? Какое это вообще имеет отношение к Саратову, к тем поэтам, кто не имеет «счастья» состоять в свите Алексеева и Сокульского, не входит в число их корешей и друзей? Таких здесь и на порог не пустят в свою епархию, не то что на страницы их альманахов. Всё это их личный пиар, и ничего больше, и зачем об

этих ещё не осуществлённых «проектах» возвещать на всю область, да ещё по несколько раз, даже если эфир и проплачен. Ну, приехали к ним друзья из Москвы, ну, почитали стихи друг другу, скоротали вечерок. Ну, пообещали им за тёплый приём напечатать в своих альманахах. К чему вся эта помпа? Вот если бы телевизионщики дали себе труд почитать эти стихи, вникнуть, отобрать стоящие, если таковые найдутся – тогда и делайте передачу о тех поэтах, кто действительно этого заслуживает. Но журналистов интересует отнюдь не поэзия, не талант, а само публичное устное действие, чтение-перформанс (модное ныне слово), карнавальность постмодерна. Лишь бы было круто, прикольно.

«Третьим по культурной «крутизне» после Собиновского и Хвоста» назвал Б. Глубоков («Земское обозрение», 2.06.2004) приезд в Саратов двух московских поэтов, Н. Байтова и С. Литвак, организованный «Арт-системой». Визит высоких гостей именовался «Время поэзии» и был окружён, как и подобает визитам подобного ранга, светом юпитеров и бликами фотовспышек. (Я на этом «пиаре духа» не была, сужу по телесюжету и по той же заметке Глубокова). Байтов печатает свои «тексты» в толстых журналах, «традиционалистские» – в обычных, а «авангардные» – в более «продвинутых». Вот образчик: «Сканер сканирует скатерть,/ принтер копирует пир./ В сумме какая-то пакость./ В небе какая-то пыль». С. Литвак, «помимо поэзии, производит женскую любовную прозу».

Столичные гости – участники многих «провинциальных сейшнов», акций «литературные реди-мэйдз равно секунд хендз», «Поэт – узник поэтического пространства» и «Схлопывание пространства» (чёрт его знает, что это такое), а самое главное, они – основатели «Клуба литературного перформанса», действующего с 1995 года. Глубоко вникнувший в это дело Глубоков с упоением разъясняет: «Под литературным перформансом организаторами понимается любое действие с текстом, если оно имеет самостоятельное эстетическое значение. Это может быть исполнение текста, критическая оценка текста, комментирование и толкование, авторское издание текста (бук-арт), а также различные виды присвоения текста – центоны, коллажи, литературные реди-мэйдз и др.».

Продвинутые перформансисты поведали поэтическим лохам Саратова о такой, например, акции, общепринятой в Москве, как сдача поэтами своих уже надоевших текстов в некий общий банк данных, откуда другие авторы имеют право их «выкупать», после чего они уже становятся их собственными.

Я невольно посмотрела на календарь – не первоапрельский ли розыгрыш? Нет, на дворе был май. Журналист «ЗО» был в восторге от прикольных речей столичных визитёров (это было видно по благоговейному выражению его лица на экране), да и телеведущие не позволили себе ни грамма иронии. В заключение заметки Б. Глубоков выразил надежду, что «приезд московских перформансистов будет не последним». А я вспомнила, что по поводу таких «перформансов» писал Лев Гурский в своём новом романе «Траектория копыя». Там описывается галерея некоего Мурата, «теоретика тотального приколизма», который так рассуждал об искусстве:

«Искусство до недавних пор делилось на комфортное и дискомфортное. Простенькая бинарная оппозиция, проще ослиной какашки. Искусство комфортное – это классика, искусство дискомфортное – авангард. А что теперь? Классика загнулась, авангард переболел авитаминозом, стал ручным, выродился в дизайн, и даже от большинства вчерашних перформансов прёт нафталином. Прикол – вот он, символ нового тысячелетия! Мы перешли из эпохи искусства пассивного созерцания в эпоху искусства дебильной провокации, искусства тотального приколизма... Поэтому так важно личное участие в акциях самих художников, этих мандавошек прогресса». Вот здесь вся эта мутотень выведена на чистую воду, и голый король современного искусства наконец-то назван своим настоящим именем.

«В Саратове недавно поэтический перформанс выполнил г-н Сокульский, однако они уже бывали – под руководством Мурата Новосельского – в честь Пушкина и против

агрессии НАТО в Югославии», – спешит заявить о продвинутиости Саратова Б. Глубоков. И мы, дескать, не лыком шиты. Взахлёб хвалит новую книгу Сокульского с «замороженным названием «Безение» в своей заметке «Поэзия Сокульского крутая...», подробно пересказывает предисловие к ней автора. «Но всё-таки предисловие – фигня в сравнении с самими поэтическими текстами», – утверждает журналист и в подтверждение сего цитирует:

Мой старый друг сопьётся в этот раз,
он вспышками больными восклицает, (!?)
неврастенически с подкорки оглашает
картинки детства – памяти матрац.(?)

Не знаю, что здесь бульшая «фигня». «А всё-таки главное – сами тексты. От этого не отвертишься: надо читать. Сокульский – настоящий поэт». Да хоть трижды повтори, стихи от этого лучше не станут. «Роза пахнет розой, хоть розой назови её, хоть нет». И наоборот. Хоть «перформансом» это обзови, хоть «акцией», хоть «сейшном», «хотя осыпь его звездами», это останется тем, чем, в сущности, является: детскими играми не наигравшихся в детстве людей, стремлением любым путём обратить на себя внимание. «Детские забавы взрослых шалунов», – так, помнится, называлась заметка в одной из местных газет.

Всё, чем занимаются эти люди – это не поэзия. Это карнавал, хохмачество, хэппининг, то есть образец существования при поэзии. А всё, что не поэзия – графоманство, как бы красиво оно себя ни называло. Поэт пишет стихи, а графоман пытается придумать, сконструировать нечто похожее. Конструируют не только тексты, но и имиджи. Какая это поэтесса? Да та, что пострадала от органов из-за наркотиков. Какой это поэт? Да тот, что стихи в красном берете читает. Уже ни с кем не перепутаешь.

Настоящее стихотворение – это откровение, оно рождается тогда, когда «строку диктует чувство». К сожалению, часто приходится читать стихи, продиктованные только «игрой ума», и это ещё не самое скверное. Гораздо хуже, когда за ними стоит единственное желание «выделиться» любой ценой, произвести впечатление чем угодно: нецензурной бранью, цинизмом, преднамеренно организованной бессмыслицей. Как мы истосковались по живой, человеческой поэзии, с человеческим лицом, с человеческим языком. Мы устали от выделанных вещей, которыми пестрят толстые журналы, от затопившего их потока «поэтического бессознания», от обилия тёмных и общих мест, ничего не добавляющих ни уму, ни сердцу, от нечленораздельных звуков, выдаваемых за новое слово в поэзии.

Ну вот послушайте:

Ё к л м н
о п р с т
альфа Омега
Омон и Атон

Это не ругательство, не детская считалочка, это стихотворение современного московского поэта Филиппа Минлоса, которому у нас в Саратове в 1999 году была вручена премия под названием «Очень своевременная книга». Собственно, это событие и стало поводом для проведения тогда в августе «мини-литературного фестиваля» в нашем городе. На нём упомянутый Минлос со своими друзьями-поэтами читал стихи и делился нехитрыми секретами их создания. Помните, Маяковский нам разъяснял, как делать стихи? Так вот у Минлоса свой метод. Источник вдохновения он находит в «Независимой газете», в рекламе и т.д. Просто берутся строчки, которые более-менее соответствуют

этому ритму, ляпают их друг к другу, не заботясь ни о рифме, ни о благозвучии, ни тем более о смысле, и – очередной шедевр готов:

Успешный выход
на мировые
финансовые
с новой валютой
в глазах основной
населения
просто надёжной и т. д.

Это тот случай, когда постмодернизм наложился на маразм. Я тогда, помню, позволила себе публично ироническую реплику, не предполагая, что по поводу сего рифмотворчества могут быть иные мнения. Оказывается, ещё как могут! Во все местные газеты была разослана анонимная информация ПИА, где нападки на меня перемежались с уверениями в гениальности опороченного мною пиита. Вскоре он выпустил в Москве книгу подобных виршей, сляпанных по своему фирменному рецепту, и Т. Зорина по саратовскому ТВ с восторгом демонстрировала нам её презентацию в музее имени Чернышевского.

В основе всех этих перформансов – циничный расчёт на то, что наивный читатель не решится назвать короля голым и будет думать над всей этой ахинеей, что бы это значило, что хотел сказать автор, искать какой-то глубинный смысл. Непонятно, но круто! Особой гордостью этого поэта было то, что он переплюнул в количестве самого Пригова (аж 65 тысяч стихов!) Небезызвестный автор «Гаврилиады» писал, помнится, ещё больше. «Может быть, среди таких минлосов действительно пробьётся хотя бы одно настоящее дарование?» – с надеждой вопрошал автор тогдашней газетной статьи. Сомневаюсь.

Тот литературный фестиваль (предтечу нынешних перформансов) организовал в августе 99-го С. Рыженков, «известная в прилитературных кругах личность», как именуют его газетчики, с целью «показать, что есть ещё порох...» «Но в общем-то, само начинание Рыженкова заслуживает особого внимания, – пишут они. – Ведь из-за нашей теперешней разобщённости мы потеряли всякие ориентиры в литературной жизни нашего города». Избавь нас бог от таких ориентиров.

Никакого пороха, конечно, эти ребята не выдумали. Весь этот футуризм – давно уже пройденный этап, что развенчан и дискредитирован нашей историей, но выдаётся ими за нечто новое. Минлос даже назван в послесловии к своей книге «предтечей прекрасной эпохи».

Ещё в 1914 году в нашем городе произошёл забавный эпизод, связанный с модным тогда в околосредственолитературных кругах футуризмом. В начале февраля (3 – 5-го) в Саратов приезжал с лекциями об искусстве поэт Фёдор Сологуб. Читал он их в бывшем Коммерческом клубе на улице Радищева (ныне Дом офицеров). И каждый день писал письма жене, где делился своими впечатлениями. Вот отрывок из письма Сологуба Анастасии Чеботаревской, в котором рассказывается этот эпизод: «Передо мной в четверг был вечер о футуризме. Четыре местных молодых шалопаи выпустили глупый альманах под футуристов, назвали себя психо-футуристами. Публика и газеты местные приняли это всерьёз, в газетах было много статей, публика альманах жадно раскупала. На вечере в Коммерческом клубе эти господа открыли, что они пошутили, чтобы доказать, что футуризм – нелепость. Теперь саратовцы очень сердятся на то, что их одурачили».

Вот вам лишнее доказательство того, что это не искусство, если его так легко симитировать и подделать. Конечно, продолжать русскую классическую традицию трудно, да и немодно. А «новое платье короля» каждый дофантазирует в меру своих способностей. Но после футуристической зауми, после обериутов, быстро прошедших всю шахту и вернувшихся из тупика (Заболоцкий), редкая порода была выработана,

нельзя же в десятый раз рисовать чёрный квадрат. «Вообще возможности безумия, в отличие от разума, крайне ограничены, – пишет А. Кушнер. – Безумие однообразно. Стихи, лишённые смысла, стихи без знаков препинания, стихи, записанные сплошным текстом, как проза, стихи с ненормативной лексикой, наконец, буквально завывание, бляение, мяуканье, вот, собственно, и всё. «Остальное – молчание».

Они всерьёз полагают, что пришло их время, но всего лишь подбирают крохи с барского стола безвременья. При чём здесь читатель? Разве хоть кто-то сегодня с упоением читает всех этих холодных головоногих писателей постмодерна? Разве им нужен читатель вообще? Пастернак говорил, что никогда не понимал этой мечты о новом языке, о совершенно оригинальной форме выражения. Из-за этой мечты большая часть написанного в 20-е годы – того, что было лишь стилистическим экспериментом – перестала существовать. Наиболее значительные открытия делаются тогда, когда художник переполнен тем, что хочет сказать.

Поэт приходит в мир и выражает себя, свою сущность, делится своими впечатлениями о жизни, щедро делится своей любовью. Для меня тут ценно и важно, когда это всё не по расчёту, не из желания понравиться публике, завоевать её или ошарашить, а по внутренней душевной потребности, по таинственному Предназначению, которое он исполняет, потому что просто не может иначе. Ряженых от поэзии волнует собственный имидж, они ломают голову, что бы такое ещё сотворить, чтобы утвердиться, чем бы запомниться, а поэту всё это не нужно. Он наслаждается возможностью самовыражения. Это его жизнь, его судьба.

Мне часто приносят и присылают по почте свои стихи зачастую никому не известные и никогда не публиковавшиеся авторы. Но у меня нет снобистского априорного предубеждения к ним, ибо я знаю, что сейчас такое время, когда свободно может остаться незамеченным «новый Пушкин». Как бы я ни была занята, я обязательно найду время просмотреть стихи, и нередко моё терпение бывает вознаграждено отысканной удачной строчкой, свежим образом, яркой мыслью, а порой и открытием нового имени, нового таланта. Когда моя коллекция поэтического «позитива» (я собираю не только «шедевры» в кавычках) значительно пополнилась, я решила познакомить саратовских любителей поэзии с новыми неизвестными авторами, выбрав наиболее интересное из их творений. Пригласила на этот вечер Союз писателей, журналистов, критиков, даже некоторых чиновников. Не пришел никто. Кроме обычных слушателей, разумеется. Потом я рассказала об этих неизвестных миру поэтах в своей книге («Письмо в пустоту»).

В их стихах было то, чего нет в стихах нынешних корифеев, лауреатов Букеров и Антибукеров, то есть душевная чистота, искренность, неподдельное чувство. Не трогают меня в современной поэзии ни изысканная клоунада, ни разудалый цинизм, ни эстетское пижонство. Поэзия сейчас заражена дурновкусием: от жеманного псевдоаристократического манерничанья до рифмованного сленга и стёба. Читаю, например, строчки одной из модных поэтесс:

И не видно, как в сверкающей
вышине летает сам собой
гражданин охуевающий
с распиздяйкой молодой.

Чем такие стихи отличаются от тех, что пишут на заборах и в туалетах? (Вспомнился анекдот: «Чем отличается хомячок от крысы? У него пиар лучше»). Стихи эти сопровождаются дифирамбами журнальных критиков: «Её предельно раскованный стих, насыщенный сленгом и ненормативной лексикой, сохраняет все качества высокого стиха... Одной из первых Н. Искренко заговорила на том расхристанно-эротическом языке, который после неё столь успешно использует Вера Павлова». Вера Павлова, («Верка – сексуальная контрреволюционерка», как игриво называет себя эта почтенная

мать семейства), дважды номинант премии Антибукера, лауреат премии Аполлона Григорьева, получившая за свой «расхристанный» дар 25 тысяч долларов. Она не уступала в «раскованности» Искренко и даже где-то превзошла её по виртуозности мата. Игорь Меламед писал о ней в «Литературной газете» (и этот голос прозвучал диссонансом в общем хоре похвал): «Такой оргазм! Аж слёзы брызнули...» и т.д. Этот, с позволения сказать, «текст», я не извлёк из мусорной корзины провинциальной газеты и не прочитал на стене в своём подъезде, это стихи из книги Веры Павловой... Говорят, эту поэтессу выдвигали на какую-то престижную премию. Я горячо поздравляю господ номинаторов...» К этому списку можно добавить ещё Нину Краснову, частого гостя на ТВ, чьи матерные частушки собирают сейчас в Москве большие залы. Как-то это всё несерьёзно. Какой тут «разрыв аорты», какая «почва и судьба», какая «гибель всерьёз!» Б.Чичибабин говорил о таких стихах: «Так с Богом не разговаривают».

Года полтора назад поэты Юлий Беликов и Марина Кудимова предприняли беспримерный рейд по российским тылам, издав сборник «Приют неизвестных поэтов». И со страниц этой книги явился подлинный потрясающий лик русской поэзии, никакого отношения к столичным бомондам не имеющий.

Подлинность, естественность, человечность теперь не в моде. Как тут не вспомнить сказку Андерсена о том, как один из соискателей руки принцессы преподнёс ей розу и соловья, но та, узнав, что они настоящие, а не искусственные, возмутилась и отвергла недостойные дары. Посмотрите, какие поэты удостоиваются внимания редакторов, критиков? Те, кто пишут в необычной манере, экспериментируют, как они считают, со стилем, языком, называют свои опусы как-нибудь экзотически, не стихи (фи, стихи – кому это интересно), а, скажем, «Стихиры на стиховне» (так называлась чья-то подборка в «Волге»).

Котируются последователи метаметафористов, (которых Вс. Некрасов назвал метааферистами), ценятся подражатели Пригова, продолжатели Бродского, (даже направление новое открыли: «бродскоцентризм»). В этих запальчивых судорожных поисках новых форм, современных стилей теряется главное – подлинность, нешуточность высказываемого. Цитирую И. Горелик, из её «монологов»: «Любая игра сегодня – литературная или театральная – кажется мне каким-то паллиативом, пиром во время чумы. Она может быть даже интересна. Но когда начинаешь готовиться к разговору с Богом – то какие тут игры»

Но многие поэты у нас никак не могут наиграться. Появился даже такой термин, как «антипоэзия». «Поэт выступает зачинателем «антиискусства» в европейской литературе (французские поэты, например, начали осознанно заговаривать об «антипоэзии» – пишет поэт (или антипоэт?) Геннадий Айги, восхищаясь творчеством Василиска Гнедого, в частности, его поэмой из одинокой буквы «Ю» и чистым листом под названием «Поэма конца»).

Стихи самого Г. Айги столь же мало похожи на стихи в общепринятом смысле слова, что и у его предшественника, критики нашли им определение: «сны-тексты». Вот один из таких текстуальных «снов»:

как снег Господь что есть
и есть что есть снега
когда душа что есть
снега душа и снег
а всё вот лишь о том
что те как смерть что есть
что как они и есть
есть так что есть и нет
и только этим есть
но есть что только есть

а Бог опять снега
а будь что есть их нет
снега мой друг снега
душа и свет и снег
о Бог опять снега
и есть что снег что есть

Ты еще не заснул, читатель? Убаюкивает, правда? («Сон катится золотой», – вспомнилась сакральная строчка Кековой). Идею о «творческом» сне подал Геннадия Айги Ф. Ницше, писавший: «прекрасная кажимость сновидческих миров, порождая которые, каждый из людей выступает как художник...» Айги особенно подчеркивает важность периода перед засыпанием. Затем у него «сон» переходит в «молчание», и в этом происходит «авангардная» попытка слияния природы и искусства, – пишет теоретик «зауми» С. Бирюков. И уточняет: «Пусть попытка не удаётся... но останется искусство как возможность». То есть опять-таки кажимость поэзии. Но ещё Гоголь связывал сакральную поэзию не с кажимостью, а с «верховой трезвостью ума». Вот образчик того, что внушаемые читатели принимают за крайнюю оригинальность и новаторство: «чиста проста/ глубоко и почти без места/ и тих и незаметен/ светлы и широки/ сплю весь/ и сейся/ мерцать замешиваться взорами/ и сеется/ и суть».

«Вопреки правилам грамматики и нормам словоупотребления» Айги выработал «особый синтаксис своих стихов», – восторженно пишет критик Леон Робель. И поясняет: «В самом начале своего творчества Айги работал как Лермонтов или Маяковский...» Не больше и не меньше! Но со временем Айги «под влиянием Малевича понял, что есть ещё более высокая поэзия, нежели «исповедь Лермонтова-Маяковского». Хоть плачь, хоть смейся. «Смежили очи гении», одним словом. Король умер. Да здравствует голый король!

Из письма моей читательницы: «Сколько себя помню, я всегда читала стихи. И далеко не всегда они ложатся в душу. А много и такого, от чего физически начинает подташнивать: такие выверты, такие выкрутасы, никогда не пойму этого».

Экспериментальные стихи мертвеют на ходу, не давая дочитать себя до конца. Слово, лишённое смысла, мстит за себя, оставляя лишь пустую оболочку и закрывая доступ к душе читателя. В. Чичибабин хорошо сказал об этом:

Когда ж из бездны зол взойдёт твой званный час,
из скудости и лжи, негядан и неведом,
да взлетит твой стих, светясь глубинным светом,
да не прельстится ум соблазном выкрутас.

Новаторство – это дело старое. Не то хорошо, что ново, а ново то, что хорошо. Нет проблемы специальной новизны, и нечего тут форсировать. Наум Коржавин даже в противовес модному «авангарду» стал издавать свой журнал «Арьергард» с таким предисловием: «Лиц, желающих двигать искусство вперёд – просим обращаться в другие журналы». Да и Пушкин считал, что прогресса в литературе быть не может. Он говорил, что прогресс существует в промышленности, производстве, но его не может быть в литературе.

Владислав Ходасевич считался современным поэтом, даже «раненным современностью» (Нина Берберова), а всю жизнь демонстративно писал классическим ямбом и от этого не стал менее интересен. Указка литературной моды над ним была не властна. Ходасевич не признавал заумь в стихах, считая, что «решать крестословицы – зря потерянное время, ибо короткий и бедный смысл не вознаграждает нас за ненужную возню с расшифровыванием, – кому охота колоть твёрдые, но пустые орехи?» «Что, как не признак умственного разложения – вся эта орда биокосмистов, формлибристов, фуистов, конструктивистов и попросту ничевоков?» – писал он.

Я – чающий и говорящий.
Заумно, может быть, поёт
лишь ангел, Богу предстоящий,
да Бога не узревший скот
мычит заумно и ревёт.
А я – не ангел осиянный,
не лютый змий, не глупый бык.
Люблю из рода в род мне данный
мой человеческий язык.

Дон Аминадо в своих мемуарах рассказывает эпизод, как на одном из вечеров – это были 20-е годы – кто-то из поэтов прочёл стихи Майкова, которые футуристы осмеяли, как прошлый век. А имажинисты прибавили, что это не поэзия, а лимонад. И только один Ходасевич встал и отрезал: «С ослиами спорить не буду, а скажу только одно: это и есть настоящая поэзия, а через 50 лет ослы прозреют и поймут».

Прошло 50, и ещё 30, а некоторые всё никак не прозреют. Переболев абсурдом и заумью, поэзия вернулась к поэтическому смыслу, к «бессмертному солнцу ума», завещанному нам Пушкиным. Но рецидивы той давней детской болезни, как видим, встречаются и сегодня.

Неужели же нет первоначальных, осмысленных слов,
и от жизни улов оказался до жути мизерным?
И со свалок журнальных гремит щебетанье щеглов,
и бездарная заваль себя называет модерном!

Иван Елагин

Всё повторяется, история ничему не учит. «Небезызвестный в прилитературных кругах» С. Рыженков опубликовал в журнале «Новое литературное обозрение» (№5, 2000) статью «Литературный регионализм: путь Саратова», претендующую на анализ литературной жизни нашего города. Сообразуясь со своими вкусами и дружескими пристрастиями, он уделяет внимание, в частности, организаторской литературной работе Мурата Новосельского, «через которого «рекрутируются кадры», Евгению Малякину, «постоянно принимающему участие в скандальных саратовских медиапроектах», Борису Глубокову, «который пишет о культуре для нескольких изданий». У Рыженкова вы найдёте также упоминание О. Бербер, С. Шиндина, Этера графа де Панны, Е. Заугарова... Всё это имена, которые мне лично ничего не говорят.

В другой большой статье «Либо ты поэт, либо ничего об этом не знаешь», опубликованной за подписью К. Калугиной, но написанной со слов Е. Малякина («Расклад», 26.02.2004), рисуется более подробная, но опять-таки чисто субъективная панорама местной околотературной жизни. В разряд удостоенных внимания Малякина входят тот же Рыженков, осчастлививший город в свои редкие наезды из Москвы «литературными фестивалями для узкого круга», всё тот же Мурат Новосельский, «единственный в Саратове культур-треггер», чьё «объединение молодых поэтов работает плодотворно, хоть и овеяно неким налётом скандальности». Скандальность – как для Рыженкова, так и для Малякина, как я понимаю, одно из важнейших условий присутствия в литературе. Честно говоря, при словах «культур-треггер», да ещё «единственный в Саратове», по отношению к Новосельскому, я поперхнулась. К человеку, для которого настольной газетой является «Земское обозрение», по-моему, эти слова абсолютно неприменимы. В числе молодых поэтов, входящих «в группу Мурата или примыкающих к ней», Малякин отмечал Юзю Леськину, печатавшуюся в столичных журналах, чьи тексты

Б. Глубоков называет «непролозно эквилибристическими», («она синтаксически изоощрённо пытается ответить на мучительные вопросы бытийности: «...худшее в квартире – картины, ужаленные в своё никуда.»).

Малякин называет также уже упоминавшийся мной поэтический клуб «Арт-система» («каждый последний четверг месяца в зале престижного ресторана проводятся встречи с чтением стихов») и группу молодых поэтов под руководством А. Александрова, публикующихся в своих альманахах («Василиск», «Пятница»).

Возможно, среди поэтов, входящих во все эти тусовки, есть и талантливые, не знаю. И, я считаю, главной задачей авторов обзорных статей, претендующих на оценку литературной жизни Саратова, должна была стать именно эта: отыскать среди сонма рифмующих, «ужаленных в своё никуда», талантливых, с «лица необщим выраженьем», и представить читателям. При этом совершенно неважно, в какие группы они входят и входят ли, где печатаются и печатаются ли вообще. Малякин авторитетно заявляет о «наличии в нашем городе поэтической школы, представленной именами Ярыгина, Ханьжова, Кековой, Рогова». «Нет школ никаких. Только совесть,/ да кем-то завещанный дар...» – писал В. Соколов. Нельзя никого ничему научить. Талант всегда индивидуален. Малякин дважды – в начале и в конце статьи — приводит слова С. Рыженкова, как некоего гуру и пророка: «Интересно, сбылись ли пророчества С. Рыженкова, говорившего: «В Саратове литературная жизнь начнётся тогда, когда все друг с другом перестанут дружить и начнут грызться?»

Литературная жизнь – это не грызня и не дружба околелитературной братии. Это стихи, это книги. Не тусовки, а личности.

В качестве постскриптума Малякин пишет: «Сегодня количество выпущенных автором сборников – отнюдь не критерий таланта. Напечататься может любой, потрудившийся отыскать на это средства». Правильно, не критерий. Так же, как не критерий и факт публикации в журнале и альманахе, что зависит сейчас от множества факторов: дружеских и деловых связей, вкуса редактора, настойчивости и пробивных способностей автора, его финансовых возможностей, но почти никогда – от таланта. Вот вам образец публикации «шедевра» в «Новом мире» (№3, 2004), принадлежащего перу редактора этого журнала А.Василевского:

амелин
как ты смеешь
писать стихи
после 11 сентября.

Что, нравится? То-то. А появись сейчас новый Борис Чичибабин, Вероника Тушнова, Ирина Снегова – их бы на пушечный выстрел к этому журналу не подпустили.

Вот еще такое же конгениальное:

Мне скучно без
Что делать
Фаулз
Как тварь разумная скучаю

* * *

за что за что
за куршавель

(«Новый мир», №6, 2004)

Е. Степанов в «Независимой газете» от 19 августа 2004-го уважительно называет сии творения «танкетками», сетуя лишь на то, что Василевский в своем журнале печатает только свои «танкетки», но не степеновские или его друзей. Пользуясь, так сказать, служебным положением. Но читателю, думаю, с лихвой хватит и этих.

Так что, мне кажется, гораздо достойнее заработать денег и издать свой сборник самому (если стихи стоящие – их заметят), чем унижаться, юлить, накрывать столы, мельтешить перед спонсорами и редакторами, чего, как известно, служенье муз не терпит. Ю. Мориц остро чувствовала, как недостойно всё это поэта, когда писала:

Люблю я деньги получать
и радовать семью,
но не могу толкать в печать
поэзию мою.

В «Книжном обозрении» (12.04.2004) в статье «Одинокое дело молодых» сетуют, что «Арион» – этот единственный в России толстый журнал поэзии» – уже не будет, как прежде, «открыт для смелых поэтических экспериментов и всевозможных творческих инноваций», так как главный его редактор А. Алёхин «окончательно сделал ставку на умеренную неомодернистскую эстетику» и повернулся спиной к «подлинно актуальной поэзии». Всё это говорилось в осуждение новой установки журнала, а я подумала с облегчением: слава богу. Может быть, хоть здесь теперь появится поэзия «с человеческим лицом». Не нужны никакие «творческие инновации», литературные приколы и стилистические «новшества». «Талант – единственная новость, которая всегда нова», – как сказал Пастернак.

Кажется, некуда деться от дутых имён.
Кажется, нечего делать до лучших времён.
Всё-таки дело найдётся.
Всё-таки думать придётся.
Всё-таки вольная песня в России жива.
Всё-таки каждый второй понимает слова.

Дм. Сухарев

2. Бредит сивая кобыла...

Это строчка из сборника стихов Т. Фокиной «Философские крохи», который недавно попался мне на глаза: »Бредит где-то сивая кобыла,/ дебет-кредит странно сочетая...» Невразумительная сама по себе, она тем не менее довольно точно определяет характер поэзии тех авторов, которых я хочу сейчас представить. Собственно, представлять их особо не нужно, они достаточно известны в литературном мире Саратова. Стихи их постоянно мелькают в местных газетах, звучат по местному радио, с чем мне весьма трудно примириться.

Когда я позволила себе высмеять в своей предыдущей книге некоторые их «перлы», задетые за живое стихотворцы подняли шум на весь город, обвиняя меня в том, что я порочу в их лице саратовскую поэзию. Один член СП делал выпады в мой адрес – зачем, дескать, «уничтожать другую эстетику», «пусть расцветает сто цветов». Цветов – пусть, но не чертополох, не сорняки огородные, их надо пропалывать беспощадно, чтобы они не задушили настоящие ростки. Ну посудите сами, что это за «эстетика».

Новоиспечённая книга стихов Н. Куракина «Русский вопрос». Постоянный исследователь и неустанный пропагандист его творчества Е. Мартынова пишет: «Перед нами – книга русского патриота, по духу и по сути своей. Судьба России, её боль, её печали и кручины волнуют автора «Русского вопроса» прежде всего» («Деловая газета», 05.05.2004). Что же именно «прежде всего» волнует и беспокоит автора?

Порносайты, децлы, интернет...
Духа русского здесь нет как нет.

Нет, не застольем андалузским,
сроднились мы – простором русским.

В нас пузо – всё ширше, а лобик стал узким.
Не русский в нас дух, а надо б – чтоб русский!

Вот уж поистине квасной патриотизм. Вспоминаются строки Михаила Кульчицкого: «Я б запретил декретом Совнаркома писать о Родине бездарные стихи». Но... «Смежили очи гении. Нету их – и всё разрешено» (Д.Самойлов).

Как выразился Б. Глубоков в заметке о книге Куракина: «Рецензировать изданное Куракиным – себе, как говорится, дороже». Это уж точно. Но я за ценой не постою.

На малейшее критическое замечание Куракин реагирует бурно, с неадекватным событию пафосом:

Ты снова на месте лобном.
Палач наострил секиру...

Знай, занесён злоприпасённый кнут.
Из-под удара ты уже не выйдешь.

Как на алтарь, опять взойти на плаху...

Не хочется уподобляться палачу с секирой, но что делать с такими, например, стихами, которые так и просятся в пародию?

Иду помалу на ущерб.
Что делать? – лучшей половиной.

(Это какой же? – невольно напрашивается вопрос). Или:

А коли боль берёт в тиски –
сжимай виски.
Чтоб уберечься от тоски –
стирай носки.

(А когда тоска пройдёт? Будет ходить в грязных, что ли?) Ну как не смеяться? Пётр Вяземский не мог удержаться в таких случаях: «Как только глупость где подмечу, сейчас зачесется перо». Лучше всего суть куракинского творчества выразил сам Куракин:

Что ж наш гонор всё прёт на котурны,
как гора, породившая мышь?

Некоторые поэты, стремясь идти в ногу со временем, в спешном порядке обзаводятся религиозными темами, внутренне им совершенно чуждыми.

Я ухожу в молчанье, как
уходят в монастырь,
приняв постриги.

Святая Русь!
Ударь в колокола!

То, что Куракин способен «уйти в молчанье», вообразить ещё труднее, чем его уход в монастырь. Невольно вспомнишь пророчество Блока: «Скоро каждый чёртик запросится/ко святым местам».

Г. Адамович в своё время предложил стихотворцам следующую «памятку»: «В поэзии недопустимы: обман, притворство, поза, кокетство, фокусничанье, комедиантство, самолюбование, развязность, баловство, ходули». По-моему, в стихах Куракина нарушаются все десять заповедей. Самолюбование, напыщенность, рисовка, нестерпимая пафосность лезут в глаза чуть ли ни из каждой строчки.

Возвысив омовеньем тело,
себя прочувствуй – вглубь и вширь.

(Это что, о принятии душа?)

Ты еще нужен России – взвихривать версты дорог!
(о себе, любимом)

Спешу к тебе я, утренний трамвай!
(о поездке на работу)
И в другом:

Благодарю тебя за всё, трамвай!

Ну просто «многоуважаемый шкаф» какой-то. Стихи гроыхают, не затрагивая сознания. Ну как всерьёз воспринимать образцы подобного велеречия: «И солнцелики вскрики одуванов». «Как сам Куракин пишет по другому поводу: «В каком-то истерическом гротеске фиглярствуют безумные слова».

Тоска по новизне и отмена цензуры создали ситуации, при которых искусство утратило какие бы то ни было рамки и ограничения. «Самовыражаться» стало легко. Нерящество и безответственность вошли в моду. Возомнивший о себе до небес пиит решает, что русский язык ему не писан, и на свет нарождаются «первокрылки любви», «жаровная страсть», «немый рот», «Богом даденная милость», «колокольцев вздрог», «шёпот березный» и такие перлы, как «вздышать», «в щели рассохнулась кадка», «взяла сонючая болезнь,/ задрыхлый сплю, как кошка», «с чистого в кровь начинать мне листа». (Чтобы не было обидно Куракину, добавлю ещё одного, попавшего под руку: «Жизнь такова – не грязнуть в разносолох» (Д.Руфанов). Ну есть же какие-то нормы, правила, в самом деле, и нельзя их грубое нарушение ничтоже сумняшеся выдавать за новаторство. Далеко не все изыски плодотворны и не все поиски плодоносны. Чтобы создавать неологизмы, необходимо иметь чувство слова, уметь слышать поэтическую речь. А когда читаешь у Куракина: «Вздросни! И возродись в слове. Ты здесь, чтоб целить их изъязвленные души», то действительно вздрагиваешь и спотыкаешься на слове «изъязвленные» – попробуй-ка выговорить это вслух! Так же, как и «на всхолмленной горе», «суглинок

изржавый» или, у Гнutowa: «любовь, ты Евье лежбище», «смердя чёрной кровью вранья, царит кривоклювье бесправья», – это уже не стихи, а какие-то упражнения для логопедов.

Сказать просто – это высшее мастерство, особый дар, особый уровень. Недотягиванье до него повсеместно. У Владимира Соколова есть прекрасные строки: «Как я хочу, чтоб строчки эти/ забыли, что они слова,/ а стали – небо, крыши, ветер,/сырых бульваров дерева». Огромная масса стихов не дают ни неба, ни ветра, ни сырых бульваров, ничего, что было бы осязаемым, видимым. Как вы думаете, что это значит:

Ты целуешь, тычась лисьим
жаром губ любви своей
лань кусающая листья,
разве может быть нежней?

Нет, не может влажный шёпот
быть нежней вины, и дань
отдавая, нежить ропот
листьев ласковая лань.

А.Гнutow

Полное забвение всех законов русского языка, всех падежей и склонений. Только спяну можно бормотать такое. Что это? Безграмотность? Словоблудие? Речь, вышедшая из-под контроля сознания?

Женщину расплёскиваю,
как воду из ковша,
всклень наполненного
долгим ожиданием.

Это, простите, как? А вот “высокое словоблудие” от Бориса Глубокова:

Или потеха, или примета,
или словарь невозвратного лета,
полочки мыслей, гуляющих где-то,
нашего в детстве большого секрета
тень на декабрьском снегу.

Тронь эти стрелки – ты королева,
тополь на том берегу.

Такие, с позволения сказать, стихи появляются, когда «полочки мыслей гуляющих» гуляют где-то слишком далеко от своего природного обиталища. Или, проще говоря, когда не все дома. При чтении подобных виршей чувствуешь себя особенно неприятно: это оскорбительное чтение, хочется потребовать сатисфакции от сочинителя, позволяющего себе демонстрацию такой безобразной умственной распущенности.

Молча выразит снисхожденье
кто-то дальний и безучастный.

У меня к таким стихам нет снисхожденья. Как тут не вспомнить Булгакова: «И галиматъя совершенно заполонила их драгоценные головы». Читаю А. Амусина:

От тебя не нужно мне
ни добра, ни золота...
Что ни дашь – гвоздь по спине, (?)
да стекло от молота... (!?)

Возьму песню новую,
В ней останутся луна,
наши звёзды с вишнями...
Допою один до дна (!!!)
и не надо лишнего!

Здесь лишнее всё, до единого слова. Что это, как не матёрая графомания и беспросветное рифмоплётство! Впрочем, в последнее время всё реже они себя утруждают и для рифм. Это гордо именуется «потокосознанием» (или бессознанием), верлибром. Знаками препинания тоже не утруждают. Долой грамматику с корабля современности!

Скрипи суета вами январь
плясал под ёлкой
и взгляд его то убивал, то как иголка
в усталый мозг впускал струю,
А новый год всё проходил,
всё так же тихо.

Кирилл Нитуц

А как вам этот шедевр?

Она всю жизнь смотрела на всё свысока.
Она боялась сделать что-то не так.
Боялась, что люди её не поймут,
если она сделает что-то не то.

Лишь когда наступает ночь,
она во сне мечтает летать,
но только стоит открыть ей глаза,
она снимает трусы, и танцевать начинает вальс.

Моя подруга говорит о звёздах
и при этом мечтает напиться скорей,
и упасть в тарелку лицом.

Дмитрий Литвинов

Даже витающая здесь тень Макаревича не способна одухотворить подобную дребедень. Поэт Борис Рыжий был удивительно терпимым человеком, любимыми словами его были: «Но с другой стороны – уступи, тебя не убудет, их тоже можно понять...» Но он же не мог согласиться ни с какими компромиссами в литературе. Николай Коляда вспоминал, как они спорили по этому поводу:

– Ну что ты за человек, Боря?! Ты всё хочешь шашкой порубать! – А тот отвечал:
– Графоманов рубить надо, не надо чикаться с ними! Им прямо говорить, кто они! Вот я и рублю!

Когда Рыжий был литературным сотрудником журнала «Урал», он придумал для таких графоманов новую рубрику «Граф Хвостов» (был такой бездарный стихотворец в 18 веке. Известна ироническая ода Пушкина «Его сиятельству графу Дм. Ив. Хвостову»). «Там могли бы печататься различные престарелые члены СП, – предложил Рыжий, – и им приятно, и читателю всё понятно».

Мне кажется, большинству стихов, печатающихся в саратовских СМИ, такая рубрика явно бы не помешала.

Поэзия нуждается в охране, как природа и памятники культуры. В охране от фальши, конъюнктуры, глупости, пошлости, пустозвонства.

Голос твой красивый, чистый, сильный,
будто бы апрельская роса.

И пусть не дрожат колени,
что было для Вас и от Вас.

Мы приходим, чтоб верить Любви,
Мы уходим, чтоб с нею расстаться
и понять, что такое богатство
сердца, вытканного на крови...

А.Амусин

Кажется, уж насмерть заезжена традиция пафосного прекрасногоговения банальностей и бессмыслиц. Ан нет – всё жив курилка. И по-прежнему несёт ахинею. И по-прежнему это называется «стихи». Ох, нет на них пародиста А.Иванова! Как бы его порадовали строчки Амусина:

А рядом дом, пустырь, две тени
легли, что раны, на дорогу...
Одна, ругаясь, скрылась в сени,
другая стынет над порогом...

Окошко правое с угла,
и силуэт, где память тени,
дрожит и плачет до утра,
зажав ладонями колени.

Что это за тени такие, которые ругаются, дрожат и плачут, да ещё «зажав ладонями колени»? А как вы думаете, что это значит: «а старость обольётся детством» или «швыряться клятвами, как рваною одеждой»?

Е. Винокуров писал: «Поэзия – верховный акт мысли». «Поэты – это Мастера мысли». Здесь же – полное без-мыслие, бессмыслица.

И снова карты достаю и жду,
когда пред дамой две девятки лягут,
одну сегодня в ярости сожгу,
другую оберну в твои наряды... (!?)

* * *

Не поверю, а раскину росами (?)
все мгновенья, что ждала под звёздами,
с ночи вытку млечный путь исканий (?)
и укрою боль воспоминаний.

А затем уйду с попутным ветром
в будущее, чтобы ждать карету, (!)
что, пройдя сквозь толщу поколений,
принесёт заветное мгновенье...

Неисповедимы пути поэтической “мысли” этого стихотворца. Если “раскинуть” не “росами”, а мозгами, то станет очевидно, что «это же глупость в квадрате маразма» – говоря словами самого же Амусина.

Открываю Ларису Миллер:

Что за окошком? Там светает.
Что будет завтра? Снег растает.
О Божий мир, моей душе
дари не ребусы – клише.

Как же хорошо-то, Господи. Вот где поэзия.

3. Мёртвая вода

В «Литературной газете» (№14, 2004) в обзорной статье «Гадание по парадигме» её автор Нина Ширяева, анализируя содержание «Нового мира» (№3, 2004), в частности, пишет: «В разделе «Литературная критика» – весьма разумная статья И. Васильковой о поэзии С. Кековой. Впрочем, и она крутится, не решаясь сказать безоглядную правду о участниках своей же тусовки: «А король-то голый!» Что ж, дайте срок, ещё скажут».

Что касается меня, то я по поводу стихов С. Кековой эту «безоглядную правду» сказала ещё год назад в своей статье «Сон катится золотой...» («По горячим следам», 2003). Но пресловутое «платье голого короля» в поэзии бессмертно.

Помню, после выхода этой моей статьи многие в Саратове были в шоке. И.М. Корнилов передал мне слова Е. Мартыновой, прочитавшей её первой: «Вот если бы кто-нибудь из Москвы такое написал – тогда другое дело». Вот приедет барин – барин нас рассудит. А нам самим – «не должно сметь своё суждение иметь». Мы люди маленькие, не нам судить корифеев. Так примерно рассуждали и думали местные критики и поэты. Но вот очередь дошла и до Москвы, и неизвестная мне Ирина Василькова в своей статье, можно сказать, озвучила мои мысли, озвученные мною ещё до нее. (Слава богу, что мне удалось их опубликовать раньше, а то Мартынова сотоварищи опять обвинила бы меня в «плагиате»). Если отделить их от осторожных оговорок, дипломатических экивоков и реверансов, которых требует высокий «сан» всероссийски признанной «королевы» поэзии, то получится следующий текст (желающие могут сравнить его с моим и удостовериться в идентичности и сходстве многих постулатов):

«...вместо поэтической дрожи – суровое, даже какое-то педагогическое морализаторство, вместо поэтической интуиции – застывшая парадигма, вместо живой воды – мёртвая... Даже пятистопные анапесты теперь уже просто убаюкивают, став

доминирующими сверх меры. Кто-то из знакомых поэтов откомментировал последнюю подборку в «Знамени» так: «вышивание узоров по православной канве»... Становится заметно, что автор обдумывает каждый шаг, стараясь быть смиреннее и осторожнее, избежать запретного, лишнего, – но получается искусственной, суше. Обилие общих мест, вполне канонических, вынуждает отказаться от индивидуальности, от живого человеческого опыта. «Всё так же пуст пейзаж души, и тёмный путь её опасен» – что это? Я не литературный критик, не богослов, я просто читатель, и мне не то чтобы скучно стало – но уж слишком пряма эта дорога, нет в ней неожиданности, тех самых неисповедимых путей Господних... Как в театре теней, проходят одни и те же резко очерченные образы – ангелы, вода, рыбы, сети – но их формы не наполнены осознанным индивидуальным чувственным опытом, что сплошь и рядом приводит к появлению штампов и сентиментальных красотостей... Стихи интонационно не убеждают, потому что в них нет дрожи, огня, ушла энергия. «Теплохладность» не заражает...

Бесполость, бесплотность... Обескровленность – в ней ли свет? Иногда вздрагиваешь – так похоже на сувенирный киоск, когда ангелы опускают «на грудь среднерусских равнин вологодское кружево снега». Или такое: «ангел жив над кремлёвской стеною...» «...учительное красноречие» убеждает, увы, меньше, чем обнажённый нерв. Нет эмоций – нет напора, уходит та самая «энергетика».

Примерно то же, только в других выражениях писала о поэзии С. Кековой и я. Но только в своём отечестве, как известно, пророков не бывает, и наша писательско-критическая братия статью эту старательно «проигнорировала», за исключением отдельных случаев возмущений («как дерзнула?»). А вот Лариса Миллер, прочтя её (я послала ей книжку), позвонила мне из Москвы, и первые её слова были: «Вы написали о Кековой и Шварц то, что я сама хотела написать, но не решалась. Я думала, это только я её не воспринимаю. У меня такое ощущение, что ей нечего сказать. Какая Вы молодец, что написали это. Какая независимость суждений...»

Впрочем, и до меня Наталья Иванова в статье «Циклотимия. Жертвенник сердца» («Арион», №2, 2002) писала о «монотонности» стихов Кековой и отмечала в качестве другой «опасности» – её «старательность», приводя примеры тщательно выверенных созвучий. Искусственность, заданность, конструктивность, словесный камуфляж и невнятица – вот что, на мой взгляд, отличает подобное элитарное узкосалонное творчество почитаемых, но не читаемых поэтов, которое тлеет в кастовом мире своих избранных ценителей. У А. Кушнера есть такие строки:

Есть неуступчивая косность,
неустраняемая тоска...
Что перед нею виртуозность?
Кому нужна она? строка
в бугры сбивается и складки,
всё как в запёкшейся крови,
и не стыдится, как в припадке,
ни слабой рифмы, ни любви.

Грибоедов писал: «Знаю, что всякое ремесло имеет свои хитрости, но чем их менее, тем спорее дело, и не лучше ли вовсе без хитростей? Я как живу, так и пишу, свободно и свободно» (из письма П. Катенину от февраля 1825 г.).

Меня привлекают и трогают стихи, которые берут свой интонационный рисунок не в какой-то особой поэтической сфере, а в живой человеческой речи.

Вот бреду я вдоль большой дороги,
в тихом свете гаснущего дня.
Тяжело мне, замирают ноги.
Друг мой милый, видишь ли меня?

И всё становится на свои места, и не нужна никакая виртуозность, никакие стиховые новшества – вот последняя правда о жизни, самая печальная и неотразимая в своей безыскусности.

4. Эксперименты и экскременты

Сборник стихов Бориса Глубокова «Блики», вышедший в издательской фирме «Кадр-2000» в 1998 году, к сожалению, попался мне на глаза с опозданием на шесть лет и уже безнадежно устарел для критического обзора. Но он до того поразил и покорила меня смелостью поэтических приёмов и нестандартностью, я бы даже сказала, непредсказуемостью авторского мышления, что я решила всё-таки уделить ему персональное внимание.

Открывается сборник таким авторским предисловием: «Вынесение первой книги на суд читательский, на позор («в значении лицемерия» – кокетливо поясняет поэт, но увы, по прочтении книги начинаешь воспринимать это слово в его привычном, обиходном значении) сравним для меня с выносом собственного тела. Когда-то сделать это нужно... И так, оно (дело – Н.К.) сделано (как говорил палач). Слово за вами».

Ну что ж, слово за мной. («Палач наострил секиру», – вспомнился к слову Куракин). Пусть автор не обижается. «Название книги – не случайное, – как говорится в рецензии на неё Л. Чирковой, – ибо в стихах отражены, по мнению автора, наброски, наблюдения, мимолётность пролетающей жизни». Что же это за наблюдения? Предоставим слово поэту.

Один лишь дворник доскребаёт прах,
что оставляют голуби и дети,
да призрак в раззолоченной карете
не может туалет найти впотьмах.

Вообще-то призраки туалетами не пользуются, да и на каретах не ездят. Но эта милая лирическая дерзость меркнет в сравнении с жутким образом «детского праха», который «доскребаёт дворник». Маяковский с его «я люблю смотреть, как умирают дети» отдыхает.

Блудует там с засранцем-иностранцем
в ночи супруга Синеи Бороды.

Если уж кто и засранец, то никак не иностранец, не надо свои отечественные пороки приписывать за границе. С туалетами у них там как раз всё в порядке.

Ни девица шальная, ни мент,
ни случайный прохожий
не зайдёт в этот парк с поэтической целью
или так – по нужде.

Восхитительно это непринуждённое «или». Для поэта, видимо, то или это – небольшая разница.

Многие мочатся тут с испугу,
другим представляется, что тут не хватает круга.
Озабоченность мыслью рождает образ.

Это уж точно. Правда, обычно встречается сексуальная, половая озабоченность, здесь же – мочеполовая.

А там, глядишь, – и кончен счёт,
но мнится – нечет или чёт?
И почему моча течёт,
не зная берегов?

«А почему? – не спрашивай», – сам себе отвечает автор в следующем стихотворении «А почему? – спроси себя на милость...» А. Ахматова имела обыкновение говорить о среднего уровня стихах: «Моча в норме». Здесь, к сожалению, этого не скажешь. Да и по количеству урины на один сборник – явный перебор.

Если попросят, суя ладонь, то дай слабинку.
Отожми слезу и сердца ослабь биенье.
Принимая кайф, закати, как солнце, ширинку.
Поумерь свой пыл, изрыгни влечение.

«Ширинка, как солнце» – смелое, неизбежное сравнение, хотя и с трудом представимое. Не менее изящно и это «изрыгни влечение». Брутально, круто сказано.

Да, мы варили крутенько,
зато уж и расхлёбывать!

А расхлёбывать-то читателю. Только как бы он не «изрыгнул» это варево обратно.

Забыть бы, что загажено,
за давностию лет...

Нет, такие стихи «за давностию лет» не забываются. Это самый что ни на есть смачный плевок в вечность. «Снег летит, хорошо – не дерьмо» – вспомнилась по аналогии бессмертная строчка А. Сокульского. Или А. Александрова: «Птичка на левый покакала, что ли, ботинок?» Не поэзия, а экскременты какие-то.

В поэтическом творчестве Бориса Глубокова я бы вычленила две основные темы. Первую, о которой мы только что говорили, можно определить как «писсуарную». Вторая – более традиционная. Назовём её, условно говоря, сексуальной.

А Черномор там в сексуальных плавках
на брег выводит злобных молодцов.

Что-то, помнится мне, у Пушкина никаких плавков на Черноморе не было. То есть я вовсе не это хочу сказать, не в смысле, что без плавков, а... тьфу! Как там у классика: «В чешуе, как жар горя, тридцать три богатыря...» А Черномор – дядька без всяких там плавков... тем более, сексуальных. А в самом деле, в чём же был Черномор? – задумалась я. Как-то до Глубокова этот вопрос – о сексуальности дядьки Черномора – в нашем

литературоведении ещё не поднимался. «В чешуе, как жар горя...» Может быть, слово «чешуя» вызвала у поэта ассоциации с небезызвестным творением Вилли Токарева «Эх, хвост, чешуя, не поймал я... ничего»? Иначе почему в другом стихотворении читаем такое:

Сначала взялись буйствовать,
затем пошли на... ть.

Многовато буковок пропущено. Боюсь, не догадается читатель, какая там рифма. Ась? А вот ещё перл:

Ненужность откровений,
натруженность соитий.

Какая смелость сексуальной мысли, какая раскованность слога!

Окстись нелепице
и – марш – бросок
к себе любимому
из всех постелей!
...Так глохни и немей
в восторге естества,
в ответ на плотский зов
скотиною осклабясь.

Ну что уж о себе так-то. Впрочем, в ряде стихов автор в припадке ложной скромности пытается прикинуться, ну, мягко говоря, не таким гениальным, каков он есть на самом деле.

Петух иль курочка?
Короче – глуповат!

Краткость вообще-то сестра таланта, но в данном случае в этой родственной связи хочется усомниться.

Там, где ни разу не был в этой жизни,
где не читали Бродского стихи:
быть может, там когда-нибудь да тиснут
мои, совсем убогие стихи, –

пишет он смиренно в стихотворении «Там». Ну, может быть, в этом загадочном Там когда-нибудь – кто знает? – и тиснут. Туда им, как говорится, и дорога. Но здесь-то «тискать» зачем? Причём ведь автор сам сознаёт свою вину перед читателем:

И мне простят повальные грехи.
И не отправят на лесоповал.
Да.

(За что же на лесоповал? Достаточно было бы и более мягкого наказания). Призрак Бродского витает и в следующих строках:

Если можно жить между днём и ночью,
межеумком прикинься, убогим дурнем.
Запишись в блаженные...

Зачем же прикидываться? Автору нет никакой нужды в этом. Он как бы пытается смягчить суровость читательского суда: что, мол, с меня взять, глуповатого межееумка, убогого дурня, блаженного? Не судите строго, дяденьки. Тем более, что он не один такой:

Да, в мире столько разных слов,
да, в мире столько пустяков,
в нём столько-столько дураков,
в нём благодать и атас.

Наверное, не с той ноги
выходят в люди дураки.
Но на подъём они легки
от этого навек.

С той – не с той, но ведь выходят же. Вот и наш автор вышел: много лет возглавляет отдел культуры в солидном еженедельнике «Земское обозрение», сотрудничает с рядом газет и журналов, публикуется во многих периодических изданиях. Словом, «лёгок на подъём».

А почему? – спроси себя на милость
какую-то и чью-то – всё равно:
ведь если б ничего и не случилось,
то всё равно бы выпало оно
в осадок ожидаемого чуда,
и чудаки сплетали бы слова.

Чудаки и сплетают. Плетут «нелепицу», «дорогие кружева», выражаясь словами самого поэта. А почему бы и нет? На лесоповал ведь не отправят. Одни названия стихов чего стоят: «Коловращение фантазмагорий», «Программа NN», «Сновидание», «Раньше думал» (а сейчас – уже нет?). Название многое говорит об авторе, иногда выдает его с головой.

«Не глубиною манит стих,/ он лишь, как ребус, непонятен», – писал И. Анненский в осуждение «современного лиризма». Что бы он сказал, прочтя «ребусы» Глубокова?

По дороге оттуда,
где нет ни страны, ни селения,
да и дыма костра, теплоты человеческого прения,
ухожу наугад в никуда.

Уходя – уходи. А. Кушнер определял природу стиха как «высокой точности прибор». Высокая точность – органичный признак серьезной, настоящей поэзии, точность при переводе чувства в слово, тот высокий артистизм, который не терпит пустот и приблизительностей, высокая дисциплина таланта. Здесь обо всём этом говорить не приходится. Кушнер писал о такого рода стихах:

Эта видимость замашек
и отсутствие расчёта –
что-то, в общем, вроде шашек

дымовых у самолёта.
И за словом, на два тона
взятом выше – смрад обмана,
как за поступью дракона,
напустившего тумана.

Глубоков стремится напустить погуще туману:

Уходят в искристо-золотистый, сверкающий
туман наши несбывающиеся мечты.
Реальность становится зыбкой, как
студень и, растекаясь, оседая пористой
жижей, тает с нашим уходом.

И не пытайтесь доискаться смысла. Его попросту нет.

Причём тут логика, когда порою
или, даже, порой
жизнь врезает поддых?

Так что все претензии к жизни, пожалуйста. Такая вот бацилла пробралась в нашу поэзию: чем путаннее, высокопарнее и непонятнее – тем лучше. А кто не понимает – просим вас выйти вон.

На заре, на закате и присно
отзвонила о нас благодать.
Нам осталось лишь только без смысла
ни на что, ни про что уповать.

Однако на мандельштамовское «блаженное бессмысленное слово» глубоковское явно не тянет.

В разряд богемности
не клейся, сволочь», –

как сам он одёргивает себя.

Непорочное сплетение
разыгравшихся желанностей
отвращает от вращения
в этом мире заводном.
И простое нехотение
раздающихся за-данностей...

Русский язык, ау, куда ты подевался? Здесь без переводчика явно не обойтись. Кто-то очень точно сказал: «Заумь – халат психбольницы, прикрывающий банальность». Не всегда маскировочный.

Запишись у Бога атакой или отбоем.
Стань собственным сном, цветом небесно-синим,
розой, запах которой рождает мысли,
а они теснятся своим пространством.

Оттенки верни звуку «а» и свистни
светотенью в калейдоскопе – о разном-разном.

Вы что-нибудь поняли? Я – нет. Как ни напрягаю воображение, но не могу представить, что это такое – «свистнуть светотенью в калейдоскопе».

Выбор сделан.
Жребий брошен.
Кости выпали из мяса.

(Представил, читатель? Содрогнулся?)

Тайно – явно.
Знак вопроса.
Мир покинут (вероятно).
По запущенным проходам
кровь холодная играет.

(По каким проходам, простите? Впрочем, неважно. Не будем верить алгеброй гармонию. Терпеливо читаем дальше).

Переверни слова –
пусть будет всё – игрой.

Пробовала – увы. От перестановки слагаемых содержание не меняется. Как ни переливай из пустого в порожнее – а содержимое всё то же.

Наискосок от тем.
Глаза поднять и па –
дать в облака, но дождь собьёт пыльцу.
И тряпочкой висеть осталось...

Все вы на бабочку поэта сердца! Взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош, собьёте пыльцу, и в результате – половая тряпочка. Художника обидеть может каждый.

Если так уж подумать – «на колу мочало»
не лишено смысла,
ни бурного оптимизма.
И разная тварь может клюнуть
на эту наживку.

Так это всё «наживка», оказывается! А мы-то, «твари», чуть было на неё не клюнули. Слава богу, вовремя поэт предупредил, что это он так только, «межеумком» прикинулся, «убогим дурнем». На самом-то деле он ого-го! Он такое может!

Пропади себя
ни за грош-полушку,
подели ночлег
с дворовыми псами.
Уходи топориком
ту старушку,

что висит в достоевской
портретной зале.

А вот это уже не поэзия. Это – диагноз. И хоть и пишет автор в «Раньше думал»: «Можно проникнуть в любое место совсем без урона для психики», я что-то в сиём, глядя на эти стихи, крепко сомневаюсь. Урон налицо.

Хоть в раю бы памятник
заказали! –

с досадой восклицает поэт. Боюсь, не дождётся. Даже там.

В статье Л. Чирковой «Исследования движений души», посвящённой презентации этой книги, говорится: «Одним словом «обозвать» всё поэтическое творчество не получится, поскольку мир Б. Глубокова разнообразен, многопланов». А я бы «обозвала». Именно одним словом. Догадайся, каким, читатель.

СВОРА или ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПОДЛОСТИ

(о псевдонимах и анонимах)

*Его преследуют хулы.
Он ловит звуки одобренья
Не в сладком ропоте хвалы,
А в диких криках озлобленья.*

Н. Некрасов

*Я говорю волкам:
Тубо! Сочтемся славой.
Вы – клан, а я – вулкан,
И я залью вас лавой.*

*...Что мне, недруги, ваша стрела,
Если самоубийственна песня?*

Т. Бек

Корпоративность, групповщина, клановость сейчас воцарились не только во власти, но и в литературной среде. Что опасно в таких замкнутых сообществах? Круговая порука, дух аллилуйщины, комплиментарная зависимость друг от друга, а главное – отсутствие притока свежего воздуха. Инстинкт творческого выживания, самосохранения выталкивает поэта из этих затхлых кружков, вынуждает рвать цеховые связи. А этого там не прощают. Охотно прощают неталантливость, непрофессионализм, но не прощают культурного одиночества, неприобщенности к своей тусовке. Последствия могут быть весьма ощутимыми: от демонстративного игнорирования и замалчивания до откровенной травли. Здесь действует закон сталинских времен: кто не с нами – тот против нас. С одной стороны – коллективная спайка литературной мафии, с другой – обособленность и изгойство. Третьего не дано. Или – или.

Причем закон этот действует в литературе давно. Когда в 1904 году никому еще не известный И. Анненский выпустил свой первый сборник «Тихие песни» под псевдонимом Никто, то газетная братия встретила их пренебрежительными рецензиями. Зачем же считаться с человеком, который сам себя считает никем? Хотя дело было не в неудачном псевдониме, не в скромности автора, а в другом, более важном – он был не столько Никто, сколько Ничей. В литературе издавна правят банды, как на Корсике. Примкни к банде, и сообщники амнистируют тебя; если ты бездарен, скудоумен, некультурен, – пригреют, дадут дышать, а если ты отмечен хоть малым даром – вознесут и заславословят. Анненский же не защитил свою поэзию ни собственным именем, ни маркой влиятельной школы, за что и поплатился.

Юная Цветаева в письме подруге писала: «Прочла рецензию в «Аполлоне» о моем втором сборнике. Интересно, что меня ругали пока только Городецкий и Гумилев, оба участники какого-то цеха. Будь я в цехе, они бы не ругались, но в цехе я не буду». Позже эта установка вылилась в ее кредо: «Ни с кем, одна, всю жизнь, без друзей, без круга, без среды, без всякой защиты, причастности, хуже, чем собака, а зато... А зато – все».

В бедламе нелюдей
Отказываюсь – жить,
С волками площадей
Отказываюсь выть...

Юнна Мориц – тоже одинокая волчица в русской поэзии – в одном из интервью говорила о засилье элитных тусовок в литературной среде и о том, как она поставила на себе опыт – возможно ли существование поэта за их гранью в нашем обществе. «Как видите, – говорит, – живу». Недавно ей была вручена премия имени А. Д. Сахарова «За мужество в литературе».

Мужества такая стезя требует действительно немало. Особенно в провинции. Вслед за Цветаевой и Мориц я тоже поставила на себе этот опыт – литературной выживаемости в условиях одиночества и изгойства. И сейчас хочу им поделиться, поведать, через какие тернии приходится прорываться к звездам высоких материй.

Меня часто спрашивают, и уже достали этим вопросом – почему я не член Союза писателей. В. Маняхин на своем вечере сказал, что ему очень нравятся мои стихи и он не понимает, как я могу быть не членом СП. А вот могу. Что в моей жизни изменится, если я в него вступлю? Писать, что ли, лучше стану? Это не прибавит мне ни читательской любви, ни самоуважения. Когда в газете «Расклад» за 3.03.2004 ошибочно написали, что я член СП России, я возмутилась и потребовала опровержения. В следующем номере они извинились за «неточность»: «на самом деле поэтесса никогда в данной организации не состояла, мало того, находится с ней в длительной конфронтации, о чем даже писала в своих стихах». В «конфронтации», я, правда, не «состояла», газетчики слишком буквально восприняли мои стихи, они просто – о независимости.

Я никуда не вступаю.
Я ничего не член.
Грань не переступаю
Ту, за которой – плен.

Ту, где чего угодно,
Ту, где не встать с колен.
Я – ничья, я свободна,
Я ничего не член.

Падаю, оступаюсь,
И ошибаюсь – что ж,
Но ни во что не вступаю,
Чтобы не мыть подошв.

Чур меня знак весомый
Лацканов напоказ,
Стойла борзых тусовок,
Где не ступал Пегас.

Убережась от фальши,
Спрыгну с дороги я.
Вы же ползите дальше,
Членистоногие.

Я никогда не принадлежала ни к каким тусовкам и союзам. Это нелегко. Это значит жить на ледяном ветру, в суровом климате литературного отчуждения, но это входит в понятие моей душевной экологии, творческой гигиены. Ибо я знаю, что если я сделаю что-то, чего требуют законы клана, но что противоречит моей сути, моей душе, я уже не смогу быть в ладу с собой, не смогу написать чего-то, что могла бы раньше, возникнет диссонанс, фальшивая нота. Поэту нельзя подписывать договора с чертом, менять «звезду на хлеб». Как это у Л. Губанова? «И если я, филон бессмертья/ и обаянья светлый паж,/ продам хоть строчку ради меди/ – меня накажет карандаш». И – в другом стихотворении: «Меня замолчали/ как колокол в поле осеннем,/ стучали ключами/ в тот номер, где помер Есенин/ так в дверь колотили/ от яда и фальши/ живу в карантине/ от общества – дальше». В условиях, когда бомондная поэзия все больше превращается в игрушку и подсобное средство для обретения относительного благополучия, нужно уходить из этого пространства. Отказаться от него.

Я должна быть свободна в своем самовыражении, в своем праве сказать то, что хочу сказать, что за меня никто не скажет. Каждая моя книга – это исповедь, будь то стихи или проза. Субъективизм ей предписан самим жанром. Я сознательно стараюсь не обходить острых углов в угоду каким бы то ни было соображениям, не скрывать своих мнений и чувств, кто бы и как бы к ним не отнесся. Нетрудно спрогнозировать возможную реакцию людей, каким-то образом задетых мною. Но я, честно говоря, об этом не думаю. И не должна об этом думать, если хочу быть искренней, не подменяя дипломатичными эвфемизмами и лукавыми оговорками свои истинные суждения и мысли. Субъективная оценка людей, событий, поступков, своих в том числе, – неотъемлемое право каждого литератора. Любой имеет такое же право не согласиться с тем или иным суждением, как автор – его высказать.

Это касается и критики – не ради критики, а ради истины, ради правды. «Не могу молчать»,– говорил в таких случаях Лев Толстой. «Есть стихи, которые воспринимаешь как личное оскорбление»,– вторил ему Мандельштам. У Петра Вяземского есть стихотворение, которое, как мне кажется, целиком – про меня:

«Зачем глупцов ты задеваешь? –
Не раз мне Пушкин говорил.
Их не сразишь, хоть поражаешь;
В них перевес числа и сил.

Против тебя у них орудья:
На сплетни – злые языки,

На убежденье простолюдыя –
У них печатные станки.

Ты только им к восстанью служишь;
Пожалуй, ранишь кой-кого:
Что ж? Одного обезоружишь,
А сотня встанет за него».

Совет разумен был. Но к горю,
Не вразумил меня совет;
До старых лет с глупцами спорю,
А переспорить средства нет.

Седидам в бороду, навстречу,
Знать, завсегда и бес в ребро:
Как скоро глупость где подмечу,
Сейчас зачесется перо.

В последнюю мою книгу «По горячим следам» помимо стихов и лирической прозы вошли памфлеты – «небольшое обличительное полемическое сочинение» – так определен в словаре этот жанр, уже слегка подзабытый в нашей словесности. Я использовала его для обличения – не конкретных людей, а ненавистных мне явлений в литературе и культуре: снобизма, антисемитизма, пошлости, графомании. Последствия не заставили себя ждать. В душах «оскорбленных и униженных» героев памфлетов поднялась буря негодования. И как следствие – «мщенье, бурная мечта ожесточенного страдания».

Я вполне понимаю их чувства. Не согласен – опровергай, спорь, полемизируй. Но уж будь любезен – по существу, на том же идейно-художественном уровне, не выходя за границы литературного жанра, а не на языке трамвайной перебранки по принципу «а ты кто такой, от такого слышу», как это сделали мои оппоненты. У Н. Куракина есть стихотворение, которое, как мне кажется, могло бы стать их программным документом, своего рода гимном. Называется оно пафосно, как и все у Куракина: «Дух стаи».

...Взрастает стая, не уставая.
Она из горла достанет кость,
Клыками вырвет у тех, кто – вне стаи,
В стае за доблесть – злость.
Стая всегда права. Только в стае
Волчий закон насилья един...

В другом своем опусе он продолжает больную тему:

Ввязался в драку – будь собакой,
Остри клыки и делай нюх.
Не знает правил злая драка,
Ударить норовит – под дух.

Куракин пишет со знанием дела, он сам из такой стаи (волчьей? собачьей? Бродский, кстати, говорил: «Не унижай зверя сравнением с человеком»). Вот только «дух» ее – далеко не дух амброзии, а, мягко говоря, совсем наоборот. В этом году мне довелось в этом убедиться.

Вскоре после выхода моей книги в газете «Жизнь» за 15. 11. 2003 появилась анонимная заметка, принадлежавшая, как выяснилось, перу Куракина, под заголовком «Скандал в

литературной богеме»: «Поэтесса Наталья Кравченко выпустила в свет свою новую книгу «По горячим следам», которая вызвала бурю в местных писательских кругах. Дело в том, что автор не только не постеснялась выставить напоказ собственный адюльтер, но и сочла себя вправе «раздолбать» на страницах книги некоторых местных коллег по перу...»

Не умея ничего возразить по существу, Куракин пытался всячески опорочить в своей заметке мою личную жизнь, мои стихи и лекции. Но прежде всего выдвигал обвинения в области морали. Что же так оскорбило целомудрие немолодого стихотворца? Имелся в виду лирический цикл, который на самом деле посвящен моему мужу и истории нашей любви, там даже имя его упоминается, весьма редкое, кстати (стр. 65 – 71). Так что любители «клубнички» (его выражение) будут разочарованы, никакой разнузданной похоти и разврата в этих стихах они не обнаружат. Хотя я могла бы напомнить моралисту Н. Куракину слова А. Ахматовой о том, что «стихи должны быть бесстыдными», то есть обнаженными, исповедальными, но боюсь, что его грязное воображение не так их истолкует.

А вот методы, к которым он прибегает в своей так называемой «полемике», действительно иначе как бесстыдными не назовешь, причем в самом прямом смысле этого слова. А. Кушнер как-то отозвался о романе В. Соловьева («Три еврея»), где тот на 800 страницах всячески порочил его, обвиняя в несуществующих грехах: «От этого романа воняет». Так вот об этой заметке я бы могла сказать то же самое. «Работай челюстями точно, не вычлняя харь и рож», – высказывал он в стихах свое кредо, – до кончиков хвоста собакой, клыкастым псом отвязным будь». Но я с ним «лаяться» не собиралась. Д. Ляляев потом извинялся по телефону, предлагал поместить в следующем номере мой ответ в том же газетном объеме, но я ограничилась одной фразой:

«Не считаю нужным что-либо опровергать из информации, опубликованной в вашей газете по поводу моей книги, т. к. не могу считать поток бездоказательной клеветы и грязных ругательств рецензией, а кляузника, исторгающего злобные клички – оппонентом. Все мои доводы – в моей книге». («Жизнь». 29. 11. 2003)

Но многие мои слушатели и читатели, как потом я узнала, высказывали возмущение этой заметкой: звонили, писали, приходили. «У меня телефон раскалился, – жаловался Ляляев очередной оппонентке. – Вы сегодня уже восьмая по этому вопросу». Особенное негодование людей вызвал куракинский пассаж о моих лекциях:

«Эта местная стиходама и литературоведница в своих лекционных изощренчествах, касаемых поэтов и поэзии, прямо-таки по-швыдкому трясет грязным исподним, выискивая в журнальных откровениях «клубничку», чтобы как-то угодить любопытствующему обывателю...» На этом цитата обрывалась. Видимо, дальше шло нечто такое, что даже эта газета опубликовать не решилась. Среди упомянутых «обывателей» были, например, тогдашний министр культуры И. Кияненко, выписавший мне премию за лекцию о Волошине, Лев Горелик, написавший: «Спасибо за преданность поэзии, за просветительство, за любовь к слову», писатель И. Корнилов, посещавший эти вечера уже много лет, профессора, кандидаты наук, преподаватели, школьники, студенты. Приезжали поэты из Ртищево, Уфы, г. Шахты, даже с Сахалина, о чем свидетельствуют их записи в тетради отзывов. Неоднократно бывали В. Дьяконов, М. Муллин, да и сам Куракин, причем выходявший тогда к микрофону с цветами и поздравительными стихами. Этот обозленный «раздолбанный», эта взбесившаяся моська, возомнившая себя волкодавом, оскорбила не только меня, но и всех этих людей. «Стая» торжествовала. Один из самых молодых ее членов, студент А. Зрячкин обзванивал знакомых: «Читали? Это еще не все! У нас их целая обойма!» Вскоре из заготовленной обоймы раздался еще один выстрел.

В «Земском обозрении» за 26. 11. 2003 появилась статья «Волчьи ягодки с люциферова подворья» за подписью Ядвиги Залесской, в которой моя особа изображалась неким исчадием ада, люциферовым отродьем. Статья абсолютно бездоказательная, лживая и

подлая, с массой чудовищных подтасовок. Она явно была рассчитана на тех, кто моих стихов не знал и книг не читал.

«Постельные сцены составляют значительную часть «стихотворного наследия» Н. Кравченко. Ради разнообразия Наталия Максимовна притворяется то изысканной куртизанкой, то неопытной отроковицей...»

Не знаю уж, что рисовалось распаленному воображению критикессы, когда она читала – изучала под лупой – мои стихи, но снова должна разочаровать любителей порно – ничего этого в них нет и в помине.

Узнать истинное имя авторши грязного пасквиля не составило труда (Саратов – город маленький) – им оказалась Елизавета Мартынова, ученица и сподвижница Куракина. «Ну как не порадеть родному человечку!» Она и предисловие к его сборнику писала, и по местному радио дифирамбы расточала его стихам, и статьи в газетах во славу куракинского поэтического дара печатала. А тут – какая-то «куртизанка» посмела усомниться в гениальности патрона, гуру, покуситься на его славу. Ату ее! И парочка дружно «заработала челюстями, не вычленяя харь и рож». Но я-то вычленила их сразу. Уши «вожака стаи» торчали, что называется, из каждой строчки. «Применительно к подлости» – это выражение из сатирической сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина, ставшее уже общеупотребительным, тут как нельзя более подходит. Еще М. Горький отмечал «механическую привычку лакея мыслить «применительно к подлости» господина его». (М. Горький. Собр. соч. т. 27 с. 361)

«Адюльтер», «грязное исподнее», «постельные сцены», «куртизанка» – они старались закидать меня своей же грязью. Видимо, Е. Мартынова понимала в глубине души, что женщине стыдно писать подобные вещи, и всячески пыталась замести следы, отвести от себя подозрения. Надо сказать, ей это хорошо удавалось. «Что Вы! Разве Лиза способна на такое? Такая девочка... Да она диссертацию сейчас защищает, разве ей до этого?» – в один голос твердили мне все, кто ее знал. Оказалось, именно до этого. В качестве отвода глаз использовались и тщательно распространяемые слухи о диссертации, и звонки ее знакомых, подбрасывавшие мне все новые «версии» по поводу возможного автора: «Это писал мужчина! Залесский – есть такой в университете...» Подлость всегда труслива. Неудивительно, что она прячется в кусты, драпируется в павлиньи перья экзотических псевдонимов. Имя – оно ведь в каком-то смысле жмет, стесняет движения, обязывает в конце концов. Слова себе лишнего грубого не позволишь, чтобы не подмочить репутацию. А тут – возможность безнаказанно, анонимно поливать человека грязью. И крошка Цахес Мартынова с оскорбленным невинным видом отрицала свою причастность к пасквилю, а сама исподтишка хихикала и потирала ладошки. Теперь ей придется подыскивать себе другой псевдоним.

Определив свой опус как «критические заметки к выходу в свет очередной книги Н. Кравченко «По горячим следам», она старательно обходила вниманием памфлеты (хотя они-то и послужили истинной причиной статьи!), делая вид, что ее интересуют только стихи. Оценки были саркастическими и «уничтожающими».

«Перед нами – кич. Подделка под вечную истину поэзии», – безапелляционно пишет она о моей поэме «Федерико», которая экспонирована в гранадском музее Лорки и переводится сейчас на испанский язык для публикации в тамошнем журнале. «Крохотный пошленький мир – мирок». Художник Вышеславцев как-то такую же фразу сказал о Прусте, на что Цветаева ему ответила: «Не бывает «маленьких мирков», бывают только маленькие глазки». Маленькие злые глазки критикессы цепко впивались в каждую строчку, с надеждой выискивая в них «блох». «Нужно напрячь все свое воображение, чтобы представить, что такое «лаечные перчатки» (может быть, все-таки лайковые?)» Строка из моего стихотворения о Борисе Поплавском «не сноб и не эстет в перчатках лаечных» – это перифраз Маяковского: «Ну, Есенин, мужиковствующих свора, смех, коровою – в перчатках лаечных!» («Юбилейное»). Так что «воображение напрягать» не надо, достаточно вспомнить то, что учили в школе (это стихотворение там проходят). Ее

дамско-галантерейное мышление допускало только одну единственно-правильную форму этого слова: «лайковые». Но поэзия – это не галантерея.

Цитируя мои строчки: «Я несу стихи в ладонях робко/ в ореоле вспыхнувшей свечи./ Только с сердца – как со сковородки./ Не взыщите, если горячи!» – моментально переводит их в доступную ей область кухонных ассоциаций: стихи – это, стало быть, «блины», «стихотворные оладушки». Очень смешно. Когда-то утверждалось, что каждая кухарка может управлять государством. Почему бы ей тогда, в самом деле, и не научиться защищать диссертации, писать критические статьи? Думаю, что не хуже бы, чем у Мартыновой, получилось.

Обвиняя меня в заимствовании строк у классиков, она сама беззастенчиво «заимствовала» мои же фразы из моих памфлетов, обращая их теперь уже против меня. «В стихах не видно ни одной детали времени, города, улицы, ни портрета, ни поступка, ни цветов, ни запахов, ни звуков – голо и мертво». «Картины тлена». «Безжизненную душу не спасешь». Приклеивая моим стихам ярлык «мертвости», Мартынова мстила мне за то, что на обсуждении ее собственного творчества в литстудии Корнилова Валерия Соколова назвала ее стихи мертвыми, ссылаясь на мою статью «Живое и мертвое», которую прочла в книге. Так что вся эта «критика» была шита белыми нитками. Слишком было очевидно, кто писал, зачем и почему.

Я писала в своей книге под своим именем, писала то, что думала, и могла это убедительно доказать на конкретных примерах. Члены куракинской «стаи» писали, прячась за спины друг друга, прикрываясь псевдонимами, писали не то, что думали, и доказать это не умели. И Куракин, и Мартынова на самом деле знали цену моим стихам, Мартынова даже наизусть некоторые из них знала («Не убивай меня – шепчу из сказки», – восторженно декламировала нашему общему знакомому, разумеется, до выхода моей книги), но жажда мести и желание угодить любимому наставнику диктовали свою линию поведения.

После выхода этой статьи критикесса хвасталась друзьям и знакомым, что ее теперь взяли в штат «Земского обозрения», выдавая желаемое за действительное. Я усомнилась и попросила журналистку Л. Чиркову узнать, так ли это. Зав. отделом культуры «ЗО» Б. Глубоков опроверг эти слухи: «Никто ее брать не собирался. Она и была-то у нас всего два раза: когда приносила статью и когда приходила ее вычитывать в уже сокращенном виде». Статья, оказывается, в первоначальном виде была в 5 раз больше и содержала множество так и не увидевших свет компрометирующих меня подробностей, вплоть до того, что я, как выразился Глубоков, «общалась с чертями».

Статью прочли многие, но реакция чаще всего была не той, на какую рассчитывали пасквилянты. Узнала я о ней из звонка знакомого журналиста: «Ну Вы их и доста-а-али! – удивленно протянул он. – Какая злобная статья. Что Вы им сделали?» Что было делать? Возражать? Игнорировать? Наплевать и забыть? Мудрее всего, конечно, последнее. На память приходило пушкинское:

Веленью Божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца.

Здесь каждое слово – великое утешение поэту и поддержка. Но поэт и хотел бы соответствовать разумному завещанию, да плохо ему это удастся. Оно рассчитано, видимо, на другой, не поэтический темперамент. И разве сам Пушкин на страдал, не «оспоривал глупца», не писал «опровержение на критики», эпиграммы на своих зоилов? «Что касается критических статей, написанных с одной целью оскорбить меня каким бы то ни было образом, скажу только, что они очень сердили меня по крайней мере в первые

минуты и что следственно сочинители оных могут быть довольны...» Вот и я последовала тогда пушкинскому «примеру» – рассердилась. И решила, что так этого не оставлю.

На вечере Тютчева, который я должна была проводить в библиотеке, было очень много народу. Человек 300, не меньше. Я начала с ответа на клеветнические куракинско-мартыновские статьи, «рассекретив» их псевдонимы. Страна должна знать своих героев. Думала уложиться минут в 10, но не тут-то было. Публика в этот вечер в некоторой ее части явно была не моя, враждебная. После моих слов о том, что статья в «Земобозе» рассчитана на тот контингент, который ее читает, в задних рядах поднялась волна протеста. Раздались наглые выкрики: «Тютчева давай! Мы на Тютчева пришли! Тютчев сегодня будет?!» Я объяснила, что будет, но прежде я скажу то, что считаю нужным, т. к. в статье оскорбили не только меня и мои лекции, но и всех их, назвав «любопытствующими обывателями» и «любителями клубнички». Но какие-то сволочи упорно не давали говорить, пытались меня захлопывать, шуметь, шикать. Я потребовала, чтобы они покинули зал. Ни с места. А говорить не дают. Такое на моих вечерах за 16 лет было впервые.

Шум нарастал. Мои поклонники кричали, что это присланные люди, «засланные казачки», чтоб их гнали. Пытались кое-кого вывести. Те упирались, хамили. Я пыталась их перекричать, чувствуя себя Хакамадой на политических дебатах. Одна дама даже визжала и стучала ногами. (Я подумала: может, тоже сподвижница Куракина, член «стаи»?) Женщины кричали на нее и прогоняли прочь:

– Ты на нашу Наталью Максимовну, ах, ты, да мы тебя!..

Последний раз, вспомнила я, подобное было в 1918 году в Петрограде на выборах короля поэтов, когда поклонники Северянина схватились с поклонниками Маяковского. Вся эта вакханалия длилась минут 20. Человек 5-6 вышло. Я победила. Закончила, сказав все, что хотела, вспомнив к месту цитату: «Силу подлости и злобы одолеет дух добра». Зал разразился овациями. Мне преподнесли три гвоздики. Враг был посрамлен. Я непринужденно «вырулила» на Тютчева, развернувшись на 180°: «А теперь поговорим о более приятном».

Вечер прошел необыкновенно. Это был, наверное, лучший вечер в моей жизни. Когда я читала «Вот бреду я вдоль большой дороги...», стояла такая звенящая тишина, что слышно было даже дыхание зала. После лекции меня окружили, не отпуская минут 40.

– Не обращайтесь внимания! Вы – наша золотая, все равно Вы лучше всех!

– Берегите свое здоровье. Не читаем мы их статей! Мы Вас видим, знаем, зачем нам их статьи!

Преподавательница гимназии № 4 Венера Махмудовна деловито осведомилась, какая нужна помощь. Я сказала, что никакая.

На столе штабелями лежали подаренные слушателями коробки конфет и шоколадки. Один из них стал меня заверять, что в его шоколадке – он показал, какой – нет никакого яду.

– Тише Вы, – засмеялась я. – Так кого-нибудь на мысль наведете.

Одна женщина посочувствовала:

– Вы одна, а их целая свора!

– Но вы же со мной.

На следующий вечер Н. В. Косолапов принес свой письменный отзыв на произошедшее: «Гадкие, подлые люди. Им надо напакостить и спрятаться за чужую спину, подставив другого человека. Они не хотят показать свое лицо, назвать свое имя. Пойманные за руку, будут юлить, врать и изворачиваться. Вырвав руку, тут же станут хамить и запугивать. Оклеветать человека им ничего не стоит. Отказаться от своих слов тоже. Я заявляю этим людям свой протест...»

Мне тогда написали многие. Н. С. Могуева: «Господи! Если бы можно было не обращать внимания на это тьякканье! Вот так просто милым жестом отшвырнуть их в сторону...» Н. М. Семенова: «А еще у меня есть тост, заимствованный у гениального

ученого Жореса Алферова: «За погибель подлецов!» Я не желаю зла Вашим злопыхателям, я желаю погибели их лжекритике и крючкотворству. А еще нужно следовать русской пословице: «Собака лает, ветер носит!» (Собака – это в самую точку – подумала я).

Ваша Надежда Михайловна Семенова,
врач детской поликлиники № 1
Октябрьского района Саратова».

А вскоре ветер донес до моих ушей еще один лай все той же собачьей стаи. В номере от 4.02.2004 все того же «Земского обозрения» была помещена еще одна статья внушительного объема и угрожающего содержания под заголовком «Плагиат как основа творчества?», посвященная моей особе. На этот раз Мартынова подстраховалась, прикрывшись фиговым листком псевдонима «Таволгин», принадлежавшего А. Амусину (тоже герою одного из моих памфлетов), и чувствовала себя в полной безопасности по принципу «не пойман – не вор». По редакциям не ходила, в кабинетах не светила, можно было снова довольно потирать ручки. Но и мужская фамилия ее не спасла. Я ее вычислила с первой же фразы.

– Лиза, опять Наталья Максимовна Вас подозревает! – говорил ей Корнилов. Та злорадно смеялась в ответ:

– Ну что Вы, Иван Михайлович, я к этому ни-ка-ко-го отношения не имею!

«Единожды солгавший, кто тебе поверит?» То, что Таволгин-Амусин мог быть автором сего произведения – отпадало сразу же. Фамилии Гандлевского, Рыжего, Кушнера, Мандельштама, которыми жонглировалось в статье, были для него «подобны надписи надгробной на непонятном языке», говоря словами классика. Бесславно завершив свою карьеру на ГТРК, Амусин стал публикатором писем на тему любви в «ЗО», старательно перемежая их своими стихами и – иногда для приличия – стихами В. Тушновой. Такое впечатление, что кроме Тушновой он больше никого из поэтов не знал на память, а других книг у него под рукой не было. Впрочем, и знание Тушновой оставляло желать лучшего, т. к. в номере «ЗО» за 28.01.2004, например, в подборке из 3-х стихотворений, подписанных им именем этой поэтессы, два принадлежало не ей. (Но – будем снисходительны к выпускнику сельскохозяйственного института, там поэзии не обучают).

Что же касается Мартыновой, то она могла узнать многие цитируемые ею строчки единственно из моих книжек, что ей дал на неделю П. Шаров, в частности – Гандлевского, которого я выписала из «Пушкинского фонда» и которого тогда не было ни у кого в Саратове. Но и без этого было ясно, что писала она, т. к. статья № 2 словно продолжала первую. И. М. Корнилов, который долго красноречиво убеждал меня по телефону в непричастности «Лизы» к этой статье (видимо, с ее слов), позже, когда выяснилось, что я права, говорил: «Я поражаюсь Вашей интуиции. Или осведомленности?» И то, и другое. Но сначала, конечно, была интуиция. У меня очень хорошо развито чувство слова, слога, стиля – это же индивидуально, как отпечатки пальцев, – и мне достаточно прочесть хотя бы один опус данного автора, чтобы безошибочно установить его причастность к другому. Так же моментально я вычислила авторство Куракина, и когда сказала об этом Ляляеву, тот был обескуражен: «Так Вы уже знаете?»

Скорее всего, все три пасквиля они писали на пару, уж очень явственны переклички, повторы. Хоть бы разнообразили, что ли как-то выражения. Снова те же нападки на лекции: «завлекает зрителя интимной, малоизвестной широкой публике жизнью героя», «изыскивает материалы весьма спорные, далекие от поэтической этики», «каков век, таковы и нравы». (Кстати, ни Мартынова, ни Амусин не были на них ни разу). Все те же обвинения в аморальности (ну кто бы говорил!). Но главный акцент на этот раз был сделан на другом: гвоздь статьи, ее, так сказать, краеугольный камень заключался в слове «плагиат», которым Мартынова пыталась заклеить меня с первой же строки своего

опуса, призывая на помощь словарь литературоведческих терминов, страдая «уголовным преследованием, предусмотренным законодательством». При этом «плагиатом» Мартынова называет что угодно, только не то, что таковым является: реминисценции, перифраз, антифразис, ироническое переосмысление строки автора. Если она взяла в библиотеке словарь литературоведческих терминов, чтобы найти в нем слово «плагиат», то посмотрела бы там и эти тоже. Пригодилось бы для общего развития. Тогда бы она узнала, например, что «смещение строк нескольких классиков под именем одного современника», в чем она меня обвиняет, это литературный прием центон, широко применяемый в постмодернизме. Что строчки классиков «Сколько их? Куда их гонят?», «Белеет парус одинокий», «Мне на плечи бросается век-волкодав», «Нет, не трамвайной вишенкой в зубах», «Немного красного вина», «А полной гибели всерьез» и другие, которые я обыгрываю или с которыми перекликаюсь – слишком известны, чтобы их закавычивать, это тот культурный багаж, которым свободно оперирует каждый мало-мальски образованный человек, именно на этот багаж рассчитывает автор, использующий такие приемы в своем творчестве.

Мартынова-Таволгина пишет: «Такое ощущение, что автор считает своих читателей быдлом, ничего не смыслящим в поэзии. Может быть, именно таков уровень слушателей ее лекций?» Быдло – это те, кто не знает столь очевидных вещей в литературе и при этом берется о них писать, поучая других.

Когда я пишу: «О пьяниц и поэтов братский класс!/ Бредете вы, куда не зная сами,/ то с наливными рюмочками глаз,/ то с кроличьими красными глазами», то рассчитываю на достаточно грамотного, эрудированного читателя, у которого эти строки мгновенно отзовутся, вызвав в памяти мандельштамовского «Ламарка» и «Незнакомку» Блока. Во всяком случае, слушатели моих лекций эти стихи хорошо знают. А вот наивный малограмотный Таволгин явно переоценил эрудицию своей референтки, которая называет «плагиатом на плагиате» и «неприкрытым воровством» следующее: «Под именем Кравченко в ее стихах то М. Цветаева (с. 60), то Н. Заболоцкий (с. 53), то С. Гандлевский (с. 60, 83), то А. Кушнер (орфография автора) на с. 53...» Раскрываю указанные страницы. Объясняю («популярно объясняю для невежд», как писал Высоцкий): строчка Цветаевой на с. 60 «согреть другому ужин» закавычена, никакого Заболоцкого на с. 53 и Гандлевского на с. 60 нет и в помине (видимо, автор перестаралась в своей сверхбдительности, ища серую кошку в темной комнате), что же касается строки Гандлевского на с. 83 («ты не яблоко, ты облако»), то я пишу об этих стихах, приводя их полностью с указанием имени автора на с. 122. И, наконец, злосчастный «Кушнер», строчка на с. 53, в воровстве которой обвиняет меня незадачливый прокурор от поэзии Мартынова, вынесена мною в эпиграф с указанием имени поэта, поэтому естественно, что я привожу ее в стихе, не закавычивая. И таких наглых подтасовок здесь – множество.

В предисловии к моей книге «Чужая жизнь» А. Кушнер отмечает у меня строчки: «А масло в роковой руке/ уже плеснуло у трамвая,/ и жизнь, отлитая в строке,/ лежит и смотрит, как живая», подчеркивая: «очень неожиданно и удачно использована блоковская строка». Для Таволгиных же это – «беззастенчиво украденные строки поэтов прошлого». Странно, даже неудобно как-то объяснять все эти азбучные истины не школьнику – дипломированному филологу, кандидату наук, считающей себя к тому же поэтом. Что это? Искреннее заблуждение? Дремучее невежество? Или все-таки месть за критику?

В очередном номере газеты «Расклад» за 19.02.2004 появился отклик на обвинительную статью «Земобоза»:

«Оказывается, нет большего врага у талантливого саратовского поэта, чем другой саратовский поэт, считающий себя талантливым. Лауреат пушкинской премии Наталья Кравченко рассекретила «коллег», которые, прикрываясь псевдонимами, дотошно разбирали строчки ее стихов в ряде номеров «Земского обозрения», приписывая их авторство то Мандельштаму, то Ахматовой. Вероятно, в университете преподаватели не

объяснили тогда еще юным дарованиям, что такое постмодернизм. Поэтому они до сих пор уверены, что постмодернизм и плагиат – одно и то же. Чтобы исправить эту досадную, калечащую тонкую душу оплошность, горе-критикам нужно всего-то испросить у знакомых вузовских педагогов разрешения поприсутствовать на лекциях по русской литературе двадцатого века, и, глядишь, современный поэтический мир перестанет казаться таким «уворованным».

Подивился на «литературоведческий разбор» Мартыновой и Р. Арбитман (Саратов СП» за 18.02.2004), назвав его «глупейшими прокурорскими нападениями»:

«Вместо того, чтобы поздравить Наталью Максимовну с недавним лауреатством на Международном поэтическом конкурсе «Пушкинская лира» (г. Нью-Йорк), неопиты из «Земобоза» выкатывают автору претензии за... цитирование в ее стихах строк известных поэтов! Даже неловко напоминать гражданам о стихотворной «диффузии» – неотъемлемой части поэзии (Грибоедов включает в свой текст строку Державина, Пушкин – строку Грибоедова и т. д.). Или о знаменитой фразе Мандельштама: «Цитата есть цикада – неумолкаемость ей свойственна». Или о центонности – краеугольном камне литературы постмодерна...»

Переключка с предшественниками и современниками – это процесс закономерный, естественный и неизбежный. Какой наивностью или некомпетентностью надо обладать, чтобы представлять поэтов и их поэтические миры обособленными, изолированными! Поэзия не квартира с изолированными комнатами, это – лермонтовский космос, где «звезда с звездой говорит». Один из видов переключки – цитирование, вплетение в стиховую ткань чужих стихов. Например:

Я думаю (уж никому не по нраву
Ни стан мой, ни весь мой задумчивый вид),
Что явственно-желтый, решительно-ржавый
Один такой лист на вершине – забыт.

М. Цветаева

Поэт, используя чужой текст, рассчитывает на знающего и умного читателя, которому не требуются сноски, указания и наводящие кавычки. Цветаева в письме к А. Бахраху, объясняя ему связь названия своей книги «Ремесло» со стихами Каролины Павловой, писала: «Эпиграф этот умолчала, согласно своему правилу – нет, инстинкту! – ничего не облегчать читателю, как не терплю, чтобы облегчали мне. Чтоб сам».

Цитирование – лишь один из видов переключки. Существует множество других ее вариантов: отзвуки, отклики, непреднамеренные совпадения и т. д. У Жуковского: «О друг! Служенье муз/ должно быть их достойно» («К Батюшкову»), у Пушкина : «Служенье муз не терпит суеты,/ прекрасное должно быть величаво». Известно, что формула «гений чистой красоты» принадлежит Жуковскому («Лалла Рук»).

То же можно сказать и о переключке Пушкина с Баратынским. «Ты, верный мне, ты, Дельвиг мой,/ мой брат по музам и по лени» – эти стихи из «Пиров» Баратынского Пушкин перефразировал в стихах «19 октября», обращаясь к Кюхельбекеру: «Мой брат родной по музе, по судьбам!» Эпиграфом к Евгению Онегину Пушкин хотел взять строку Баратынского «Собранье пламенных замет». След от этого остался в строках «Ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Поэтическая переключка не умаляет достоинства поэта, не ущемляет его оригинальности. Она – один из ярчайших примеров того, как нуждается поэтическая новизна в поэтической традиции. Выдернуть, изъять эти культурные нити из нашей души – значит уничтожить, разорвать ее ткань. Но «неопитам из «Земобоза» эти истины недоступны для понимания.

Не только Р. Арбитман заметил в своей статье, что «приснопамятное «Земское обозрение» с некоторых пор избрало своей мишенью Наталью Кравченко», но и многие обратили внимание на то, что эта газета в течение двух месяцев публикует два обширных разгромных материала одного и того же автора (нештатного), посвященного поэтическому творчеству одного и того же человека. Это при нынешнем дефиците газетных площадей в период предвыборной кампании! Какая-то личная, прямо-таки кровная заинтересованность редактора в этих клеветнических опусах просматривалась невооруженным глазом. А ларчик просто открывался: Игорь Сухарев, редактор «ЗО» («туземского обозрения», как называют его в народе) тоже являлся героем моей сатирической прозы («По горячим следам», с. 209, 238). Вот где собака-то зарыта. А то – пошлые лекции, плохие стихи, плагиат! В данном случае интересы всех этих сторон совпали, сошлись на сфокусированной точке – моей особе. «Челюсти» сомкнулись. И если для объявлений на мои вечера на страницах «ЗО» никогда не находилось места, то для двух разносных пасквилей, касающихся автора и ведущей этих вечеров – с превеликим удовольствием.

Тем временем в литстудии Корнилова в Доме культуры и науки был еще полгода назад запланирован мой вечер. Корнилов хотел, чтобы я читала на нем свою поэму о Н. Рубцове. Но в ракурсе всех этих «разоблачительных» публикаций акценты вечера должны были несколько сместиться. «К Вам накопилось много вопросов», – сказал он мне. «Очень хорошо. А у меня накопилось много ответов». (Вспомнился Высоцкий: «Мне есть, что спеть, представ перед Всевышним, мне есть, чем оправдаться перед ним»).

Корнилов меня огорошил, сообщив, что хочет начать очередное занятие студии с чтения нашумевшего пасквиля.

– Зачем? Ведь повторять глупость и гнусность – это значит способствовать ее распространению.

– Но многие не читали. Мне звонят, спрашивают, интересуются. Люди хотят знать...

– Хорошо. Но в таком случае зачитайте и мой ответ. Так будет справедливо.

Корнилов нехотя согласился. Но потом перезвонил и сказал, что пожалуй не будет читать ни того, ни другого, так как опасается моего неуправляемого характера и непредвиденных последствий. Но я уже закусил удила. После недолгих препирательств пришли к соглашению, что я вообще на занятие не приду, а мой ответ зачитает Давид. Видимо, Ивану Михайловичу мой муж представлялся более уравновешенным и рассудочным человеком, но это было обманчивое впечатление. Когда дело касалось моих обидчиков – Давиду на пути лучше было не попадаться.

По счастливой иронии судьбы в день выхода разносной статьи я получила пакет из Нью-Йорка, в котором был сертификат о присвоении мне 2-го места на Международном конкурсе поэзии 2003 года «Пушкинская лира». Давид принес его на занятие литстудии и предложил Корнилову огласить, т. к. об этом еще никто не знал.

– Или это слишком мелко в свете сегодняшних газетных материалов? – не удержался он от шпильки. Корнилов, стараясь выглядеть объективным, сертификат зачитал. Потом зачитал письмо от Романа Ахмеджанова из Калининска, тяжело больного юноши, которому все члены объединения – и я в том числе – послали коллективную посылку: свои сборники. Письмо в основном состояло из восторгов по поводу моей последней книги – объекта сегодняшнего разбирательства. Закончив читать «позитив», Корнилов неожиданно сменил «пластинку»:

– У каждого поэта бывают взлёты и – падения. До этого мы говорили о взлёте... – Он взял в руки мартыновскую статью.

– Чье падение? – не выдержал Давид. – Это падение того, кто писал!

– Не перебивайте. Итак, в «Земском обозрении» опубликована статья. Она напечатана под псевдонимом. Я с уважением отношусь к псевдонимам. У меня самого их два...

Амусин сидел рядом, вальяжно развалившись в кресле. Мартынова благоразумно не пришла. Давид снова прервал ведущего:

– Зачем же говорить о псевдонимах? Вот же автор. Пусть подставной, но все же... Вот же он сидит! – он бестактно ткнул пальцем в Амусина. – Ты что, скрываешься, что ли?

– Ничего я не скрываюсь. Да, я автор! – тот гордо выпятил грудь. «Так, – удовлетворенно подумал Давид, – один автор уже есть». Корнилов, скрепя сердце, предоставил слово Давиду, согласно договоренности, чувствуя однако, что ничем хорошим это не кончится. Давид стал читать мой ответ. Амусин то и дело прерывал его нервным смехом и репликами: «Вы больные люди! Вам лечиться надо! Ничего подобного!»

Дошло до «плагиата». Давид попытался объяснить, оторвавшись на время от текста, что переключка, перифраз – это столь же естественный элемент поэзии, как и любой другой. Если в жизни мы то и дело по разным поводам вспоминаем то ту, то другую строку, то как же может поэзия (если она – живое дело, а не искусственное, мертвое занятие), вторая реальность, уходящая корнями в глубину нашего сознания и жизни, запретить себе упоминания, отключить память? Но до «борца за эксклюзивное творчество», как назвали Амусина в «Раскладе», все эти тонкости не доходили. С прямою неопитом он бубнил одно: «Нечего тут финтить! Убийство есть убийство! Плагиат есть плагиат!» Давид спросил:

– Саша, вот ты пишешь по поводу строчки Кравченко «нет, не трамвайной вишенкой в зубах – в их глотке буду ягодкою волчьей»: «Вообще-то образ трамвайной вишенки ввел в поэзию Мандельштам». Напомни, пожалуйста, как там было у Мандельштама?

Другой бы на месте Амусина, наверное, покраснел, но он уже давно разучился это делать.

– А почему я должен тебе отвечать? – грубо спросил он.

– Ну как же, ты же уличаешь, выступаешь как знаток Мандельштама, ну процитируй хоть одну его строчку.

– Я не обязан!

– Любую! Молчишь? Значит, не ты автор?

Амусину, наверное, очень хотелось выругаться, он сдерживался изо всех сил. Но тут силы покинули его.

– Больные люди! Мне тут делать нечего! – он вышел, хлопнув дверью.

Корнилов сказал:

– У нас тут намечен творческий вечер Наталии Кравченко. Я уж теперь не знаю, проводить его или нет. Я скандала не допущу.

Давид: – Но Вы же их не удержите – Амусина и Куракина.

– Да и у Натальи Максимовны тоже, знаете ли, взрывной характер. Она себя в обиду не даст.

Через несколько дней мой ответ был напечатан в «Саратовском репортере» (17.02.2004). Корнилов позвонил, поздравил с публикацией.

– Так Вы согласны с тем, что я написала?

– Ну... ответ есть ответ.

Ох, и трудная это задача – соблюдать нейтралитет! Я бы не смогла.

– Так Вы будете проводить свой вечер у нас?

Мне не хотелось доставлять Ивану Михайловичу лишних неприятностей.

– Не вижу смысла.

– Почему?

– Ну... Вы же не хотите скандала. А без скандала вряд ли получится.

– Да, страсти накалились. Телевизионщики рвутся к Вам на вечер. Две студии сразу хотят приехать.

– Пусть приезжают на вечер в библиотеке.

Телестудии, кстати – ни одна – не приехали. Хотя накануне Т. Шварц дважды мне звонила, первый – выясняла подробности победы на конкурсе, второй – за день до вечера – сообщала, что камеры заказаны и завтра они приедут

снимать. Но в последний момент – буквально за три часа до начала – вдруг позвонила и сказала, что съемок не будет. Вроде бы эти камеры куда-то срочно понадобились начальству. Тон у нее был недоуменный, обескураженный.

– Я в первый раз с таким сталкиваюсь. Какие-то непонятные приказы руководства...

– А я с этим сталкиваюсь постоянно, уже лет 15. Мне не привыкать.

– Ну, я думаю, Ваш вечер и без нас прекрасно пройдет.

– Не сомневаюсь.

А ларчик и здесь открывался просто. Дело было опять-таки в моей книге, в одном из ее памфлетов «Как я не стала телеведущей», где я написала о том, как и, главное, почему я не стала телеведущей, хотя с этой целью меня пригласили в 2001 году на саратовское ТВ вести беседы о поэзии. О том, на какие компромиссы я не пошла и какие требования руководства отказалась выполнить, о том, что я думаю по поводу нашего телевидения. Содержание этого памфлета уже успели донести до сведения руководства, следствием чего и явился этот внезапный отзыв камер. Что ж, это закономерная плата за слово правды. Что значит моя победа на Международном пушкинском конкурсе (единственной от России!), мой итоговый творческий вечер, презентация новой книги – по сравнению с амбициями задетых мною в памфлете Лунькова, Нагибина, Зориной, Утца. Разве же это сопоставимо!

В день моего предполагаемого вечера в Доме культуры и науки Куракин устроил там демонстрацию. Мне рассказывали, как он в совершенно невменяемом состоянии, весь белый, трясущийся – это было на другой день после выхода моей ответной статьи в «Саратовском репортере» – кричал в фойе (наверх, впрочем, не поднимаясь):

– Где эта Кравченко?! Мы ее растерзаем! Нас 20 человек! Со мной Кондрашов, со мной Малохаткин! Со мной весь Союз писателей! (А сам один). Она порочит русскую поэзию! Мы ее призовем к ответу! Она ответит за все! (Одного моего ответа ему, видать, было мало).

На шум вышел Корнилов. Спросил, что ему надо.

– Где Кравченко, Ваш друг и друг Вашей семьи?

– Ее здесь нет.

Вышел Дьяконов. Стал его утихомиривать. Еле вывели супостата.

Результатом всех этих скандалов стало то, что мою книгу стали больше брать в книжных магазинах. (Продавщица Дома книги рассказывала, что приходили люди и спрашивали: «А где тут у вас эта скандальная желтая книжечка?») (Имелся в виду цвет обложки). Все получилось не специально, но, как оказалось в конечном итоге, к лучшему.

На очередном вечере ко мне подошел журналист с блокнотом:

– Меня заинтересовал Ваш конфликт с Куракиным. Не могли бы Вы об этом рассказать поподробнее?

Я выразила нежелание муссировать эту тему и предложила лучше поговорить о лекциях, о том, что имеет отношение к культуре.

– Ну, культура сейчас никого не интересуется...

Однако это еще был не конец. «Стая» не отставала. У меня было порой ощущение, что она имела облик многоголовой гидры, дракона, с которым сражался Ланцелот. Стоило мне срубить одну, другую голову, как на их месте срочно вырастала третья. Третья, вернее, уже четвертая по счету голова принадлежала самому молодому и самому бездарному из этой поэтической компании А. Зрячкину. В последнее время он резко сдружился с Мартыновой и, видимо, вследствие этого зачастил на мои лекции (собирал «компромат»). Другой причины его посещения я не вижу, так как достаточно было взглянуть на его физиономию во время лекции, чтобы понять, какое отвращение у него они вызывали. Он шумно возмущался наличием в них подробностей личной жизни поэтов, кривился при каждом вольном слове, которого, как известно, из строки не выкинешь, несколько раз даже истово перекрестился. После вечера

под названием «Заресничная страна» (об истории любви Мандельштама и Ольги Ваксель) он подошел ко мне:

– Какие у Вас доказательства, что это писала Лиза?

– Вы что, ее парламентар?

– Нет, я сам.

– Передайте Вашей Лизе, пусть подает в суд. На суде все псевдонимы раскрываются.

Он переменялся в лице:

– Но мы не собираемся...

Когда мы уже уходили с Давидом, библиотекарь передала мне послание, тщательно заколотое со всех сторон булавочками (чтоб не прочли посторонние) и надписанное мне: «Наверное, гадость какая-нибудь...» Она оказалась права. Это была анонимка, мерзкая, грязная, с антисемитским душком, за всю жизнь мне такого еще получать не приходилось. По первым же фразам я без труда вычислила Зрячкина: некоторые из них дословно совпадали с тем, что он говорил мне устно (по поводу своей «нейтральности» и «невинности Лизы»). Этот юный ханжа, в ужасе шарахавшийся от всего, что выходило за рамки замшелых хрестоматий, позволял себе в письме такие выражения, как «кто кого, сколько раз, в каких позах», «сплошные трусы и гениталии», «извращение», «порнография» – все это якобы присутствовало на моих лекциях. «Кто ж Вам дал такое лево, как право вторжения в самое интимное?» «Пока не поздно, прекратите это извращение!» И – тут же, без перехода: «Пойдите навстречу своим «противникам». Люди мы мирные, пока не грянет. А грянуть может в любой момент...» Шапка горела на голове «парламентера», особенно при словах: «как Вы клеймили безо всяких доказательств бедную девушку». Бедная Лиза. «Графиня изменившимся лицом бежит пруду». Я скомкала анонимку. Потом подумала и расправила. Надо сохранить для истории. Начиналась она так: «Мы – простой русский народ, который ходит на Ваши лекции...»

Давид тут же позвонил этому отпрыску «русского народа» и предупредил, чтобы духу его больше не было на моих лекциях, если он не хочет себе неприятностей. Зрячкин от растерянности даже не пытался отрицать свое авторство. «Хорошо, я не приду», – был ответ. Каково же было наше изумление, когда на следующий вечер он притащился снова. Бедная Лиза, видимо, желала иметь своего шпиона в стане врага. Зрячкин попытался юркнуть в зал, но на его пути, как три богатыря, встали Давид, Шаров и Косолапов.

– Тебе чего тут надо?

– Я к Ивану Михайловичу. Иван Михайлович здесь?

– Нет здесь Ивана Михайловича. Убейся.

Они предупредили вахтера, чтобы этого писателя подметных писем больше на мои вечера не пускали.

Приближался вечер П. Шарова. Он позвонил Зрячкину, чтобы тот не приходил, так как он будет вынужден его удалить из зала. И тут тот, вспомнив, что он будущий юрист, решил «уйти в несознанку».

– Это не я!

– Как не ты? Тебя видели с письмом.

– Меня просили передать...

– Кто?

– Ну... мужчина.

– Какой?

– Который разделяет мои взгляды. Я даже не знаю, что там написано.

– Откуда же ты знаешь, что он разделяет твои взгляды, если не знаешь содержания письма?

Молчит. Шаров, беря на пушку, спрашивает:

– Что ж ты пишешь везде: «мы, русский народ»... Писал бы от своего имени.

Зрячкин, оживившись:

– А ты почитай Конституцию! Там так же пишут.

Все это было бы смешно, когда бы не было так гнусно. Я помню, как еще несколько месяцев назад этот молодой да ранний полуюрист-полупоэт просил меня написать предисловие к своей книжке. Стихи не выдерживали никакой критики, были «за гранью добра и зла», я отказалась. Он подарил мне свой сборник «стихов и песен» с надписью: «Несовершенство строк не осуждайте: когда тоску ничем не заглушишь, сменяя грусть на радостные даты, они несут мотив моей души». «Несовершенство строк» – это не самое страшное. Несовершенство совести куда страшней.

Однако и это еще был не конец. Вскоре изрыгнула свою реакцию на критику еще одна голова дракона, правда, уже из другого «лагеря». Чтобы было понятно, откуда «росли ноги» у очередной охаявшей мою книгу статьи, приведу злополучный абзац из моей новеллы «Гений» («По горячим следам», 2003, с. 164):

«Однажды в газете появилась ругательная статья о стихах Шарова. Возмутил не сам факт критики, а ее вздорность, бездоказательность, незамысловатость. Объединив поэта на скорую руку с другим автором – прозаиком (!), ничего общего с Шаровым не имеющим, критикесса походя, как бы между делом, чуть ли не брезгливо разделалась с молодым дарованием, не взяв на себя труд повнимательнее вчитаться, вникнуть, понять. Особенно меня разозлило одно место в конце статьи, где она цитировала прекрасные, по моему, строчки, привожу их полностью:

И когда над душою – махровою полночью
Колыхается бред, точно веер, и тьма беспроглядна,
К сердцу руку прижать бы, но – полно, чью?!
Я не зарюсь на счастье, живу – и ладно.

Какие чувства вызывают эти строки? Сочувствие, сопереживание, жалость, печаль? У критикессы они исторгли следующую фразу: «Утешает, что о своих бытовых проблемах – а они ужасны! – поэт возвещает скромно: «Я не зарюсь на счастье, живу – и ладно». Вот что ее утешает, оказывается. Его скромность. Негромкость его боли, его проблем. А меня вот не утешает. А я вот хочу ему счастья. А таким, как эта, хотела бы ответить словами того же Шарова из другого стихотворения:

Кепчонку надвину на уши и руки
Упрячу поглубже в карманы, ах, суки,
Вы смерти желали птенцу и котенку,
Но если мой дух проявить, словно пленку,
Откроются дальние горы и страны;
Небесной, не знаю, дождусь ли я манны,
Но дух мой, как голубь, сорвавшийся с крыши,
Взметнется под облако – выше, все выше».

Критикесса, которую я в статье не называю – Анна Сафронова, прочтя мою книгу и, соответственно, это место в ней, не замедлила присоединить свой голос к общему лаю «своры» («Богатей», 01.07.2004). Трудно отвечать на том же уровне, заявленном в своей статье А. Сафроновой, непривычно для меня низким. Но я попробую.

Первая мысль при прочтении «рецензии» была: да читала ли она вообще мою книгу? Или только статью о ней Е. Мартыновой в «Земском обозрении», которую «выловила в Интернете» и которой жадно обрадовалась? Настолько, что слюнки потекли (статья очень к месту называлась «Приятного аппетита!»), когда она с аппетитом цитировала самые смачные строки Ядвиги Залесской:

«Постельные сцены составляют самую значительную часть «стихотворного наследия» Н. Кравченко. Ради разнообразия Наталия Максимовна притворяется то изысканной куртизанкой, то неопытной отроковицей...»

Ну сколько можно, женщины? Надоело. Угомонитесь. Что вас так заклинило на постельных сценах? Неужели не к чему больше придраться? «Однако вот не тянет меня вылавливать плевок Ядвиги Залесской из супа, сваренного Наталией Кравченко», – пытается сделать безразличное лицо штатная критикесса, отмежевываясь от нештатной.

Но не может скрыть истину: тянет. Еще как тянет! И вылавливает, и смакует, и причмокивает. «Весело, не правда ли? Мне сразу захотелось написать диссертацию на тему: «Опыт идентификации реального постельного имиджа автора с имиджем лирического героя», – резвится Сафронова. Она стремится представить пасквиль Мартыновой и мою отповедь ей в газете как обычную кухонную свару, бабью разборку: «Две дамы вышли разбираться на общую территорию сказать друг другу самое важное». Совершенно верно. Только вот дамы-то эти – они сами. Забыв на время идейные разногласия своих газет, Мартынова и Сафронова «вышли на общую территорию» «разобраться» со мной, сказать обо мне «самое важное». Тут интересы их совпали, слились, так сказать, «в одну, но пламенную страсть» – жажду мести. При этом Сафронова не гнушалась цитировать на все лады, как классика, постоянного заслуженного автора досточтимого «Земского обозрения». Да, известный душок есть. Но ради такого дела можно и принципами поступиться. А почему бы тогда и Куракина не процитировать с его грязными ругательствами обо мне? Неужели его не было в Интернете? Ай-яй-яй! А то бы еще веселее получилось.

Один знакомый журналист говорил мне: «Ну что Вы хотите, критики тоже люди. Прочитала, обиделась...» Мне вполне понятны чувства Сафроновой – надо же было сквитаться за «критикессу» и «суки». Естественно, что книгу мою она в свете этой обиды читала с помраченным сознанием. Как она умеет «выпускать пар», я уже знаю из другой ее публикации в «Новых временах», где, обидевшись на какую-то фразу о ней из книги «Политика и культура в русской провинции», – там, кажется, было что-то о «посиделках под чай, водку и спирт», Сафронова срывалась чуть ли не на истерику, угрозы («пусть не попадается мне автор на широких просторах родины!»), признавалась в своих «нездоровых и даже криминальных чувствах» по отношению к авторам книги. Статья, помнится, так и называлась: «Выпускание пара». Вот эту же нехитрую процедуру критикесса проделывала и в статье о моей книге. Юпитер, ты сердисься... Однако даже помутившимся от гнева зрением как можно в белом видеть черное? Вплоть до того, что даже невинный желтый (и чуть розоватый) цвет моей обложки Сафронова именует «огненным, революционным». Сначала я, честно говоря, подумала, что она дальтоник, а потом мне стало ясно, куда она клонит: сделать из меня этакую революционерку-коммунистку с «милицейско-оперативными» ухватками (ну как же, раз название – «По горячим следам»!) с примитивной лексикой и однолинейным мышлением. При этом доказательствами она не балует, заменяя их грубыми подтасовками и голословными обвинениями. Особенно уела ее страница 211 (памфлет «Русофобия»), где я привожу отзывы – не своих «поклонников», как выражается критикесса, видимо, не в силах расстаться с навязчивыми мыслями о «постельных сценах», а – как пишу я – «слушателей моих лекций». Намеренно игнорируя контекст статьи и причину, по которой я их привожу (зачем? пусть читатель думает, что просто из хвастовства и самолюбования), она, радостно уцепившись за один из отзывов, где женщина не так изысканно выразила свои чувства, как этого хотелось бы г-же Сафроновой, торжествует по сему поводу: «Чувствуете, из какого словаря лексика?» Дескать, смекаешь, читатель, какое быдло к ней на лекции ходит?

А какая, если уж на то пошло, лексика у самой рецензентши? Как она сама-то пишет? Почему-то принято считать, что критиковать положено лишь поэтов и писателей, а критики – это как бы самая высшая инстанция. Но меня давно уже возмущают статьи этой авторши – поверхностные, беспардонные, бездоказательные, невразумительные, приправленные «для оживляжа» плебейским стебом. По ним зачастую невозможно определить, хвалит или ругает она поэта. Из статьи о Сокульском, например, я так и не смогла этого понять. Вроде бы установку дала себе хвалить (и ежу ясно, почему), а найти, за что – затрудняется. Только и выдавила из себя запомнившуюся ей строчку, которую, действительно, забыть трудно: «Снег летит, хорошо – не дерьмо». А в статье о поэте С. Трунине вынуждена была даже пояснить: «Во избежание недоразумений сразу

хочу сказать, что сей текст написан с большой любовью к стихам Сергея Трунева». Вот спасибо, что предупредила, а то читатель по статье ни за что бы не догадался. Зато талантливого Павла Шарова одним махом-чихом зачислила в бездари. Всю мою книгу, «как стихи, так и прозу», она «по-революционному» свела «к демонстрации практического применения простеньких критериев: бедность – хорошо, богатство – плохо, духовность – хорошо, бездуховность – плохо...»

Вначале было чувство недоумения: да читала ли она в самом деле книгу, и если читала, то в каком состоянии? Где, сквозь какой граненый «магический кристалл» она это могла увидеть? Потом, когда дочитала фразу до конца, поняла, куда она гнет: «поэт, если не заумный – хорошо, если заумный – плохо (и пусть не морочат ей голову Светлана Кекова и Елена Шварц, «голой правды от них не дождешься»). Это я так якобы пишу об этих поэтессах в своей книге. Но Сафронова не учла, что книгу-то прочли уже многие, и всем этим людям ложь ее «постулатов» слишком очевидна.

Чем еще я не угодила г-же Сафроновой, кроме цвета обложки? Какие еще претензии? Ах, да, критикессе не хочется «выслушивать жалобы Кравченко на то, как поэт Павел Шаров съел у нее все, да еще много чаю с сахаром выпил». «Жалобами» она называет фразу: «Заглянула в холодильник – Шаровым покати. Но за талант хотелось простить все». Вот только таланта поэта – слона-то и не заметила рецензентша, а ведь именно об этом я писала на 30 страницах рассказа. Что, не убедила? Так напиши, опровергни по существу. Ни стихов Шарова, ни моих комментариев к ним она, что называется, в упор не видит. Ей внятно только про «чай» и «холодильник». Так же как в стихах моих она увидела только «постельные сцены». Что ж, каждый волен видеть то, что ему близко. Но почему я в таком случае должна «выслушивать», что герой другой статьи Сафроновой поэт Е. Заугаров, чью гениальность она с придыханием воспеваает, привычно не утруждая себя доказательствами, «коллекционирует дверные ручки» и «любит пририсовывать усы поп-лицам с афиш»? Других доказательств «гениальности» поэта в статье не приводится, так как стихи, которые там цитируются, вряд ли вообще можно назвать стихами: «...Единственное, что меня заставит/ встать с кровати,/ так это опасение, что кто-то/ увидит эти чертовы бумажки,/ что кто-нибудь все это прочитает...» Стихи непризнанного «гения» Сафронова перемежает неведомо чьими «разговорами о Евгении Заугарове», например: «Он выглядит и живет таким образом, каким в нашем представлении должен быть гениальный поэт: беден, странен, сосредоточен, печален...» Если это для Сафроновой – критерии гениальности, чем же они в таком случае отличаются от моих, по ее выражению, «простеньких критериев»: «бедность – хорошо, богатство – плохо...» Не говоря уже о том, что нигде у меня в книге этих дурацких «критериев» не сыщешь.

Мстительность критикессы была вызвана не только моим выпадом против нее в защиту Шарова, но и моим памфлетом о стихах Кековой и Шварц, которых Сафронова когда-то тоже воспевала в своих статьях. И так же «своеобразно»: в качестве гениальности Шварц, например, она приводит скандалы, которые та учиняла с битьем посуды, швырянием утюгов и кипящих чайников. Как говорил Бальмонт, «почему я, такой нежный, должен все это видеть?» Почему я должна все эти бытовые подробности и сплетни, собранные Сафроновой, принимать за критические и аналитические статьи? И с какой стати она приписывает мне свои собственные творческие приемы?

В моей статье о поэзии Кековой я в подтверждение своих доводов привожу примеры, цитаты, аргументы, высказывания Ходасевича, Заболоцкого, Цветаевой. Что же Сафронова не опровергает и их тоже? Или она все это тоже предпочла «не заметить», как всегда умудряется не замечать главного, подменяя его второстепенным, неважным. А ведь этому еще в школе учат: уметь вычленить основную мысль в статье, главную тему рассказа. Сафронова же сумела угледеть в поэзии Бориса Рыжего «глобальный творческий эгоизм» («Богатей», № 21, 2004), а в поэзии С. Трунева, в любви к которому заверяет читателя, выделяет как самые заслуживающие внимания строки: «Столкну на воду чью-нибудь «казанку»,/ переступив на собственность права,/ они под утро бросят

ся искать,/ но будет поздно...», сопровождая таким «прозаическим» комментарием: «И куда только кафедра смотрит вкупе с соответствующими отделами? Человек, можно сказать, сам на себя донес». Мд-а-а. Как там у Маршака? «— Где ты была сегодня, киска? — У королевы у английской.— Кого видала при дворе? — Видала мышку на ковре». Что угодно интересуется Сафронову — холодильник с чаем, постель моей спальни, донесет ли кто на Трунева или нет, только не поэзия. Может быть ей переквалифицироваться... ну если не в управдомы, то в какие-нибудь бытописцы, а то и в «милицейские оперативники»? Это бы ей больше пошло, ей-богу.

Я прошу прощения, что испортила аппетит Сафроновой, подмешав в «амброзию» своей книги толику дегтя. Никто, кстати, не неволил её эту книгу покупать и читать. А ведь читала, и очень даже прилежно, раз обвиняет в невнимательном чтении «Ядвига Залесскую». Уверена, что и эту будет есть глазами.

Сафронова назвала свою статью саркастическим пожеланием: «Приятного аппетита!» Будем взаимно вежливы: — Кушайте на здоровье!

Редактор «Волги» Н. Болкунов увещевал меня по телефону:

— Ну чего ты задираешься! Я тебя помню на ТВ тихой, скромной девушкой...

— Я не задираюсь. Я пишу критику. Вам что, критики уже не нужны?

— Нужны, — сказал он. Но как-то вяло, без энтузиазма. Понятно. «Нам нужны подобнее Щедрины, и такие Гоголи, чтобы нас не трогали».

Мне говорили: «Зачем ты трогаешь того? Или этого? Он теперь кипит от злости». Да пусть себе кипит. Это его личное дело. Как говорил Сирано: «Под взглядами врагов я хожу прямее». «Драка», «разборка», «сведение счетов» — такие обвинения возникают только потому, что пошлость всегда опирается на собственный опыт и не способна понять истинных причин и побуждений.

Еще раз подчеркиваю: то, что я пишу — это не ругань, не месть, не скандал, это — критика. Есть такой жанр. Его никто еще не отменял. Понятно, что объектам ее она понравиться не может. Но я пишу это не для них, не для того, чтобы их уесть или позлить, а для того, для чего должна писаться критика: формировать вкус читателя, объяснять, что в поэзии хорошо и что плохо, с моей точки зрения. Не согласен — опровергай, спорь, на то существует полемика, высказывание разных мнений. Но уж будь любезен — под своим именем, чтобы все видели, кто именно так думает. Псевдонимы в такого рода статьях, на мой взгляд, недопустимы, они развращают, приучают к безответственности, безнаказанности, от них один шаг до анонимок. А не можешь возразить по существу — ну, значит, сиди и не чирикай. Делом докажи, что я не права, новым стихом, новой книгой, которые — всегда есть надежда, что окажутся лучше прежних.

Никто мне еще не мог возразить на том же литературоведческом уровне, никто. Только на языке кухонной склоки, по принципу «а ты кто такой? Не тебе судить». «Не судите да не судимы будете», — большинство придерживаются этой мудрости. Но мне ближе другая формула, Галича: «Те, кто выбраны, те и судьи? Я не выбран. Но я судья!» Если кто-то благодаря своим связям просочился в газету, получил доступ к газетным площадям — это еще не значит, что он автоматически становится критиком. Так же как и членский билет СП не дает еще права считаться поэтом. Равно как и наоборот. А то ведь так можно скатиться до уровня судьи Савельевой, которая допытывалась у Бродского: «Кто Вам дал право называть себя поэтом?» «Господь Бог», — ответил ей Бродский.

И еще, отвечаю тем, кто укоряет: зачем пишу критику? Ты, дескать, поэт, ну и пиши стихи. Но я считаю себя критиком в меньшей степени, чем поэтом. Одно другому совсем не мешает. Критику писали многие достойные поэты, практически нет ни одного мало-мальски известного поэта, не говоря уже о классиках, у кого бы не было критических статей. И всякие попытки как-то принизить, «дисквалифицировать» этот жанр я категорически не принимаю. Писала и буду писать. Потому что чувствую себя ответственной за современный литературный процесс — как бы это ни казалось кому-то

самонадеянным. Потому что мне не безразлично, что происходит в саратовском литературном мире. И потому, наконец, что я умею это делать.

«Подлинная критика – это отношение, острое личное мнение, беспощадно правдивое суждение о любом писателе любого направления и ранга, без групповщины и политиканства. Сколько же тяжелой злобы и мстительности она порождает...» – пишет Вс. Сахаров в статье «У нас была критика» («ЛГ», 2003).

Мне хотелось бы закончить свою «эпопею» строчками письма, которое я получила недавно от моей читательницы и слушательницы Тамары Васильевны Усановой. Такие письма – и мое оправдание, и награда, и свидетельство творческого «не зря».

«Я все думала: ну зачем она разворошила это осиное гнездо? Ведь закусуют. А потом поняла: для правды. Ну кто-то ведь должен сказать правду. Другие или боятся, или не умеют, или хотят жить спокойно. Но ведь сказано: не бойся врагов, в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей, в худшем случае они могут тебя предать. Но бойся равнодушных: это с их молчаливого согласия творятся на земле предательство и убийство.

Поэтому я еще раз говорю Вам спасибо. За гражданское мужество. Т. В. Усанова. 27 марта 2004 г.»

«ПАКОСТНАЯ» ГАЗЕТА

В газете «Земское обозрение» от 9 июня 2004 года Б. Глубоков цитирует «реплику от Р. Арбитмана» из его статьи «Московское послание и местная пакость» («Саратов СП» от 1.06.04.), сопровождая цитату таким комментарием: «Вспоминается тут первый постсоветский кинофильм «Про уродов и людей», снятый с садомазохистским вывертом, где есть сакраментальное: «Опять напакостила!» Т.е. газета «Земское обозрение», как пакостная, должна быть подвергнута публичной экзекуции...» Этот тот редкий случай, когда с Б. Глубоковым хочется согласиться, воспринимая сию фразу вне саркастического смысла, который он в неё вкладывает. Доказательства? Сколько угодно. Не буду мелочиться, анализируя безграмотные рецензии и пустопорожние рубрики этого еженедельника. Я скажу только о двух крупных «пакостях», молчать о которых – значит соглашаться с ними. Итак, «пакость» первая.

Сталиниана

(повествование в стихах и документах)

«...участник югославского и итальянского движения Сопротивления Б. Арсениевич хлётко громит в «Крушении идолов» всяческих арбитманов и иже с ними. Лозунг «За Сталина!» применим и к его творчеству, и к альманаху «Саратов литературный» («Земское обозрение». 3.04.2002).

В номере от 18 декабря 2002 года публикуется «Обращение к саратовцам, местным политикам, представителям власти Саратова и области»:

«Уважаемые сограждане!

На протяжении последних лет антинациональные и антигосударственные силы внутри нашей страны, при открытой поддержке из-за рубежа, развернули активную деятельность по очернению всей истории нашей страны... Великое прошлое российского и советского государства современные СМИ и «демократические историки» пытаются представить как непрерывную череду казней, репрессий, удушения свободы со стороны власти и тотального пресмыкательства со стороны народа.

По существу, у нашего народа хотят отнять его историю. И основной удар в последние полтора десятка лет разрушители направляют против Иосифа Виссарионовича Сталина. Его преподносят людям в качестве величайшего злодея в истории человечества, на его личный счёт записывают все ошибки и преступления, совершённые разными деятелями той эпохи. Похитители нашей истории избрали главной мишенью Сталина, очевидно, именно потому, что он был одновременно советским и имперским вождём, объединил красную и белую историю России, привёл страну к невиданному за многие столетия могуществу...»

Передохнём. Не знаю, относят ли авторы обращения к «антинациональным и антигосударственным силам» Анну Ахматову, но она видела в Сталине именно «величайшего злодея в истории человечества», о чём писала в стихотворении, которое в целях конспирации называлось «Подражание армянскому»:

Я приснюсь тебе чёрной овцою
на нетвёрдых, сухих ногах.
Подойду, заблею, завою:
«Сладко ль ужинал, падишах?

Ты вселенную держишь, как бусу,
светлой волей Аллаха храним...
Так пришёлся сынок мой по вкусу
и тебе, и деткам твоим?»

Ахматова писала в дневнике: «И дети не оказались запроданными рябому чёрту, как их отцы. Оказалось, что нельзя запродать на три поколения вперёд».

Но что им, новоявленным сталинистам, уроки истории, свидетельства и пророчества поэтов! У них свои доводы.

«Естественно, Сталин, как и все крупные исторические деятели – от Александра Македонского до Наполеона – был сложной, противоречивой личностью. Он жил и действовал в трагическую и великую эпоху, когда бушевали кровопролитные войны за передел мира, а в нашей стране волны красного и белого террора привели к колоссальному ожесточению нравов.

Не Сталин и не какой-либо другой деятель виновен в том, что жизнь в тот исторический период ценилась крайне дёшево, а в мире торжествовали принципы «Кто не с нами, тот против нас» и «Если враг не сдаётся, его уничтожают».

Вот так. Сталин был всего лишь «сложной, противоречивой личностью» и вовсе не виноват в миллионах загубленных жизней. «Не Сталин и не какой-либо другой деятель». А кто? Сами виноваты? Туда им и дорога?

Послушаем ещё одного поэта, Наума Коржавина, отсидевшего за свои стихи 7 лет в сталинских лагерях:

Так бойтесь тех, в ком дух железный,
кто преградил сомненьям путь,
в чьём сердце страх увидеть бездну
сильней, чем страх в неё шагнуть.

Таким ничто печальный опыт.
Их лозунг – «вера, как гранит!»
Такой весь мир в крови утопит,
но только цельность сохранит.

Он даже сам не различает,
где в нём корысть, а где – любовь.
Пусть так. Но это не смягчает
вины за пролитую кровь.

Есть известная евангельская притча: «покаявшийся грешник – дороже праведника.» В середине 80-х Тенгиз Абуладзе выразил настроения общества своим фильмом «Покаяние». Ахматова, вынужденная ради спасения сына напечатать стихи во славу Сталина, всю жизнь потом стыдилась этих стихов и, даря сборники друзьям, заклеивала их автографами других стихотворений.

Не за то, что я чиста осталась,
словно перед Господом свеча –
вместе с вами я в ногах валялась
у кровавой куклы палача.

А «Земское обозрение» считает – не виновен. Непогрешим. И точка.

«Если всё же говорить о персональной вине за репрессии, то есть все основания полагать, что именно противники Сталина и некоторые его последующие разоблачители были главными организаторами репрессий 20-х и 30-х годов. А настоящая «вина» Сталина состоит в том, что в 1938 году он сурово наказал наиболее рьяных номенклатурных террористов. Именно этого не могут ему простить лидеры нынешней антирусской партии».

Когда-то такое уже было. Вернее, попыталось быть. В эпоху застоя, когда впервые после долгого перерыва на праздновании 20-летия Победы Л. Брежнев упомянул имя Сталина, поползли слухи о предстоящем пересмотре партийных решений в отношении сталинизма. Тогда в ответ 25 выдающихся деятелей науки и культуры, в их числе академики П. Капица, А. Сахаров, писатели В. Некрасов, К. Паустовский, К. Чуковский направили руководителям страны письмо-предостережение, опубликованное в конце 80-х в «Огоньке». Письмо разошлось в списках. Возникла волна «самиздата». «Реквием» Ахматовой, «Крутой маршрут» Е. Гинзбург, – всё это читалось, распространялось, формировало общественное мнение. Но что нашим «земобозным» писателям и журналистам эти имена! У них свой взгляд на историю, свои представления о совести и правде. Заканчивается сие пространное «обращение» следующим призывом:

«Мы обращаемся ко всем саратовцам, к общественным деятелям, к властям Саратова и области с предложением увековечить в Саратове память об этом великом человеке. Мы предлагаем к 125-летию И.В. Сталина или к 60-летию Победы установить памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину в Парке Победы на Соколовой горе.

Мы обращаемся к общественности России с предложением восстановить историческую справедливость и увековечить в камне и металле память о великом вожде». Следом идут подписи членов писателей России: Василий Кондрашов, Владимир Масян, Галина Мокина, Николай Палькин, Юрий Преображенский, Николай Солдатов. Замыкает этот позорный список первый секретарь обкома РКРП-РПК, секретарь Саратовского Земского Союза Игорь Сухарев. Он же – главный редактор пресловутой газеты.

Ну как тут не вспомнить знаменитую песню Галича 1962 года «Ночной дозор»! Многим тогда казалось, что кошмары сталинщины остались позади, возврата к прошлому нет. Галич не разделял таких упований. Для него это прошлое не было преодоленным. Он предполагал возможность рецидивов и, как оказалось, не ошибся. В разгар оттепели он пишет стихотворение «Ночной дозор». Как однажды ночью поэту привиделось, что все мраморные, гипсовые осколки разрушенных памятников вождю вдруг зашевелились, вскочили, как в обратной кинопроекции, на свои места, и вот уже под растущий

барабанный бой угрожающе маршируют по пустынным улицам изваяния бывшего генералиссимуса.

На часах замирает маятник,
стрелки рвутся бежать обратно.
Одинокий шагает памятник,
повторённый тысячекратно.

То он в бронзе, а то он в мраморе,
то он с трубкой, а то без трубки.
И за ним, как барашки на море,
чешут гипсовые обрубки.

И бьют барабаны, бьют барабаны,
бьют, бьют, бьют!

Я открою окно, я высунусь,
дрожь пронзит, будто 100 по Цельсию!
Вижу: бронзовый генералиссимус
шутовскую ведёт процессию.

Он выходит на место лобное –
«гений всех времён и народов»!
И как в старое время доброе
принимает парад уродов.

И бьют барабаны, бьют барабаны,
бьют, бьют, бьют!

Прошло почти полвека – а мы снова наступаем на те же грабли. На второй странице «Вестника Саратовской писательской организации 1998-2001» – «групповое фото писателей М. Алексеева, И. Шульпина, Н. Палькина, а также других на фоне танка с надписью «За Сталина!» – с гордостью сообщает «Земское обозрение» за 3.04.2002. Из номера в номер публикуют они прекрасные портреты генералиссимуса (в номере от 17 мая 2004 года так даже на фоне современной женской задницы, чтобы читатель, так сказать, мог сравнить и уяснить, что Сталин всё-таки лучше). А мне вспоминается:

Его толстые пальцы, как черви, жирны,
а слова, как пудовые гири, верны,
тараканьи смеются усища,
и сияют его голенища.

А вокруг его сброд тонкошеих вождей,
он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет.
Он один лишь бабачит и тычет.

Как подковы куёт за указом указ –
кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него – то малина
и широкая грудь осетина.

В номере от 10 сентября 2003 года нам спешат сообщить о великой радости: «4 сентября в нашем городе произошло неординарное событие. Собравшиеся в областном Совете ветеранов представители многих партий и общественных организаций учредили «Комитет защиты памяти о Сталине». В списке этих партий и организаций, правда, не было представителей КПРФ, но это «земобозцев» не смущало. «Однако это логично, – пишут они. – Ещё весной Г. Зюганов заявил, что партия осудила «культ личности» и находится на позициях 20 съезда, то есть на хрущёвской платформе.

Собравшиеся сталинцы выразили намерение к 60-летию Победы установить памятник вождю на Соколовой горе. За поддержкой они намерены обратиться к единомышленникам в стране и мире.

Бюро комитета обращается к гражданам с просьбой присылать отклики на данную инициативу в прессу, в частности – в «Земское обозрение».

Видимо, откликов было немного, ибо в очередном номере от 17 сентября газета снова печатает текст «обращения» под жирным заголовком: «Сохраним память о вожде!» «Мы вновь обращаемся к читателям с призывом откликнуться на эту инициативу... Быть может, именно установление памятника И.В. Сталину станет переломным моментом, с которого начнётся путь к возрождению нашей страны».

И снова дадим слово поэзии.

...И вот лежит на пышном пьедестале
меж красных звёзд, в сияющем гробу,
«Великий из великих» – Оська Сталин,
всех цезарей превозойдя судьбу.

А перед ним в почётном карауле
стоят народа меньшие «отцы»,
те, что страну в бараний рог согнули, –
ещё вожди, но тоже мертвецы.

Какие отвратительные рожи,
кривые рты, нескладные тела:
вот Молотов. Вот Берия, похожий
на вурдалака, ждущего кола...

В безмолвии у сталинского праха
они дрожат. Они дрожат от страха,
угрюмо пряча некрещённый лоб, –
и перед нами высится, как плаха,
проклятого «вождя» – проклятый гроб.

Это стихотворение было написано Георгием Ивановым в год смерти Сталина.

В следующем номере от 24 сентября 2003 года «Земское обозрение», «невзирая на антирейтинги», «продолжает сталинскую тему» и публикует «присланную читателями» балладу.

«Забыли мы отца своего, Иосифа!» – хрипловато вздыхает наутро дядя Коля, одноногий сосед, в застиранной тельняшке, но с вечно сияющей «Победой» в стальном гараже. Для него Иосиф не просто боевой клич. И уж тем более не чушь собачья, которой облаивают – гав-гав, гав-гав... – всякие моськи мёртвого Сталина... Не понять политическим моськам, что СТАЛИН – ДУХ НАРОДА! И убить его не удастся никому, хоть за 1000 лет! Потому что в нём слились души былинных богатырей и Александра Невского, сказочного Вия и героев Пушкина, Фёдора Шалапина и Володи Высоцкого, Стеньки Разина и миллионов и миллионов гениев, героев и тружеников...

Не горюй, дядя Коля, крепок наш дух. Помним мы отца нашего, Иосифа. И скоро кое-кому напомним!!!»

Ну просто 37 год какой-то. Эта кликушеская бредятина почему-то была помещена без подписи, вызывая ассоциации отнюдь не с народным творчеством, как того видимо хотелось редакции, а с анонимками и доносами сталинских времён. Если же принять на веру, что такие дремучие экземпляры существуют в действительности, а не плод фантазии журналиста и не частный клинический случай... Вспоминается стихотворение Наума Коржавина «Оторопь»:

Где тут спрятаться? Куда?
Тихо входит в жизнь беда,
всех спасает, как всегда,
от страданий слепота –
лучший друг здоровья...

Но чтобы сохранить эту «слепоту» сейчас – надо уж очень крепко зажмуриться.

В дореволюционных энциклопедиях была такая статья: «Нравственное помешательство». Это (цитирую): «психическая болезнь, при которой моральные представления теряют свою силу и перестают быть мотивом поведения. При нравственном помешательстве (нравственная слепота, нравственный дальтонизм) человек становится безразличным к добру и злу, не утрачивая, однако, способности теоретически формального между ними различения». В советских энциклопедиях эта статья уже отсутствует, словно революция разом вылечила всю страну от нравственного помешательства, и термин исчез как ненужный. Однако, как показывает практика, преждевременно. Нравственное помешательство иных больных грозит перерасти в эпидемию.

К сожалению, сталинизм не выкорчеван, он жив, и его проявления ощущаются в поведении как многих представителей уходящих поколений, так и молодых людей, не знающих, не понимающих трагедий прошлых лет.

Кажется, что мы живём на тонкой плёнке, которая в любой миг может прорваться, и тогда все мы, вся страна провалится опять туда – в лагеря, в ГУЛАГ, в ужас той жизни, когда никто не знает, что с ним будет завтра, и будет ли он завтра.

Не может быть? А почему? Разве граждане России в начале века были глупее нас, сегодняшних? Разве немцы 20-30-х были дураки? Разве трёхтысячелетняя культура помешала китайцам провалиться в безумие маоизма?

Да, их бронепоезд всё ещё стоит на запасном пути. Всё ждут, надеются, а может, снова возникнет нужда в заплечных дел мастерах? Как там у Галича?

«Мы на страже» – говорят палачи.
«Но когда же?» – говорят палачи.
«Поскорей бы» – говорят палачи.
«Встань, Отец, и вразуми, поучи!»

Но ведь были, и в эпоху сталинизма были Фёдор Раскольников, Мартемьян Рютин с его письмом «Ко всем членам ВКП(б)», Анатолий Жигулин с его воронежской «Молодой гвардией» и поэмой «Чёрные камни». А солженицинские «Архипелаг ГУЛАГ» и «Один день Ивана Денисыча»? А шаламовские «Колымские рассказы»? «Жизнь и судьба» Гроссмана? «Софья Петровна» Лидии Чуковской? Ну хорошо, предположим, «туземское оборзение» и «иже с ними» не читали (или не признают) всех этих книг, стихов и рассказов. Но фильмы-то они видели? «Ближний круг», например? «Утомлённые солнцем»? «А завтра была война»? Неужели не смотрели? Неужели так ничего и не поняли?! Неужели в памяти остались только «Кубанские казаки»?

Не в силах расстаться с мечтой о памятнике вождю всех времён и народов, земские обозренцы в номере от 26 ноября 2003 года ликующе сообщают, что «план, который наметили саратовские патриоты, уже воплощён в г. Ишиме Тюменской области. В центре этого города установлен бюст Иосифа Виссарионовича Сталина». Так может быть вам прямо туда и перекочевать с вашим изданием, господа? Увидели бы воочию те места, где ваш любимый вождь гноил лучших людей отечества. Музей бы его имени создали, который в Гори закрыли. «Комитету защиты памяти о Сталине» нейдет. Он вновь обращается к «уважаемым саратовцам» с просьбой:

«Как известно, в ходе хрущёвских «реформ» было разрушено множество памятников И.В. Сталину. Их постигла разная судьба, но, как показывают события в городе Ишиме, многие из них могли сохраниться. Если вам известно о местонахождении таких памятников, если у вас имеются бюсты И.В. Сталина, сообщите об этом в редакцию «Земского обозрения». Мы уверены, что с вашей помощью памятник И.В. Сталину в Саратове будет установлен к 60-летию Победы».

И снова всплывает в памяти Галич:

Утро Родины нашей розово,
позывные летят, попискивая.
Восвояси уходит бронзовый,
но лежат, притаившись, гипсовые.

Пусть до времени покалечены,
но и в прахе хранят обличие.
Им бы, гипсовым, человечины –
они вновь обретут величие!

И будут бить барабаны, бить барабаны,
бить, бить, бить...

Цинизм неосталинистов не знает границ. В номере от 29 марта 2004 года в «Земском обозрении» публикуется редкая по своей подлости заметка. Привожу её полностью:

«Где найти жертв?»

В Москве представители так называемого общества «Мемориал» презентовали миру компакт-диск с именами 1млн. 340 тыс. «жертв» классического сталинского режима. На сбор информации у правозащитников, финансируемых Михаилом Ходорковским, ушло целых 10 лет, но большей цифры выдать из себя они так и не сумели, заявив только, что «жертв» на самом деле в десять раз больше. Вероятно, теперь правозащитникам урежут финансирование, ведь они должны были нарисовать 20, 30 или даже 100 млн. репрессированных, но сумели выдать из себя только один миллион триста тысяч. В число «жертв» террора вошли русские крестьяне, уничтоженные масонами-троцкистами во время коллективизации, наркоторговцы и наркоманы, полностью истреблённые в 30-е годы, сутенёры и гоп-стопники, строившие Беломорканал».

А «1 млн. 340 тыс.» – это что для вас, не люди? Мало, да? «Эх, не достреляли, недобили, недожали, недоупекли!» – как писал Юрий Даниэль от лица вот таких «патриотов».

А зато и Родину любили!
Транспаранты к празднику несли!

Какой плевок в души всех, чьи близкие были замучены в лагерях, погибли в сталинских застенках, пострадали от репрессий! «Есть ли в истории пример, чтобы столько всем известного злодейства было неподсудно, ненаказуемо? – писал А. Солженицин. – И чего

же доброго ждать? Что может вырасти из этого зловония?» Теперь мы видим, что выросло.

Как будто дело всё в убитых,
в неизвестно канувших на север, –
а разве веку не в убыток
то зло, что он в сердцах посеял? –

писал Борис Чичибабин. Порча коснулась самых основ человеческой природы. Во времена сталинщины сохранить порядочность было очень трудно. Порядочные люди не требовались, они мешали. Деспотизм нуждался в послушании, бездумии. Нравственность заменяли лозунги: «Люди – винтики», «Незаменимых нет», «Морально то, что для пользы дела, что служит строительству нового строя», «Жалость унижает человека». Людей приучали: за них думает и решает партия, вождь партии. Ради интересов дела заставляли отречься от родителей, близких, друзей. Предательство считалось преданностью. Доносительство оправдывалось, к нему обязывали и детей, и взрослых. Фискал ходил с гордо поднятой головой – он исполнял свой долг. Была деформирована личность, утрачены нравственные ориентиры.

Пока есть бедность и богатство,
пока мы лгать не перестанем
и не отучимся бояться –
не умер Сталин.

Пока во лжи, неукротимы,
сидят холёные, как ханы,
антисемитские кретины
и государственные хамы,
покуда взяточник заносчив
и волокитчик беспечален,
пока добычи ждёт доносчик –
не умер Сталин.

В номере за 26 апреля 2004 года А. Климов глумливо пишет: «Интересно, например, как себе представляют наши либералы и их американские покровители наказание создателей ГУЛАГа? Казалось, эту тему закрыли лет десять назад, но ведь кому-то неймётся! Вначале, очевидно, КПСС и КГБ будут признаны преступными организациями. Потом начнётся охота на стариков. Восьмидесятилетних ветеранов будут вытаскивать из-под капельницы и отправлять в кутузку. Хорошая перспектива, от нее так и веет гуманизмом!»

Гитлеровский режим рухнул в 1945 году – более полувека назад. Но мировое сообщество до сих пор разыскивает и судит бывших нацистских преступников. Сталинский режим закончился в 1953-м. То есть наши палачи в среднем на восемь лет моложе немецких. У нас есть ещё в запасе немного времени, чтобы очиститься от грязи, излечиться от тяжёлой болезни неосужденного зла.

Скажут: «Эти люди просто выполняли приказ. Они просто боялись. Тогда всё было по-другому». Но если признать, что тогда всё было по-другому, – значит, в будущем всё останется по-старому.

Никто не жаждет крови. Наверное, не нужно тюрем, ссылок и запретов на профессию. Что взять со стариков на восьмом десятке? Но крайне важно, чтобы судья сказал престарелому сталинскому палачу: «Вы совершили тяжкое преступление. Но суд, учитывая Ваш преклонный возраст и болезни, решил Вас помиловать. Не оправдать, не

амнистировать (то есть простить), а именно помиловать. Вам позволено дожить остаток лет на свободе в семье. Однако помните – помилование не снимает тяжести преступления».

Грех надо постараться искупить. Как? Может быть, дети и внуки бывших чекистов попросят прощения у бывших узников ГУЛАГа – но не только на словах. Реально помогут старым, больным и нищим жертвам сталинских репрессий. Навестят в больнице, сходят за лекарством. Посмотрят им в глаза, пораспросят о жизни. Может быть, они в конце концов смоят кровь с рук своих дедушек, которые «выполняли приказ, потому что боялись».

Если честно, больно и стыдно писать все эти банальности. Неловко перед нормальными людьми, для которых всё это и без меня очевидно и бесспорно. Но, к сожалению, есть еще немало таких, которым напоминание прописных истин просто необходимо.

Ещё цитата.

«Отрицание Сталина и его деятельности есть не что иное, как отрицание права русского народа на строительство собственного государства. Речь идёт о необходимости объективной оценки его деятельности, преклонения потомков перед его патриотизмом, его гигантской деятельностью во славу Отечества. Без такой оценки и речи быть не может быть о возрождении национальной идеи, равно как и возрождении самой духовности... Борьба против Сталина изначально носила антигосударственный характер и финансировалась силами международной реакции и мирового империализма... Было ли его правление более жестоким, чем, скажем, отношение Джорджа Вашингтона к коренному населению США, испанских конкистадоров к цивилизациям Южной Америки, англо-французских колонизаторов к аборигенам Австралии, Океании, Экваториальной Африки и в особенности к создателям древнейших цивилизаций Ближнего и Дальнего Востока?» – из книги Бранко Арсенивича «Маяки в тумане». Что называется – без комментариев.

У Е. Евтушенко есть стихотворение, которое называется «Наследники Сталина». Оно – лучший комментарий ко всему выше процитированному.

Он был дальновиден. В законах борьбы умудрён,
Наследников многих на шаре земном он оставил.
Мне чудится, будто поставлен в гробу телефон.
Кому-то опять сообщает свои указания Сталин.

Куда ещё тянется провод из гроба того?
Нет, Сталин не сдался. Считает он смерть поправимостью.
Мы вынесли из Мавзолея его.
Но как из наследников Сталина Сталина вынести?

Это стихотворение было написано поэтом в 1962 году, но до сих пор, к сожалению нашему и стыду, актуально. Так же, как и эти строки Б. Чичибабина, под которыми подписываюсь обеими руками:

Я на неправду чёртом ринусь,
не уступлю в бою со старым, –
но как тут быть, когда внутри нас
не умер Сталин?

Клянусь на знамени весёлом
сражаться праведно и честно,
что будет путь мой крут и солон,
пока исчадьё не исчезло,
что не сверну и не покаюсь

и не скажусь в бою усталым,
пока дышу я и покамест
не умер Сталин!

Пакость вторая.

Пятый пунктик

(Название, конечно, провокационное, прямо-таки «ужас патриота». Но мне к роли «красной тряпки» не привыкать).

Выступая в День Победы на Красной площади, В. Путин, в частности, сказал: «Но и сегодня мы не вправе закрывать глаза на то, что ещё «гуляют» по миру и нацистская свастика, и идеи фашизма.»

Да, сейчас эти проблемы обострились, и особенно в России. Её охватило нациобесие. Число скинхедов у нас достигает уже – по последним социологическим данным – 50 тыс. человек, а их сообщества находятся примерно в 85 городах, в том числе и в Саратове. И чувствуют себя они довольно вольготно. Суды выносят предельно мягкие, а то и вовсе оправдательные приговоры участникам бесчинств фашистского толка. Стражи закона бесстрастно наблюдают, как ведётся торговля литературой, порождающей национальную рознь. Спокойно выходят газеты, открыто призывающие к расправе над «инородцами». «Земское обозрение» тут в числе далеко не последних. В номере от 17 мая 2004 года публикуется рецензия на новую книгу стихов Н. Ивлиева «Родниковая сказка». Так получилось, что этот сборник я накануне прочла, и меня поразило несоответствие выводов рецензента (Б. Глубоков), которые он делал из процитированных строк – их действительному содержанию. Можно было подумать, что это восторженная рецензия на какую-то антисемитскую брошюру. «Мама – это у Ивлиева сама Родина-мать, стонущая под ярмом абрамовичей». «Иноверы-изуверцы» помрачили сознание нации». «Мракобесы, промасоненные демократы именно таким жаждут видеть русский народ». «У нации уже есть, невзирая на гонения, когорты бойцов, к идеологам которых смело можно причислить Николая Ивлиева. Его «Родниковая сказка» – только для таких. Прочими же картавыми гугнявцами поэтическая книга Николая Владимировича несомненно будет раскритикована и обсосана по косточкам».

Бедный Николай Владимирович, прочтя сей опус, пришёл в ужас, что его теперь зачислят в идеологи фашизма, даже хотел писать опровержение. В панике он бросился в Союз писателей за советом: что делать? Как отмыться от этих «похвал»? Ведь в его стихах ничего подобного нет! Ему порекомендовали: «Надо найти кого-то, кто написал бы другую, нормальную рецензию».

Б. Глубоков умудрился сделать антисемита не только из Н. Ивлиева, но даже из... Фёдора Тютчева. В номере от 21 января 2004 года читаю: «Не удержусь и я, грешный, от цитирования великого поэта: «Все богохульные умы, все богомерзкие народы со дна воздвигли царства тьмы...» Поход против русского слова всей масонской силы тёмной продолжается», – делает неожиданное резюме автор, от которого сам Тютчев, наверное, в гробу бы перевернулся.

Ко всем этим зоологическим выпадам и нападкам читатели «Земского обозрения» уже привыкли, притерпелись, приняхались и почти не реагировали. «Саратовские вести», некогда опубликовавшие откровенно антисемитскую статью «Хорёк пил мозг из птичьей головы...», вызвали на себя целый шквал возмущённой критики. Десятки саратовских газет сочли делом чести поднять свой голос против набухавшего кровью призрака шовинизма. «Земобозцы», позволявшие себе и не такое, почему-то много лет оставались безнаказанными. «Что вы хотите, это же маргинальная газета», – говорили в официальных инстанциях. Люди в судебных мантиях старались «не замечать» расизма, антисемитизма и

прочей мерзости, и статья 282 Уголовного кодекса, должная карать за возбуждение национальной вражды, была, по сути, мертва.

Но то, что выдало «Земское обозрение» в номере от 26 мая, превысило даже терпение власти. В статье «Идея русского реванша жива» чёрным по белому напечатано следующее:

«Авторы исследования ябедничают, что в стране идет формирование образа врага по национальному признаку, и во враги, например, определяются американцы и «жиды». А что в этом плохого?.. (Об американцах пропускаю). Теперь о «жидах». Не будем прятаться за двусмысленное толкование этого слова у Даля. Всем понятно, о чём речь. Так вот, вина жидов, то есть еврейской диаспоры, перед российским народом огромна. Она состоит в том, что наиболее активная часть диаспоры совершила два деяния. Во-первых, они захватили почти все финансовые ресурсы России, оставив русских аборигенов прозябающими в нищете. Во-вторых, диаспора узурпировала большую часть СМИ и с их помощью уже много лет изощённо глумится над ценностями русского народа. Это не будет прощено. Поэтому антисемитизм в России возникает как естественная, здоровая реакция отторжения». Подписи под статьёй не было, а в таких случаях ответственность целиком возлагается на редактора газеты.

Министр области – председатель комитета по информации и печати И.В. Никифоров направил в редакцию «ЗО» официальное письмо, в котором указал последней на нарушение ст. 4 закона РФ «О средствах массовой информации» (не допускается использование средств массовой информации в целях разжигания национальной розни). Одновременно в газете «Саратов СП» от 1 июня появилась ядовитая реплика Р. Арбитмана, посвящённая этому вопросу.

Такого отпора земские обозреватели не ожидали. С одной стороны, необходимо было дать ответ министру в том духе, что, мол, подобного больше не повторится, вы нас не так поняли. С другой – патологическая злоба к инородцам и «картавым гугнявцам» была слишком велика и по инерции обратного хода не имела. В результате родился гибрид трусливой ненависти и лицемерного чиновничества. В номере за 9 июня под угрожающим заголовком «Реплика или политический донос» появились жалкие оправдания: «Согласно закону о печати, газета вправе публиковать мнения, которые могут и не совпадать с позицией редактора». (Чьё же в таком случае это анонимное мнение и где же соответствующая приписка о несогласии редакции, которая делается в таких случаях?) «В данном случае публикация «Земского обозрения» носит полемический характер, в которой не исключаются противоположные точки зрения», – юлили они. (Очень любопытно. Хоть одну бы такую точку зрения хоть раз у них увидеть!) «Так что говорить о какой-то особой направленности и заданности темы не приходится». То есть министру всё это померещилось, получается. Ввели его в заблуждение всякие «арбитманы и иже с ними». А уж последнему досталось по полной программе. Редакция даже как будто забыла, что она оправдывается, и пошла в наступление: «явно заказной характер наезда», «политический донос»! (Вспомнили лексику 30-х? Так вы же за возврат к сталинским временам ратуете, господа-товарищи. А там донос – первое дело). В качестве «опровержения» «Земское обозрение» поместило такую глумливую отписку: «Редакция признаёт, что этот текст не соответствует действительности, потому что:

1. Напротив, еврейская диаспора щедро делится своей собственностью с русским народом, даря ему яйца Фаберже и нефтяные скважины, построенные трудами поколений честных евреев.

2. Еврейская диаспора, напротив, всячески пропагандирует культурные ценности русского народа – в частности, на стадионе команды «Челси» регулярно звучит русская мелодия «Калинка».

3. Это будет прощено. Русский народ не станет мстить своим супостатам.

Дрянной старикашка».

Старикашка ли писал это или молодой, но что «дрянной» – это точно. «Пакостный», одно слово. Чтобы закрыть газету – достаточно двух министерских предупреждений. Одно у «ЗО» уже есть.

«В основе антисемитизма всегда лежит бездарность», – писал Н. Бердяев. Не худо бы это помнить и иным поэтам, постоянным авторам «Земского обозрения», чья любовь к Родине и гордость за своё происхождение сочетается с агрессией по отношению к другим народам.

Москва, Москва, столица руссов,
погрязла в инородстве ты.

Здесь рожает, пашет, куёт
твой, Россия, главный народ.

Баста! Сколько можно? Время спроса.
Проявите ж нрав, великороссы,
предъявите счёт! –

всё это перлы из последней книжки стихов Н. Куракина «Русский вопрос». От них – один шаг до расизма и фашизма.

«В чём причина такой необычайной моды на патриотизм? – пишет критик и публицист Андрей Новиков. – Наш дом – Россия. Наше Отечество – Россия. Везде: Россия, Россия, Россия. Скоро словом «Россия» задницу будут подтирать: настолько затрепали. Русское золото. Русский никель. Русские яйца... Сколько можно? Толстой, помнится, говорил, что патриотизм – это последнее прибежище негодяев. Он был не прав: это их первое прибежище. Чем больше хамства, наглости, тем больше патриотизма. Патриотизм стал индульгенцией. Люди, сожравшие страну, теперь говорят: это моя страна. А чего им так не говорить: они ведь сожрали её! Естественно, они стали её патриотами».

Есть такая профессия – Родину любить. Куракин ею овладел досконально. «Славянское небо – не знаю бездонней...» (Ну прямо как у Малохаткина: русская луна больше американской). «Я исконных славянских кровей...»

В дожизненной тьме из какого-то глухого мешка достается нам билетик, право на жительство, он может ввергнуть тебя куда угодно: в Германию, Африку, Россию – твоей заслуги здесь нет, гордиться нечем. Фет, отвечая на анкету, составленную детьми, на вопрос «К какому народу желали бы Вы принадлежать?» ответил: «Ни к какому.» А. Кушнер в статье «Воздух поэзии» пишет: «Всякий умный, образованный, порядочный человек сознаёт, в отличие от невежд и дураков, тёмную сторону национальной принадлежности, свобода духа распространяется для него и на эту надпочвенную область человеческой жизни».

Гражданственность – это вовсе не заливиная болтовня тех, кто прославляет и воспекает. Сколько было их, таких поэтов, лауреатов Сталинских и Государственных премий, орденосцев, которых ставили в пример тем, кто не умел лгать и кривить душой! А кто не лгал – попадали в разряд «камерных» (Ахматова), «отщепенцев» (Бродский). Но на них-то и держится жизнь, они-то и противостоят наигранному пафосу любителей громких фраз, краснобаев-патриотов.

Меня упрекают: зачем трачу дорогое время, нервы и силы на всякую «пакость», её разоблачение. Конечно, пачкать руки не хочется никому. Но кто-то должен чистить эти Авгиевы конюшни. Тем более, что все остальные молчат и бездействуют. А ведь «с их молчаливого согласия творятся на земле предательства и убийства». Я знаю, что один в

поле не воин. Знаю, что ничего не изменю в сознании мастодонтов, в их неандертальском мышлении. Но я пишу это не для них, а для тех, кто способен воспринять, задуматься и, может быть, вследствие этого присоединить свой голос ко всем честным голосам России.

Недавно учёными была высказана новая версия, согласно которой все народы мира произошли от одного народа – тюркского. Эту гипотезу, пунктирно намеченную ещё Л. Гумилёвым, высказал писатель Мурад Аджи в своей книге «Европа, тюрки, Великая степь». Он пишет там о том, что когда-то был один народ, заселявший Великую степь, которая после великого переселения народов вобрала в себя всю Центральную Европу, большую часть Западной Европы (южная Англия, северная Италия, практически вся Франция, Испания). Там всюду есть следы их цивилизации. Так что все они, если верить этой версии, наши предки. Все мы из одной колыбели. Тут было бы уместно привести строчки Е. Евтушенко, который прекрасно сказал об этом:

Кто я такой? Чьим я рождён набегом?
Быть может, предок мой был печенегом.
А может быть, во мне срослись навеки
древляне, скифы, викинги и греки?

Рождён я был, назло всем узким вкусам,
поляком, немцем, русским, белорусом,
и украинцем, и чуть-чуть монголом,
а в общем-то, рождён ребёнком голым.

И как бы в мои гены не совались,
я – человек, – вот вся национальность.

Россия, кто ты? Азия? Европа?
Сам наш язык – ребёнок эфиопа.
И если с вами мы не из уродов,
мы приходим ото всех народов.

НЕ ПРОШЛО И ПЯТНАДЦАТИ ЛЕТ...

(заметки о концерте А. Дольского в Саратове)

– Имя! – коротко бросил он, надписывая мне свою книгу. Не столько с вопросительной, сколько с повелительной интонацией. Я обмерла. Не сразу даже его вспомнила от неожиданности.

– Наташа...

Он написал: «Наташа! Добра, веры и любви». Почти то же, что 15 лет назад. Наверное, он это пишет всем. И небрежно расписался: «А. Дольский».

«Не надо приходиться на пепелища», – вертелась в голове строчка Ирины Снеговой. И Майи Борисовой: «Не надо было, ох, не надо было...» Не надо нам было с Давидом идти в эту гостиницу. А спешили, дураки, боялись не застать, выбирали подарки.

Я робко постучала. «Кто там?» – раздался незабываемый голос. Гостей он явно не ждал. Мы узнали: они с Надей приехали этой ночью. Я отсчитала восемь часов на сон. Они уже прошли. Было двенадцать дня.

– Это Давид! – ответил Давид, предвкушая радость встречи.

– Какой Давид?

Минута растерянности.

– Который был у вас в гостях в Петербурге.

Я, вмешавшись:

– Который издал Ваш буклет!

– Но я не знаю... Я лежу абсолютно голый, – недовольно пробурчал бард.

– Это ничего, – ляпнул Давид. Я, толкая его локтем:

– Мы подождем внизу. Или прийти попозже?

Прорезался злобный голос жены:

– Это неприлично! Как вы не понимаете! Приходите на концерт.

На концерт мы шли и так. Но хотелось пообщаться чуть больше, чем позволяли рамки антракта. Когда-то у него было на это желание и время. К тому же я хотела передать ему свою книгу.

– Мы вам тут кое-что принесли, – сказал Давид.

Минутная перепалка супругов: визгливый голос Нади и шиканье Дольского. Потом из-за стенки донеслось:

– Сейчас я надену штаны и выйду.

Увидев мою книгу, не смог скрыть разочарования. Он явно ожидал чего-то другого. А эта книга была о нем. Она называлась «Будьте Вы благословенны» и вышла еще семь лет назад. Я долго не решалась ему ее отправить, и послала лишь к юбилею – в день его 65-летия. Книга через месяц вернулась невостребованной. Я подумала тогда: наверное, был в отъезде, может, за границей, не смог получить... Ничего подобного. Он, мельком на нее взглянув, объяснил причину: «У нас почта далеко от дома». Если б он это сказал раньше... Но книга была уже, к сожалению, надписана и вручена. С таким же успехом я могла бы выбросить ее на помойку.

– Мы идем сегодня на Ваш концерт, – сказала я, чтобы что-то сказать. Хотя говорить уже ничего не хотелось. Он оживился:

– Вам будет интересно, потому что вся программа – новая... Жаль, конечно, ребята, что не удалось посидеть, поговорить, хотелось бы пообщаться, но... – Он развел руками. – Приходите на концерт.

Мы вышли из гостиницы в гробовом молчании. Память прокручивала картинки: вот Дольский у нас за столом, уминает котлеты с картошкой, залпом выпивает из банки абрикосовое варенье. Вот мы собираем ему посылки: краски, кисти, костюмы для борьбы дзюдо детям. Вот у него в Питере записываем на магнитофон еще нигде не звучавшие стихи и песни, обсуждаем, восхищаемся, спорим... Неужели он все забыл? Ведь не прошло и пятнадцати лет...

– Не прошло и пятнадцати лет, как я снова в вашем городе! – с этой фразы он начал свой концерт. Хотя нет, до еще до него на сцену выплыла пышная дама и торжественно объявила: «Компания «Исток» представляет!...» А потом уже вышел сам Дольский.

Внешне он изменился мало. Только очень похудел. Когда я, оправдываясь за наш ранний визит, сказала, что позже мы боялись его не застать, так как на обед его должны были увезти в «Камелот», Дольский очень удивился:

– Какой еще «Камелот»?

– Ресторан. Который обещает Вам «радушный прием», – так, по крайней мере, звучало в рекламе.

– Какой ресторан! – с отвращением сказал Дольский. – Я ем только два раза в день – в 13 часов и в 18. И только кашу.

Мы с Давидом мысленно ужаснулись, вспомнив его сокрушительный аппетит и детскую любовь к сладкому. Но диета пошла певцу на пользу. Он стал суше, стройнее и от этого казался даже моложе, чем 15 лет назад. Но в то же время что-то неуловимо старческое сквозило во всем его облике. В жалком заискивающем тоне: «Я хотел бы приезжать каждый год! Но не приглашают...» И в том, как он кланялся, прижимая руки к груди, благодаря за аплодисменты расслабленным голосом: «Спасибо, мои дорогие...» В

бородатых шутках: «Вы хотите песен? Их есть у меня». В слащавых комплиментах женщинам: «Женщина – совершенное произведение природы». Я смотрела и не узнавала. Все было так, да не так, как в той игре, где просят найти 10 отличий на двух почти идентичных картинках. Тот же зал, сцена, та же гитара, руки, голос. И – все другое. Вялый тон. Заученные клише. Домашние заготовки. Однообразные «импровизаторские» приемы, набившие оскомину. Перед концертом к нему разлетелась за интервью Таня Лисина. Ей преградил дорогу охранник: «Не надо. Не осложняйте ему жизнь».

Стали подносить записки. Дольский попросил: «Записки, пожалуйста, в антракте. Очень вас прошу!» Тяжелошний раз подойти и взять? Радикулит? Нет, это была не старость тела. Это была старость души. Мы сидели далеко, и я не видела его глаз, но мне казалось, что они у него – потухшие, мертвые. Или это во мне все было мертво?

Программа в 1 отделении действительно была новой. Но не запомнилось ни одной песни, ни одной мелодии. Лучше бы она была старой! – думала я. Может быть, тогда что-нибудь ожило бы в душе, всколыхнулось? Почему во мне все молчит?

– Я открыл для себя новую форму – сонеты. Я понял, что я сонетист, – говорил Дольский. Почему-то вспомнились строчки Ларисы Миллер:

Когда отчетливы приметы
Того, что стар и одинок,
Пиши чеканные сонеты,
Сонетов царственный венок.

Две из его новых книг целиком состояли из сонетов. Дольский объяснил свою любовь к этой форме строгими, дисциплинирующими границами жанра: «Прижатый к стенке, мыслишь кратко». Но эта краткость отнюдь не была сестрой таланта. Обращение к сонетной форме без оригинального содержания, без сюжета вырождалось в версификацию.

Весьма туманен сей пиит.
Он сам себя не понимает.
Тому, что в сердце бултыхает,
Он придает мудреный вид.

И философ на бумаге
Пред очи публики представ,
Он обнажает грубый нрав
И сердце делового скряги.

Ошибки не беру я в счет,
Склонения и ударенья...
Солиден вид стихотворенья
И дум бухгалтерский учет.

Мне слабая литература
Милей, чем мощная цензура.

– Да это же автопортрет! – подумала я, когда прочла. У меня самой есть где-то похожие строки о цензуре («разрожусь ли строчкой элегической иль сама их выброшу за борт – только б не цензуры хирургической идеологической аборт»), но иной раз «литература» настолько «слабая», что без цензуры, то бишь без редакторской правки не обойтись. Мы с Давидом уже столкнулись с этой проблемой еще в 90-м году, когда готовили к печати сборник Дольского. Давид проделал гигантскую работу с его текстом. Замечания касались

неверных знаков пунктуации, всех этих не любимых им «склонений и ударений», неточных употреблений терминов и названий, неудачных рифм, неудобочитаемых строк. Да, конечно, понятия «лучше – хуже» субъективны, но ведь есть какие-то общепринятые каноны, грамматические правила, стилистические нормы, в которых Дольский был, к сожалению, не силен. Просто под музыку многое «проходило». Но ведь книги люди должны читать глазами. Кое-что он тогда, к его чести надо сказать, исправил. Но оставленные огрехи удручали своим количеством и били, что называется, в глаза.

Певцов любви невнятен глас.
Какой словарь! О, Даль несчастный.
Все выставляют напоказ –
Плохую плоть, адюльтер частный.

Это тот случай, когда в своем глазу не видят бревна. «Какой словарь!» А у самого он какой?!

Неудивителен народ,
Что, так поднаторев в убийстве,
Пророкам вкладывает в рот
Косноязыкие витийства.

Вот именно. Косноязыкие. В конце книги автор выражал «благодарность Владимиру Уфлянду за помощь в составлении книги». В сборнике сонетов – «...сыну Александру за помощь в составлении...» Как же он не понимает, – думала я, – что это стыдно, что поэт должен сам составлять свою книгу или, по крайней мере, не афишировать чью-то помощь в таких вопросах. Тем более, помощь детей.

Читаю о нем в «Рекламе недели»: «Произведения Дольского давно уже стали частью российской культуры. В литературной энциклопедии, составленной Пушкинским Домом, Александр Дольский назван одним из ста лучших поэтов 20 века. Его стихи изучают на филологических факультетах, западные слависты пишут научные работы о его поэзии... Это поэзия на все времена». Это то, что пишет о нем компания «Исток». А вот что пишет сам Дольский:

Порочен мир от века. Дух разврата
Присущ простой обыденной душе.
И юным трупам к свету нет возврата.
Их куча в гениталиях, в гроше,
В дурмане, в вязком радостном насилье,
Как черви – копошится и торчит.
Кусок мясной в груди у них стучит,
Гоняя кровь, наполненную гнилью.

Да кого же он так, Господи?! Смотрю в начало стихотворения. Оказывается, речь всего лишь о «простой, обыденной душе».

Их ум животный создает химеру –
Девчонка – недожаренный бифштекс.
В их книжках легкий, словно газы, текст,
Что дети выпускают в атмосферу.

У самого автора текст – тяжелый, громоздкий, неудобочитаемый. И это ничуть не лучше тех, о которых он пишет. Боже, куда смотрел Уфлянд? Сын Александр?

В одном из интервью Дольский сравнивает себя с Розенбаумом:

– Знаете, в 60-х на знамени бардов было написано: «Искренность и честь». На знамени Розенбаума всегда было написано: «Успех». Это вовсе не плохо. Просто у меня другой путь.

– Какой?

– У меня совершенно другое отношение к слову.

Однако слово относится к нему плохо. Мстит за себя. Ну как такое можно сказать по-русски?

...Много славных и умных коллег,
Не поняв ни полстрочки, ни ноты,
Свое сердце губили, отняв у себя –
Не завидовать право
Моей легкой как будто судьбе...
От моей филигранной работы
Не приняв для себя ничего, утверждая, что
Искренне – значит коряво.

Именно что коряво! Полная потеря поэтического слуха. И чему здесь завидовать? Завидовать можно стихам, под которыми хочется подписаться, о которых думаешь: «Ну почему не я?!», а не тем, которые с трудом заставляешь себя дочитать, насилая язык и ухо. Тема зависти (по отношению к нему) и уязвленной гордости (по отношению к другим) – большая для Дольского тема. Она часто сквозит в его интервью, в репликах со сцены.

– Моложе меня, а уже издают свои сборники... (Опять я уловила какие-то старческие брюзжащие нотки в его голосе).

– Коллеги воспринимали меня враждебно. Сначала из-за гитары, потом из-за стихов. Им трудно было меня понять... (из интервью в газете).

– Если бы я был допущен к пирам литературных избранников... (из предисловия к книге).

– Они считают себя самыми главными, ну и пускай. До меня почти никто не использовал высокий стиль в поэзии (из интервью).

Иногда он говорил такое, что просто неловко читать:

– Как бы я ни любил Булата Окуджаву, его песни будут всегда романсами того времени, советского времени. Мои же песни времени не имеют. Меня даже упрекали: придет Мао Цзедун – и Дольский будет петь свои песни. Придет к власти Гитлер, а Дольский будет петь свои песни. Придет к власти Пиночет, а Дольский будет петь свои песни. Это как бы плохо. А я думаю, что это как раз хорошо.

Когда-то он так не думал. Когда-то он не чурался злободневных песен, не боялся петь о том, что волнует людей, страну. Еще Гете говорил: «Лишь тот живет для вечности, кто живет для своего времени». С каким трепетом и восторгом мы с Давидом, замирая, слушали в 89-м в «Олимпийском» его «Коммуноверцев», «Корабль сумасшедших, страну дураков», «Как весь народ»... О его «перестроечных» песнях говорили в трамваях, спорили в очередях. Он пел в них о самом главном, гораздо резче, чем тогда допускалось. В тех песнях были надлом и проклятие прошлого, извлечение горестных уроков из него, осознание своей вины, размышления о судьбе России, ощущение нашего сегодняшнего несовершенства и чувство неистребимости свободы... Сейчас его кредо стало иным. Он высказывал его в интервью:

– Я могу, как анатом, общество разъять на части, разрезать вдоль и поперек, проанализировать социальные язвы. Просто на концертах этих песен не пою: когда люди приходят, это для них праздник, и мне не хочется им портить настроение.

Им? Или тем новым русским, которые «платят и заказывают музыку»? А когда-то ведь пел:

Господа офицеры,
Я прошу вас учесть,
Кто сберег свои нервы –
Тот не спас свою часть.

Теперь ему нервы стали дороже. По ТВ говорили о «гражданской позиции Дольского» как позиции «некрикливой, не баррикадной, но честной по крайней мере». Я бы такой ее не назвала. Со сцены он сетовал:

– Раньше я мог спеть антисоциалистическую песню. А теперь антикапиталистическую песню я не спою, потому что на телевидении все куплено.

А что же мешает ему спеть ее здесь, сейчас? – думала я. Ах, да, фирма «Исток»! Ей это вряд ли понравится. В следующий раз может и не пригласить.

Разжирев на вранье, журналисты
Смотрят честно с экранов на нас.
И, глупея все больше, артисты
Забавляют владетельный класс. –

читаю в его книге. А теперь он сам стал таким артистом. И на знамени его начертано уже не «искренность, честь», а что-то рассудочное, дидактичное. И весьма лояльное режиму.

Говоря о своей премии имени Окуджавы, он оправдывался:

– Это мне не Путин дал! Это мне поэты дали.

Именно что Путин. Видимо, сыграло роль, что они – земляки. Что, слабо было отказаться от премии, как Левитанский, Солженицын? Слабо написать, как Евтушенко в стихе «На смерть Левитанского»: «Не куплен Госпремией, встал он однажды и предупреждение войне произнес!»?

Он долго настраивал гитару, испытывая терпение. Душа молчала, не принимая сигналов. Она протрезвела раньше, чем кончился пир. Неопалимая купина обернулась обычным кустом. У крошки Цахеса кто-то вырвал три волоска. Золоченая карета превратилась в тыкву.

Дело было вовсе не в его отношении к нам, ко мне. На мои чувства это никогда не влияло. Мне говорили: «Ну как он мог не отвечать на такие письма?» А мне вовсе не нужны были его ответы. Интуитивно я чувствовала, что он не мог бы мне соответствовать в этом душевном разговоре на том же уровне правды и подлинности, на той же высокой ноте и волне, и получить в ответ нечто суррогатное было бы еще больнее, чем неответ. Как «камень в протянутую руку». Поэтому я всегда предпочитала протягивать руки в никуда, «в пустоту», к Богу.

Невидимка, Невидадь, Никто!
Я пишу как Богу или Другу.
Пусть ты даже будешь черт в пальто –
Через вечность протяни мне руку.

Дольский – это символ, образ, призрак, объект вдохновения. И вот этот образ рассыпался, как карточный домик.

Милый призрак!
Я знаю, что все мне снится.
Сделай милость:
Аминь, аминь, рассыпья!
Аминь.

Сверлили висок строчки из «Надгробия» Цветаевой:

Твое лицо, твоё тепло,
Твое плечо – куда ушло?
В шкафу – двустворчатом, как храм –
Гляди: все книги по местам.
В строке – все буквы налицо.
Твое лицо – куда ушло?
Напрасно глазом – как гвоздем,
Пронизываю чернозем.
В сознании верней гвоздя:
Здесь нет тебя – и нет тебя.

Я всматривалась в его черты, вслушивалась в звуки голоса и гитары, пытаюсь уловить то, что когда-то в нем видела, слышала, любила. А оно все ускользало, ускользало, как песок сквозь пальцы. Но где же это все, Боже? Да был ли мальчик? Или, как говорил Чацкий Софье, «быть может, качеств Ваших тьму, любуюсь им, Вы придали ему?»

«Не надо приходить на пепелища», – вертелась в уме строчка И. Снеговой. Все там уже не так, ибо изменилась моя душа, и то, в чем я находила великое и прекрасное прежде, кажется пустым и лживым теперь.

Недавно разбирала свою читательскую почту и случайно наткнулась на одно давнее письмо. Бросились в глаза строки: «Читала я повесть «Будьте Вы благословенны», Ваши восхищения Дольским, и все ждала, когда же Ваше восхищенное состояние переменится, ведь нельзя очень долго находиться на такой точке кипения...» Может быть, все дело в этом? Перекипела, перегорела, переросла свое отношение? Произошла какая-то амортизация чувств, отмирание прежних клеток, огрубение души? Может быть, дело во мне, а не в нем?

Честное слово, мне хотелось, чтобы это было так, мне это было бы легче. С собой бы я как-нибудь разобралась, справилась. Но увы...

Все, что он говорил, вызывало внутренний протест, отторжение.

– Я учился у таких учителей, как Пьер де Ронсар, Джордж Байрон, Жоашен Дю Белле, Шарль Бодлер, Жак Превер... Это были мои учителя. В советской музыке и в советской поэзии у меня учителей не было.

Ну что за дешевый снобизм! Чему же он научился у своих учителей? Читаю стихотворение «Учителя»:

Я сначала любил, как Есенин,
Воспевать и поля, и вино.
Но в печали любви и веселий
Постигал уже Блока давно.
И открыл, как калитку, наивно,
Что ведет в неподстриженный сад,

Молчаливого Тютчева, дивно
В моем сердце кольнувшего лад.

И это он называет «другим отношением к слову», нежели у Розенбаума?

И я смотрю в свои зрачки
И вижу песню и аорту,
Что обесценивает к черту
Весь синтаксис и все значки.

С синтаксисом у Дольского всегда были напряженные отношения. Но его пока еще никто не отменял. «О если б без слова сказаться душой было можно!» – восклицал классик. Тогда бы, возможно, Дольский был бы одним из первых поэтов. Но слово, язык – это то, обо что все время спотыкаешься в его неуклюжих, неудобоваримых виршах.

– Я счастливый человек! – объявил бард в конце 1-го отделения концерта. – Я привез вам мои книги! Они дорогие, – честно предупредил он.

Книги, действительно, стоили недешево: 250 рублей за сборник. Сборников было четыре. Плюс буклет за 50 р., который издали мы с Давидом еще в 90-м году. Тогда он продавался за шесть. Мог бы подарить нам хотя бы одну книжку по старой памяти, – подумала я. Вспоминала, как Давид добывал материалы, ругался в типографии, таскал на себе все эти пачки, грузил, отправлял в Питер. Поначалу ими была завалена вся наша 9-метровая редакционная комнатка: форзац был черного цвета и пачкал, поэтому каждый экземпляр надо было прокладывать листком бумаги (10 тысяч!), мы горбатились над ними неделю. После всех взаиморасчетов осталось две тысячи, мы их имели полное право взять себе за труды (это сказал нам сам Дольский), но мы отправили ему все до копейки. Хотели показать, что издали его не ради денег, а из любви. И хоть бы капля благодарности. Неужели он все забыл? Втайне я ждала, что он что-нибудь все-таки скажет со сцены, вспомнит добрым словом, хоть намекнет... И «дождалась».

– Я никогда не забуду одного человека... Пятнадцать лет назад он устроил мне здесь концерт.

Мы с Давидом переглянулись и вытянули шеи.

– Я не буду его называть по имени, чтобы не подумали, что это подхалимаж. Это брат известного артиста...

Меня как ошпарило. Янковский?! Но причем здесь он...

– Если он здесь, в зале, я бы очень хотел, чтобы он подошел ко мне в антракте. Одна женщина тогда хотела запретить мой концерт. А он ее выгнал! Пока такие люди есть, я верю, наша культура не погибнет.

Мы сидели, как оплеванные. Хотелось встать и уйти. Я ничего не понимала. Что за бред?! Это он – о Янковском, которого Давид тогда в «Кристалле» силой вытолкнул с букетом на сцену (букет, естественно, был наш): «Иди, ему будет приятно, если ты сам вручишь». Тот поупрямился, но вышел. Дольский был растроган: сам брат знаменитого артиста! А потом после первой же его дерзновенной реплики («этот фашистский журнал «Наш современник» – под бурные аплодисменты зала), в дирекцию клуба ворвалась Жукова с криком: «Вы сами фашисты! Я этого так не оставлю!» и потребовала репертуар Дольского на предмет цензуры. Янковский был так напуган этим скандалом, что с тех пор много лет и слышать не хотел о концертах Дольского, как мы его ни обхаживали и ни убеждали. Я писала обо всем этом в книге. Что это? Аберрация памяти? Нет, тут другое... Янковский ему предпочтительнее, чем мы. Более престижная фигура. Директор ДК, позже – работник Министерства культуры, заслуженный деятель культуры РСФСР, опять же – Брат. Может быть полезным, устроить гастроли...

Наивный Дольский. Как он рад был тогда, как польщен. «Какой человек! Какой букет он мне преподнес!» – хвастался при нас Наде. Мы помалкивали. Чтобы Янковский

потратил деньги на букет? Тем паче на билет?! Пришел на концерт?! Да он и фамилии его бы сейчас не вспомнил. «Напрасно ждал Наполеон...» Никто, конечно, к Дольскому не вышел.

Во втором отделении все стоявшие по стенкам рассосались, в зале появились свободные места, многие ушли. В душе было пусто и темно, как будто там выключили свет. Дольский отвечал на записки, собранные в антракте.

На многие просьбы спеть ту или иную песню отвечал: «Не помню... Не могу вспомнить...». Часто забывал слова, пропускал целые куски. Говорил вяло, неинтересно. Было ощущение халтуры. Из зала кричали: «Двадцатый век!» «Польшу!» «Россию!» Ничего этого он «не помнил». Казалось, он забыл самого себя. «Россию», правда, спел, но не ту, которую ждали, не «Болит у меня Россия», и не «Боже, спаси Россию», а новую. Она была гораздо хуже.

Просторы брусничных полян
И хрустальных озер,
Царство наивных, страна
Подгулявших – лесная, степная,
Мать, отдающая, сраму не зная,
Приплод свой на смерть и позор...
Это любимая, страшная,
Наша собака цепная...

При этих словах мне вспомнился голос жены за гостиничной стенкой («это неприлично!»), охранявшей своего «голого короля» с рвением, достойным лучшего применения.

На сцену снова выплыла дама с букетом: «Компания «Исток» поздравляет...» Люди потянулись к выходу.

Через несколько дней вышли газеты с восторженными заметками о концерте Дольского, интервью с ним.

– Нужно петь о гармонии, о красоте. Для меня главное в искусстве – благородство. Я все делаю для того, чтобы люди почувствовали, что они благородны. Зачастую они считают себя обыкновенными обывателями, низменными людьми, а я им доказываю, что они благородные, высокие личности.

– Ваше основное жизненное правило?

– Искренность, благородство, честность.

– Искренность чревата трагедиями...

– Знаю, но я всегда верю людям. Хотя давно бы уже пора привыкнуть, что людям свойственно предавать.

Вот здесь бы я с ним спорить не стала.

НАБРОСКИ, ЗАРИСОВКИ, ШТРИХИ

Зависть богов

В прошлой своей книге в одном из эссе («Когда человек умирает...») я рассказала о недавно умерших жильцах нашего подъезда, поделаясь размышлениями по поводу их смерти. В течение последнего полугода умерли еще два наших соседа: с 5-го и 6-го этажа, оставив вдовами двух одиноких женщин. Сосед с 5 этажа – дядя Володя, как звали его дети, – был совсем не старым, по-моему, ему не было и 60-ти. К нам он заходил лишь однажды – когда их стиральная машина вышла из строя и невольно залила несколько квартир, в том числе и нашу. Обычно такие инциденты заканчивались неприятными разборками, в которых виновная сторона всеми правдами-неправдами стремилась свалить вину на пострадавшего или на какие-нибудь внешние причины. Сосед повел себя нестандартно. Окинув взглядом залитые потолок и стены, он коротко сказал: «Ну что ж, будем делать ремонт», тут же по-деловому прикинув, что и как будет делать. Мы с Давидом остолбенели от такой нежданной порядочности. До ремонта, конечно, дело не дошло – нам было не до него в то лето, но сосед был сразу прощен и отмечен нашей симпатией. И жена его мне нравилась.

Мы познакомились, когда нас вдвоем с ней пригласили в понятия к другому соседу. Изредка встречаясь потом с ней на улице и перебрасываясь случайными словами, я отмечала про себя, как она ухожена, модно, со вкусом одета, мила собой. Она производила впечатление любимой и счастливой женщины, окруженной заботой и незнакомой с прозой жизни, а оба они – стабильной благополучной пары. И вдруг – как это обычно бывает – звуки траурного марша, доносящиеся в форточку, гвоздики, разбросанные по ступенькам...

– Кого хоронят? – спросила я пробегающую мимо Олеську.

– Дядю Володю.

– Что с ним случилось?

– Сердце...

Я вспомнила, что в последнее время часто видела его у подъезда, где он сосредоточенно курил с напряженным и отрешенным выражением лица. Как непрочно оказалось счастье этих двоих, такое на первый взгляд устойчивое, крепкое, надежное, даже через стены, казалось, излучавшее эманации тепла и уюта.

А буквально через два-три месяца – новая смерть. Эту пару я часто встречала вместе. Ему было где-то за 70, она – лет на десять моложе. Их нельзя было не заметить: они ходили только вдвоем, неразлучно, часто держась за руки, как дети. Возможно, потому, что он плохо видел, и она была его «глазами», но об этом совершенно не думалось, глядя, как они оживленно разговаривают друг с другом – именно разговаривают, а не обмениваются репликами, как обычно супруги со стажем, как весело смеются чему-то. От них за версту веяло счастьем. Было такое впечатление, что они только что поженились, хотя жили в этой квартире уже давно. Женщина и сейчас была хороша – высокая, статная, с горделивой осанкой, с блестящими молодо глазами, которыми она светло поглядывала на прохожих, словно приглашая полюбоваться их чудесным союзом. С нами она здоровалась всегда так приветливо и задушевно, словно мы давно знакомы, меня это слегка смущало. (Может, с кем-то путает?) Потом я увидела, что она здоровается так почти со всеми. Встречать эту пару всегда было приятно и радостно, но в то же время что-то во мне тревожно екало при виде их открытого, почти вызывающего счастья. Я тогда сама не понимала толком, почему, не находила этой тревоге внятного объяснения. Потом, когда увидела ее в черном платке, идущую за гробом, поняла. Недавно по ТВ шел фильм Меньшова «Зависть богов», главная мысль которого была в том, что нельзя быть слишком свободными и счастливыми, нельзя так безоглядно и ярко любить, это вызывает зависть и месть богов, желание отнять это счастье, вернуть с небес на землю. Конечно, все это

мистика и вздор, но... почему providению понадобилось выхватить из жизни именно этих людей, разлучив две счастливые неразлучные пары, которые были редкостью не только в нашем подъезде и дворе, но и вообще – большой редкостью в этом мире?

Однажды на рассвете – спустя несколько дней после похорон – я услышала рыдание, такое горькое, безутешное, отчаянное, слышное через все стенки дома, что душу захлестнуло волной жалости. Сомнений быть не могло – это рыдала она. Так же открыто и неудержимо, как когда-то смеялась.

Я вспомнила, как Давид не принял поначалу мой рассказ «Образ счастья», в котором я вспоминала, как мы были счастливы в первые годы нашей жизни, вызывая в памяти призраки прежних дней, то лучшее в них, что будет потом вспоминаться на том свете, станет образом земного счастья. Я не могла тогда понять, что его задело и огорчило в моем рассказе. «А у меня такие минуты – каждый день», – сказал он мне с легким укором. Захлестнуло счастьем и стыдом. Я любила наше прошлое, самое первое, лелеяла юность нашей любви, а для него все это было в настоящем. Я не умею жить настоящим. Рвусь в завтра, потом вспоминаю вчера... А счастье – вот оно, бери, ешь его, пей, наслаждайся, вдыхай полной грудью. Но что-то изнутри остерегает, сдерживает, словно боится спугнуть, сглазить. Навлечь зависть богов. «С Новым годом, сердце! Я люблю вас тайно, вечера глухие, улицы немые...»

Я так глубоко и надежно счастлива с тобой, что это, как аксиома, не требует доказательств, не нуждается в демонстрации, чурается слов. Будем любить втихомолку, за плотными шторами, за крепкими ставнями, за сомкнутыми веками. Зачем дразнить гусей, быков и богов?

Золушка, не ставшая принцессой

Зеленоглазая девочка. Глаза мерцают, как звезды. С какой планеты занесло тебя в наш грешный мир? Ее звали Наташа Бурмистрова. В двадцать лет ее не стало. «Астма задушила», – мимоходом бросила встретившаяся в трамвае бывшая одноклассница. Остался сын Максимка. Мы были еле знакомы. Почему я помню тебя? Как ты стояла в вечернем сумраке возле 19-й школы, обернувшись на чей-то оклик, и так навеки застыла в моей памяти. Как летела, кружилась на коньках-снегурках серебристой снежинкой в белом кружевном платке. И растаяла в сумраке ночи... Мы ходили тогда общей компанией на каток «Динамо». Челка. Длинные ресницы. Чуть удивленный мерцавший взгляд в свете фонарей. Помню, как зашли как-то к тебе с твоей подругой, моей одноклассницей. Ты жила в угловом доме на углу Горького и проспекта Кирова, где «Гастроном», на квартире у родственников. Помню легкую фигурку в домашнем халатике, заспанную смущенную улыбку. Помню даже чернильное пятно на среднем пальце, дорожку на твоем чулке. Дорожка бежала по чулку вниз... Бежала в никуда, в никогда, в вечность...

Последняя случайная встреча с тобой в трамвае (в том же, где услышу потом скорбную весть). Разговор ни о чем. Как не дано нам знать своей судьбы! Мучает мысль: зачем-то ты встречалась на моем пути? Олицетворение мечты, поэзии, вечной женственности. В твоих глазах уже тогда, в школьные годы, было что-то нездешнее, что-то от иных миров. Помню, увидав тебя впервые, я восхищено записала в своем дневнике: «Почему-то она мне очень нравится, больше всех из девчонок. У нее распущенные волосы и большие зеленоватые глаза с каким-то загадочно-покорным взглядом. И вся она чем-то похожа на русалку. Сколько в ней нежности, женственности, поэтичности!» Подруга, прочитав, подняла на смех: «О Боже! Нежная, воздушная! Вечно непричесанная, в дырявых чулках...» Сама она была в порядке: дочка известной оперной артистки и режиссера, всегда выходила к доске, как на сцену, в модном тогда перманенте, звеня цепочками, брелоками, браслетками, на высоких каблуках. Но в ее тщательно продуманном броском облике не было души. Она же мне и сообщила годы спустя эту весть о смерти Наташи

мимоходом, в трамвае. И – о себе, гордо: как удачно вышла замуж за бизнесмена, как все у нее путем. И эта самодовольная пошлость торжествовала над слабым ночным отблеском бедной девочки, оставшейся в школьном прошлом, замарашки-золушки, гадкого утенка, так и не дожившей до своего лебединого звездного часа. Никто не успел увидеть, что она принцесса. Где ты, неведомый Максимка? Что ты знаешь о своей вечно юной маме?

Помню, в то время – мне было лет пятнадцать – я зачитывалась «Жан-Кристофом» Р. Роллана. И русалочий облик Наташи слился в моем сознании тогда с образом нежной меланхоличной Сабины, в которую был пылко влюблен главный герой. Пытаясь вспомнить свои давние ассоциации, я сняла с полки любимую книгу и – в это трудно поверить – она сама вдруг открылась на нужной странице.

«С легкой краской на скулах он украдкой глядел на голые худощавые руки, лениво касавшиеся неубранных волос... видел всю ее фигурку, забывшуюся в небрежно-томной позе... Не то, чтобы она была кокеткой, скорее, неряхой, и уж, конечно, не могла сравниться с Амалией и Розой, которые заботливо следили за собой. Хрупкая, миниатюрная... одетая не особенно тщательно, в старых стоптанных башмачках... Сабина тем не менее очаровывала своим молодым изяществом, нежностью... Она не прилагала никаких усилий, чтобы внушить к себе любовь». Жан-Кристоф видел в ней прелесть, которую никто, кроме него, не замечал, не разделял его восхищения. Это было что-то не подвластное логике, разуму, здравому смыслу. «Роза смотрела на нее беспощадным взором и видела маленькую ленивицу, неряху, эгоистку, равнодушную ко всему на свете, не занимающуюся ни хозяйством, ни ребенком... И вот такая-то понравилась Кристофу!..»

Однажды они катались с Сабиной на лодке. И вдруг он заметил тень смерти на ее юном лице. «Ее личико побледнело, вокруг глаз легла страдальческая складка, она не шевелилась; казалось, она страдает, отстрадала, уже умерла. У Кристофа сжалось сердце». Это был словно знак свыше. Через три недели Сабины не стало. Они так и не успели сказать друг другу главные слова. Я помню, как плакала, когда читала эту главу, и как в образе Сабины все время почему-то видела Наташу. Почему?! Ведь я тогда не знала, что она скоро умрет, как та французская героиня. Я не верю в мистику, но иногда бывают какие-то непостижимые совпадения и переключки литературы и жизни. Почему я вдруг вспомнила ее? Почему рука сразу открыла нужную страницу? Ведь я даже не помнила точно, в каком это томе, взяла первый попавшийся наугад.

«Я не умерла, я лишь переменяла жилище, я продолжаю жить в тебе, а ты видишь меня и плачешь обо мне...» – читала я. Эта девочка словно окликнула меня сквозь годы, сквозь толщу небытия, чтобы... что? Я напряженно всматривалась в даль памяти, вслушивалась в звучащие во мне голоса. Закрывает и открывает книгу, как в детстве, когда «гадала», ткнув пальцем в случайно выпавшие строчки. И мне выпало: «Каждый из нас носит в себе как бы маленькое кладбище, где покоятся все, кого мы любили. Они мирно спят годами, и ничто не нарушает их сна. Но приходит день – и могильный ров расступается. Мертвецы выходят из своих могил и улыбаются бескровными устами, все теми же любящими устами, любимому, возлюбленному, в чьем лоне живет их память, подобно тому, как спит ребенок в материнской утробе».

Вяз-самоубийца

Акация шелестит и пахнет над моим балконом. А вяз сломила буря. Еще недавно он упирался ветвями в мое окно, бился, царапался, и я то и дело вздрагивала, как от стука кого-то неведомого в дом. Особенно доставал он меня дождливой и ветреной ночью.

За окошком ветра вой,
Мне опять не спится.
Бьется в стекла головой
Вяз-самоубийца, –

написала я тогда. Стихи, как известно, сбываются. (В простонародье: «накаркала»). Он бился-бился о стекло и обломился. Уродливый обрубок торчал как укор и предостережение. Потом его срубили.

Акация шелестит, залечивая память. «Прекрасные стихи несчастий не боятся, безумье им идет, как сладкий дух акаций», – вертятся на уме строки Кушнера. Но этот вяз навеки привязался ко мне, я никак не могу его забыть. («Но крепко вяжет кровью человеческой», – это из Чичибабина). Я вздрагиваю от непривычной мертвящей тишины за окном. Мне не хватает того стука. «Тук-тук, кто в домике живет?» Теперь до этого никому нет дела. Акация нежна, душиста и тениста, но она живет сама по себе, благоухая на расстоянии, как благовоспитанная барышня, не протягивая мне в окно своих кистей, не вторгаясь в мою жизнь всем своим существом, как тот разбойный безалаберный вяз. От него было темно и сорно в комнате, но я все ему прощала за участие и неравнодушие.

Прощаю темень, семени труху
За зелень, сор, без коего стиху
Не вырасти, за веток перестук
Взамен руки, что не протянет друг.
Прощаю скрип и шорох по ночам
За этот свет божественный очам,
За этот ветра пробежавший ток,
Похожий так на детский лопоток...

Тогда, в октябре 2003-го, была страшная буря, которая унесла чуть ли не половину деревьев города. Я запечатлела ее в стихах:

В такую бурю не пройти и метра –
Смерч, словно смерть, сбивает на ходу.
Деревья, искривленные от ветра –
Как грешники, что корчатся в аду.

Протягивают сухонькие руки,
Моля тепла, покоя и любви,
И содрогаясь от бессильной муки
Быть понятыми Богом и людьми.

Скрипят деревья, ветру потакая.
Корежит их незримая вина.
И чудится – они нас окликают,
Людские называя имена.

А на моей любимой Лесной аллее, где мы часто гуляем с Линдой, буря «вырвала из рядов» иву, которая осталась теперь только в моих строчках:

Вновь аллея эта в ноги бросилась,
Расстилая листьев одеяло.
Ива-плакса опростоволосилась,
Все свои гребенки растеряла.

И еще – в моем эссе «Невостребованный подарок»: «На середине переулочка взору открывается простоволосая красавица ива, полощущая своими длинными рукавами ветвей по земле». Теперь здесь зияет прогал. «Быть может, это место для меня».

В аптеке бросилась в глаза табличка на груди кассирши: «Буря Ольга Александровна». А на вид такая тихая, спокойная девушка. Как ей живется с такой фамилией? Оправдывает ли она ее, хотя бы в своей внутренней, «изнаночной» жизни? В памяти всплыл Рубцов:

По мокрым скверам проходит осень,
Лицо нахмуря.
На громких скрипках дремучих сосен
Играет буря!

«Буря! Скоро грянет буря!..» «Буря мглою небо кроет...» Ну что ж, пусть будет буря. «Мы помужествуем с ней». И сами собой складывались стихи:

Пусть будет все, что было не с тобою,
Что в тайных генах бредило в крови.
Пусть будет горечь, наслажденье болью,
Потери, бури, ненависть в любви.

Пусть будет все, чего боялась смутно,
Подспудных мыслей отгоняя тень.
Хоть миг прожить беспутно, безрассудно,
Отдав все годы за единый день!

Пусть будут страсти, пропасти, напасти,
В звериной пасти кануть, пасть на дно, –
Безудержный порыв навстречу счастью,
Навстречу жизни, смерти, все равно...

Дар или удар?

Звонит вечнопьяный Авилов, просит написать предисловие к его книге. Говорю, что вряд ли это прибавит к нему любви Союза писателей (особенно в свете моей последней книжки «По горячим следам»). Тот не читал, но что-то такое слышал, какие-то раскаты грома до него доносились. По принципу «не читал, но скажу», укоряет:

– В Вашей поэзии есть грубость.

Поправляю:

– Не грубость, а резкость. А это, я бы сказала, немаловажное качество, как для фотографа, так и для писателя.

– Женщина должна источать доброту! – наставительно изрекает Авилов.

Не могу сказать, чтобы эти реплики как-то меня задели, но вызвали тем не менее желание возразить – не только по телефону, но и на бумаге – всем возможным оппонентам, думающим так же. Что значит быть добрым, «источать доброту»? Смотря к кому. И к чему. Для меня это очень избирательно. Быть добрым к плохим людям, их делам и поступкам – значит быть недобрым к другим, к тем, против кого они направлены. Быть добрым ко всем – это равнодушие. То самое, «с чьего молчаливого согласия

творяется на земле предательства и убийства». Нельзя любить всех. Даже Волошин, который к этому стремился, «молясь за тех и других», дал однажды Гумилеву пощечину и стрелял в него на дуэли. Правда, в воздух, но все же.

Помню, как меня впервые резанула строка Бродского: «Я не люблю людей». А потом порой в жизни такое мурло встретишь (не столько в прямом, сколько в переносном смысле), что тысячу раз подумаешь: прав Бродский. Быть добрым «ко всем людям без изъятия», как призывал Молчалин, любить всех – это лицемерие, фарисейство. Всех – это значит никого. Квинтэссенцию своей мысли я выразила в таком четверостишии:

Любимым – любви моей мед, нектар.
А недругам – не обессудьте.
Я вся по сути – ответный удар.
Но вся я – как дар, по сути.

Сиделки

У меня возникла необходимость нанять сиделку по уходу за больной мамой. Нанимала их по объявлениям в газете, по предварительным телефонным переговорам, во время которых напрягала все свои психологические познания и интуитивные способности, чтобы составить представление о человеке, которого впусти к себе в дом. Но вся равно ошибалась. Вот несколько связанных с ними курьезных историй.

Сиделка Света. Молодая, ловкая, быстрая, она споро управлялась со всеми гигиеническими проблемами и поначалу очень мне понравилась. Но вскоре я заметила, что продукты, которые доставляю маме на неделю, очень быстро тают. Лимон заканчивался за два-три дня, причем маме в чай клался один и тот же кусок, сахар не успевала подсыпать в сахарницу, сгущенка исчезала мгновенно. Приходя в неурочное время, я не досчитывалась то нескольких кусков рыбы, то котлет. Света часто радушно предлагала маме испечь то пирожки, то оладьи, но, как выяснилось, ей от них доставался мизер, остальное сиделка тащила к себе домой. Пришлось с ней расстаться.

Сиделка Тамара. Очень старательная, она окружила маму заботой и вниманием, от которых та буквально таяла. Но сиделка на беду оказалась обладательницей новейших медицинских познаний, во всяком случае, таковой себя подавала. Она заявила маме, что вылечит ее от всех многочисленных хворей, и стала предъявлять мне длинные списки необходимых для этого лекарств и мазей. Я исправно все покупала, но хвори не убавлялись, а от лечения становилось только хуже. Обнадеженная мама, видя тщету всех усилий сиделки, разочарованно мне жаловалась: «Она не та, за кого себя выдает!» Доверие к «знахарке» было утрачено. Оскорбленная непризнанием ее способностей, Тамара уволилась.

Сиделка Валя. Оказалось, что она живет по соседству, к тому же не работает, и вместо условленных двух часов в день она проводила с мамой времени гораздо больше. Меня это поначалу радовало, потом стало смущать, так как платить больше той суммы, о которой договаривались, я не могла. Когда же я пришла в конце недели и увидела, что в квартире все блестит, белье, которое я обычно забираю для стирки, сияет белизной, к тому же сварен обед, о чем не было уговора, и даже какие-то накрахмаленные скатерочки принесены из дома, то пришла в ужас, поняв, что никогда за это не расплачусь. Но мама была так довольна уходом, и сохранить Валу, а вместе с ней и весь этот шик-блеск было так соблазнительно, что я задумалась насчет прибавки к ее зарплате. Оставив на столе оговариваемую прежде сумму, я по дороге домой соображала, где выкроить для нее еще сотню-другую. В конце месяца должны продаться мои книги в магазине... В августе маме

прибавят пенсию... Но не успела я прийти домой, как мои размышления прервал телефонный звонок разъяренной Валентины.

– Где же ваша благодарность?! – патетически воскликнула она в трубку.

Я опешила.

– Я вам очень благодарна, но...

– Я за спасибо работать не намерена! Вы же видели, сколько всего сделано!

– Я видела, но я же не знала, что все это увижу, у меня с собой была лишь та сумма, которую я Вам обещала.

– Но вы должны были сказать матери, что принесете еще сотню! Я же... – (она перечислила весь спектр оказанных ею сверхплановых услуг).

– Да, но мы же не договаривались об этом. Я же Вас о них не просила. Да и нет у меня сейчас таких денег. Может быть, в следующем месяце...

– Ах, так?! Тогда ноги моей здесь больше не будет!

– Подождите, нельзя же так сразу, доработайте хотя бы эту неделю, пока я найду другую сиделку! (Она резала меня без ножа). Я принесу Вам завтра эту сотню.

– Нет! Ни одного дня тут не останусь! Дело не в деньгах!

– А в чем же? – удивилась я.

– В принципе! Я не прощаю обмана!

– Да какого же обмана? Я принесла Вам сумму, о которой мы с вами договаривались.

– Мало ли что. Когда это было!

– Ну доработайте хотя бы этот день...

– Ни минуты!

И, бросив маму недомытой и недокормленной, вымогательница ушла, хлопнув дверью. Я потом долго не могла забрать у нее свой ключ.

Сиделка Люба. Эта сиделка подозрительно легко согласилась на минимальную сумму оплаты (обычно я начинала с нее, и, если были не согласны, то добавляла). Ее не смутило даже то, что жила она в 40 минутах ходьбы от маминого дома, а приходиться надо было к восьми утра.

– Это ничего, я встаю рано. У меня у самой такая мама была... Она всхлипнула. Люба была очень скорой на слезу, плакала по малейшему поводу. Маму она обхаживала с сентиментальной нежностью, сюсюкая с ней, как с младенцем, терпеливо потакая всем ее капризам и тоже делала многое из того, о чем я ее не просила. Я, наученная горьким опытом, боясь «данайцев, дары приносящих», несколько раз предупредила ее, что больше, чем обещала, платить не смогу. Любе это было, казалось, без разницы. Но вскоре я обнаружила, что в доме пропал весь спирт, которым надо было обтирать маму. Ужасная догадка подтвердилась: Люба внезапно ушла в запой. Накануне она забыла у нас выключить газ, и только вовремя пришедшая медсестра смогла предотвратить катастрофу. В довершение пьяница Люба потеряла ключ от нашей двери. После увольнения она еще долго звонила и просила занять ей деньги.

Сиделка Наташа. Деловая, собранная, обязательная, она мне очень понравилась. Приходила точно, как часы. Регулярно отзванивала, по-военному четко «рапортуя» о сделанном. Кажется, с ней я наконец могла вздохнуть спокойно. Но маме пришлось не по нраву ее жесткий, несколько суровый стиль общения. Она пресекала ее капризы, заставляла делать то, что, по ее мнению, было полезно и рационально. Мама взбунтовалась, потребовав ее заменить. «Это какая-то эсэсовка!» – заявила она мне. Я была вынуждена, скрепя сердце, подчиниться.

Сиделка Татьяна. Эта сиделка была «государственной», назначенной от Центра милосердия. Им там велено было вести специальные тетрадки, куда записывались отчеты о работе каждого дня. Как-то заглянув из любопытства в эту тетрадь, я с удивлением прочитала: «Подняла, усадила. Заварила чай. (В доме никогда не было заварки, мама пила только чистый кипяток). Сделала бутерброд. (Зачем так подробно? Написала бы просто: покормила. Но надо же было создать впечатление многоэтапной деятельности.)»

Последняя фраза повергла меня в ступор: «Провела беседу с больной о политическом положении в современном мире». Я показала маме запись. Она аж задохнулась от возмущения: «Какая ложь!»

– Она с тобой беседовала?

– С мужиком своим по телефону 15 минут беседовала.

– А еще?

– Еще одной подопечной звонила: «Вам чего принести? Обойдетесь? Ну ладно.»

– А с тобой?

– Со мной нет. Да о чем мне с ней беседовать? Я сама с ней такую беседу могу провести!

Я полистала тетрадь назад. Все записи кончались словом «Беседа». Лучше бы посуду помыла.

Сиделка Юля. Эта не проработала и дня. Когда я ее увидела – обомлела. Под два метра вышиной, ослепительная голливудская красавица, вся в чем-то супермодном. 19 лет. Я бы не удивилась, если бы ее избрали мисс мира.

– Боже мой, Юля, – вырвалось у меня, – неужели Вы будете заниматься всем этим – возиться с судном, грязными простынями? Это трудная, черная работа, особенно для такой девушки. Вам бы где-нибудь на подиуме блистать.

Юля шумно протестовала.

– Я все умею, все могу. Я на социального работника училась...

Но я была настроена скептически. В это время пришел Давид. Увидев «мисс вселенную», замер на пороге. Юля, стреляя подведенными миндалевидными глазами, загибала пальчики на ладони: «Могу уколы делать, давление мерить, банки ставить. Я за прабабушкой ухаживала!» Давид хохотнул, шепнув мне на ухо: «Пусть она лучше за мной ухаживает!» Это было последней каплей. Юля была решительно отвергнута.

Сиделки сменялись, как перчатки, а нужной все никак не находилось. Я дала объявление в газету. Посыпались звонки.

Берта Игнатъевна. С ходу стала интересоваться характером заболевания мамы и предлагать средства от всех болезней, рекламируя их на все лады. Мне стало ясно, что она просто менеджер какой-то фирмы. Под видом сиделки она хотела проникнуть в дом, чтобы пропагандировать там свою «панацею». Я ее быстро раскусила и отвадила.

Нина Васильевна. Старушка оказалась немногим младше моей мамы. Жила довольно далеко. Но трудности ее не пугали. Она пенсионерка, ей нужны деньги.

– Но ведь Вам 72 года. Меня смущает Ваш возраст. Все-таки тяжело...

Нину Васильевну не смущало ничего. «Я еще крепкая». Она ежедневно обливалась холодной водой, бегала и даже купалась в проруби. И еще ходила в какой-то чудодейственный кружок здоровья.

– Вы знаете, я ни во что не верю, только в это. Вам еще не поздно закаляться. Вы ежедневно должны обливаться холодной водой.

– Да причем здесь я? Мне сейчас не до себя. Мне маме нужна сиделка.

Но потенциальная сиделка была слишком непоседливой для этой работы. Чувствовалось, что она и на маме готова была испробовать чудеса закаливания. Чего доброго, и водой обливаться заставит. Это при ее-то артрите! Я решила не рисковать ее здоровьем.

Татьяна Борисовна. Простая словоохотливая женщина, работает уборщицей в магазине. Вернее, работала, теперь уже нет. Долго и путано объясняла мне суть производственного конфликта, потом перешла к конфликтам семейным. За 10 минут рассказала мне всю свою жизнь и жизнь своих родственников и соседей. Кто-то там кого-то пырнул ножом, кто-то за что-то попал в тюрьму... У меня голова пошла кругом. Что-то ее бандитское окружение не внушало мне доверия. В качестве сиделки мне ее брать не хотелось. А вдруг эти убийцы достанут ее в моем доме? Но ей очень хотелось у меня работать, так как очень нужны были деньги. «Только на Вас вся надежда», – заявила она

мне, страшая тем, что квартиросъемщик ее убьет, если она не внесет куда-то какой-то взнос. Не зная, как ей помочь, я предложила:

– Законсервируете мне штук 20 банок за 200 рублей?

Обычно все соглашались. Но Татьяну Борисовну просьба повергла в смущение.

– Но это... Это...

Я подумала, что ее не устраивает цена. Но женщину смущало другое.

– Но это... можно, конечно. Но ведь это надо, чтобы не отравить...

Я потеряла дар речи. Трубка сама собой нажалась на рычаг.

Еще одна Нина Васильевна. Суматошная, заполошная женщина.

– Я буфетчица (то ли посудомойка) в оперном театре. Меня тут все знают. Ко мне все за билетами приходят. Но зарплата маленькая, всего 300 рублей. Я могу быть у вас и час, и два, сколько захотите...

Об оплате даже не спросила. Я вспомнила по аналогии пьяницу Любу и на всякий случай закинула удочку:

– Вы знаете, предыдущая наша сиделка оказалась пьющей. Вы извините, что я Вас об этом спрашиваю, я вовсе не хочу вас обидеть подозрением, но у Вас такой веселый голос... (Смехом я пыталась сгладить неловкость, готовясь перевести все в шутку. Но оказалось, что попала в точку).

– А что здесь такого? – обиделась буфетчица. – Ну выпили мы сегодня с приятельницей бутылочку красненького на двоих. Сегодня, между прочим, день торгового работника! – с вызовом заявила она.

– С чем я Вас и поздравляю.

Ольга Львовна. Деловая, четкая старушка. Как оказалось, совершенная сумасшедшая.

– Я звоню по поводу работы. В центре? Прекрасно. Я сама живу в центре. Почему бы и не посидеть с больным человеком?

– Но здесь надо вовсе не сидеть. (Перечисляю все, что нужно делать.)

– Ну что ж. Милая моя! Нашли чем испугать. Да мы войну прошли, и не такие трудности вынесли. (Следует длинный обстоятельный рассказ, который прервать невозможно. При этом она почему-то упорно говорит о себе «мы». Выясняется, что работу она ищет не для себя.)

– Я звоню от имени подруги. Это она мне Ваш телефон дала из газеты. Мне-то это не надо, меня сын кормит.

– Почему же подруга сама не позвонила?

– У нее телефона нет. Я за нее. Когда можно с Вами встретиться? Мы придем вместе.

– Но я хотела бы сначала с ней самой поговорить.

– Вот и скажите адрес, куда прийти. Мы Вас не съедим. Мы люди честные, ничего у Вас не возьмем. Если у вас ковер какой – мы его не тронем.

– Спасибо. Но пусть позвонит все-таки сама подруга, если она хочет работать.

Звонок на другой день. Слегка обескураженный голос Ольги Львовны. Оказывается, подруга не очень-то и хочет. Но упорная старушка не хочет отступать и требует личной встречи.

– Но зачем? – отбиваюсь я.

– Вам же нужна сиделка? Я хочу Вам помочь... Где Вы живете? У меня там полгорода знакомых. Да я и сама в конце концов... Я еще живая. Что Вы меня хороните! – воскликнула она возмущенно.

– Я?! Помилуйте...

– Давайте встретимся! Чего Вы боитесь? Мы люди честные. Говорите время и место. Вы посмотрите на меня, я на Вас. Я буду в бордовой кофточке... (Она с увлечением описывает свой наряд и макияж).

Я тихонько опустила трубку. Еще звонок. Молодой, бодрый, жизнерадостный голос:

– Я по объявлению. Я уже не помню, кто-то вам там требуется... Работа на один час в день? О, да это подарок судьбы! В центре? Мечта, а не работа! «Прекрасно, замечательно», – звучало на все мои условия.

– Так Вы согласны? – обрадовалась я.

– Не, не согласна, – засмеялась трубка. Юмористка.

Эпопея с телефонными звонками длилась до поздней ночи. Казалось, еще немного – и мне самой уже понадобится сиделка.

Псевдонимы

Не люблю даже само это слово, в котором так явственно слышится «псевдо» и «мнимо», то есть нечто противоположное подлинному, настоящему. (Помните, чиновника Пселдонимова из «Скверного анекдота»? У Достоевского не бывает случайных фамилий). Берут псевдонимы обычно по следующим причинам: из желания называться более благозвучно, из трусости, для «конспирации», чтобы избежать возможной расплаты за написанное или когда текст таков, что его стыдно подписать своим именем. Нередко все эти причины совпадают. Впрочем, не всегда. Ахматова, например, очень чутко реагировала на неблагозвучную фамилию. Говорила: «Роберт Рождественский – невозможное сочетание. Писатель должен иметь ухо, на то и существуют псевдонимы!» Рождественский ее не послушал, и от этого ничуть не пострадал. Читатель быстро привыкает к любой фамилии, были бы стихи хорошие. Кто сейчас ассоциирует Пушкина с пушкой или пушком? И в голову никому не придет. У А. Кушнера есть замечательное стихотворение на эту тему:

С какой-нибудь самой нелепой
Фамилией новый поэт
Приходит, уж лучше б Мазепой
Он звался, чем Блок или Фет,
Но стерпится – слюбится... Музе
Не хочется баловать нас.
Она в своем праве и вкусе
Земной не расслышать заказ.

Б. Слуцкий советовал поэту Григорию Глузману: «У Вас хорошие стихи, но если Вы хотите стать поэтом, надо взять псевдоним. Место русского поэта с еврейской фамилией уже занято А. Кушнером». Кушнер, кстати, вспоминал, что и ему Слуцкий при первом знакомстве рекомендовал взять псевдоним: «Иначе Вы всю жизнь будете играть без ферзя». «Слава Богу, я не послушался, – пишет Кушнер, – в русской поэзии немало неблагозвучных имен, фамилия Слуцкий тоже не радуется чуткий слух негодяя».

Многие поэты с еврейскими фамилиями брали русский псевдоним из страха перед такими «негодьями», не дававшими ходу подобным авторам. Так, Татьяна Галушко, например, раньше носила фамилию Баунер. Неизвестно, как сложилась бы поэтическая судьба Фета, если б он не скрывал свои еврейские корни. Во всяком случае, поклонников бы у него явно поубавилось. А Ахматова? Была бы она так же любима поколениями, если бы в ее имени не звучало этого величественного «ах!», как бы вместившего в себя все будущие восторженные читательские «ахи»? Скромное непрезентабельное «Горенко» вряд ли бы способствовало ее славе.

А если бы, скажем, Павел Шаров был бы не Шаров, а Шариков? При всем уважении к его стихам, думаю, что добиться серьезного отношения читательской публики ему было бы намного сложнее.

И все же – честь и хвала всем поэтам, которые не боятся зваться своими именами, какими бы смешными и некрасивыми на слух они ни были, своими творениями заставляя нас услышать в них совсем иные созвучия.

А все эти Ядвиги Залесские, Таволгины, Саши Аи, Ромулы Л'Ээли, графы Этеры де Паньи своей нестерпимой пошлой красотостью имен не способны прикрыть ничтожества того, что они пишут. «Что позолочено – сотрется. Свиная кожа остается».

Р. С. Должна признаться, что носителей двух последних псевдонимов я сгоряча приплюсовала «до кучи», их произведений я не читала. Написала, а потом засомневалась: а вдруг у них как раз хорошие стихи? Решила удостовериться, и, если стихи не соответствуют псевдониму – эти имена из текста вычеркнуть.

Как-то по телефону с Л. Чирковой зашел разговор об упомянутом Ромуле Л'Ээле. (Черт его знает, как это пишется). Спрашиваю Любу, есть ли у него книга. Оказывается, книги нет, ни одной.

– А как у него вообще стихи? Ты читала?

– Никогда не читала. По-моему, у него нет стихов.

– Так он что, прозу пишет?

– И прозы не пишет.

Я была озадачена.

– Что же он в таком случае подписывает своим грандиозным псевдонимом?

– А ничего не подписывает. Он так с ним ходит. Представляется им просто.

Я после этого разговора хохотала, наверное, с полчаса. А потом подумала: нет, что-то во всем этом есть. Псевдоним ради псевдонима. Почему бы и нет? Существует же понятие «искусство для искусства». Довершал комизм ситуации тот факт, что Ромул Л'Эль работал грузчиком на Жиркомбинате, и сочетание изысканного псевдонима с грубой сермяжной правдой профессии придавало харизме ничего-не-пишущего поэта особую пикантность.

Вспомнилось к слову, как Чехов шутил по поводу декадентов: «Какие это декаденты, это молодцы из арестантских рот! И не верьте, что у них ноги бледные: ноги у них нормальные и волосатые».

РАДИОПЕРЛЫ или НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

Хотели как лучше...

Утром (22 ноября 2003 года) по саратовскому радио – беседа Липатовой с Аяцковым. Образная колоритная речь губернатора меня часто заставляет вспомнить нашего знаменитого «языковеда» В. Черномырдина с его бессмертным «хотели, как лучше, а получилось, как всегда». («У меня к русскому языку вопросов нет!») – однажды заявил он в ответ на какую-то язвительную реплику Явлинского. – «Но у него к Вам есть», – резонно возразил тот). Я думаю, к Аяцкову у русского языка вопросов – будь он в состоянии их предъявить – было бы не меньше. Когда по радио звучит эта еженедельная субботняя передача, я не могу удержаться, чтобы не записать какие-то уникальные фразы.

Вот радиослушательница интересуется, как губернатор относится к листовкам ниспровергавшего его Мальцева («Долой Аяцкова! Сделаю все, чтобы его не избрали!» и т. д.) Аяцков ей отвечает: «Есть люди, которые не гнушаются никакими принципами». Жалко, Виктор Степанович не слышал, вот бы порадовался: достойный преемник растет. А вот аяцковская реплика о Путине: «Вы знаете, у президента очень красивая душа. Он очень развит». (Не по годам?) Я бы сказала, что наш областной руководитель развит ничуть не меньше. Вспомним хотя бы его знаменитую «Альма-матерь» или коронную фразу, облетевшую весь мир: «Я завидую Монике Левински». Учредить бы премию имени Черномырдина и награждать ею за подобные «перлы».

Что называют мозгом?

По местному радио читают рассказ местного писателя. Рассказ на деревенскую тему о каком-то сельском жителе. Я особенно не прислушивалась, но одна фраза меня так поразила, что я запомнила ее, даже не записывая: «Жгучая, как тигровая мазь, мысль прожгла ему то, что медики называют мозгом». Это без тени юмора. А «не медики» как «это» называют? – подумала я. Как-то по-другому? Впрочем, я бы в данном случае «это» мозгом тоже не назвала. (То, что породило этот рассказ). Л. Чиркова, с которой мы прощались в прихожей, услышав эту фразу, застыла на пороге. «Тигровой мазью мажут поясницу, а не мозг!» – авторитетно заявила она. Вот именно.

Забавный Достоевский

Вспоминается эпизод из фильма «Москва слезам не верит»: героиня Муравьевой учила провинциальную подругу, как произвести впечатление на столичных женихов. Та робела: «Боюсь какую-нибудь глупость ляпнуть». «Ляпай, – разрешила подруга. – Но! – Ляпай уверенно! Тогда это называется точка зрения». Я вспомнила это, когда услышала выступление Е. Мартыновой по местному радио в предновогодней передаче. Та в качестве итогов 2003 года важно назвала защиту диссертации «по языку Набокова».

– Набоков – Ваш любимый писатель? – осведомилась ведущая.

– Скорее, родной и привычный, – небрежно бросила филологиня. – А раньше я очень любила Достоевского.

Сообразив, что тематика книг Достоевского не очень подходит к мажорной новогодней передаче, мгновенно сориентировалась:

– Достоевский – это карнавальный писатель. В нем много забавного и смешного.

Видимо, поняв по лицу ведущей, что сморозила что-то не то, «ляпнула уверенно» (прямо по рецепту Муравьевой):

– Я понимаю, что эта точка зрения расходится с общепринятой. Принято считать, что Достоевский – мрачный писатель. Но я лично отдыхаю, когда его читаю.

Да, такого я еще не слышала. Когда в «Рекламе недели» помещают объявления на мои лекции, даже на такие явно не «легковесные» темы, как Заболоцкий, Поплавский, Ходасевич, Лорка в рубрике «Где отдохнуть», я внутренне морщусь и передергиваюсь, но терплю, ибо лучше хоть такая информация, чем никакой. Что, однако, вызывало разочарование некоторых слушателей, любителей именно «отдохнуть», а вместо развлечения попадавших в атмосферу серьезной поэзии. Ибо «отдохнуть» на моих лекциях весьма проблематично, там нужна напряженная работа мысли и души. «Душа обязана трудиться», как известно. Но отдыхать на Достоевском... Это уж новоиспеченная кандидатка наук переоригинальничала, переборщила в дешевом своем снобизме. Сказано явно было «на публику», кто, дескать, после сих слов усомнится, что она настолько «своя» в дебрях высокого искусства, – сам Достоевский ей – семечки.

Что, однако, далеко не так. Я еще не забыла, как в другой передаче, несколько месяцев назад, та же Мартынова на вопрос, почему она ходит в литобъединения Корнилова и Куракина, так же «уверенно лягнула»: «Потому что надо же – как говорила Сонечка Мармеладова – куда-нибудь пойти человеку!» «Помилуйте! Это говорила не Сонечка, а ее отец Мармеладов («и отсюда – питейное»), Сонечка же ходила совсем в другие места, отнюдь литстудии не напоминавшие. Как-то в разговоре я высмеяла этот ее ответ, не придав, впрочем, ему серьезного значения, ну, оговорилась женщина, с кем не бывает. Каково же было мое изумление, когда Мартынова, которой этот мой смех передали, продолжала упорствовать на своем и утверждать, что Сонечка говорила именно это. Да, вот такие знания остаются в голове, когда на классике легкомысленно «отдыхают».

ИРОНИЗМЫ

Русские идут

Была когда-то такая незамысловатая песенка: «Русская тройка, русский простор, русская стройка, русский узор...» И так далее, до бесконечности. Эти дурацкие куплеты невольно приходят на память, когда встречаешь участвовавшие в последнее время названия опусов или книг саратовских авторов: «Русский вопрос», «Русский день», «Русский бал», «Русское небо».

«Я из чаши восторгов испил, испытал русофильскую негу...»

«Люд ты мой русский...»

«Небо тревожное, русье...»

«Я сын отца. Я русский слишком...»

«Когда в российские просторы прихлынет русская беда...»

«Любовь на века, и русская дань светлой грусти...»

Шовинистический угар охватил даже... торговцев презервативами. На витрине одной из аптек красуется всем известное резиновое изделие под гордым и несколько двусмысленным названием: «Русский размер». Вот теперь понятно, что это значит – «любить по-русски».

Фаллическая тема

Мужу звонит старый друг К. Давид извиняется, что не может долго говорить:

– У меня тут уют стоит.

К., задумчиво:

– Это хорошо... Что хоть уют стоит. У меня вот уже ничего не стоит.

Вспомнилось выражение В. Соловьева о Бродском, который в первые 2-3 года в США был одинок, неприкаян и «писбл стоячим». Когда-то писали пресловутой кровью сердца. Потом Б. Поплавский в своем дневнике «расширил» диапазон писательских средств: «Пиши животнo, салом, калом, спермой, самым мазаньем тела по жизни», – призывал он к новому виду искусства. (Попыталась представить себе подобное творение – бр-р-р!)

Еще цитата на ту же щекотливую тему. Давид сохранил вирши одного юного поклонника своей бывшей жены, который клялся ей в вечной любви, невзирая на отсутствие взаимности: «Но с этим я не примирюсь. Навек останусь я стоячим!» (в смысле стойким). «Это написано стоячим», – заметила я, когда Давид мне, давась от смеха, их прочел.

Критик Михаил Золотоносов глубокомысленно заявил в одной из статей: «Мандельштам как поэт слишком фалличен...» А. Кушнер в книге «Волна и камень» над ним иронизирует: «Интересно, Пушкин тоже «фалличен» или не слишком? А Блок, Маяковский?»

Платная журналистка

Звонит журналистка, которая была на моих лекциях и на творческом вечере. Говорит, что я ее покорила и что она хочет обо мне написать.

– Но у нас газета («Совфакс») – платная. Если бы Вы мне заплатили, я бы о Вас написала 150 строк.

С негодованием отказываюсь, возмущаюсь цинизмом подобного торга. Журналистка увещевает:

– Но ведь об этом будем знать только Вы и я...

Настаивает, просит.

– Если бы я о Вас написала, я бы Вас так вознесла, на такую высоту подняла, так о Вас никто никогда не напишет... Если бы Вы только мне о себе рассказали...

Спрашивает, сколько лет я читаю лекции. Я рассказываю, как впервые публично рассказала в Саратове о Галиче, Бродском, Солженицине, Парнок, когда о них еще говорить запрещалось.

– Подождите, я запишу. Как Вы сказали? Галичев?

Я столбенею. Спрашиваю:

– Скажите, а с других, с Кековой например, ваша газета тоже берет деньги?

– А кто это?

– Так. Все ясно. Я прошу Вас обо мне не писать, хорошо? Даже бесплатно.

В качестве постскриптума: прозаик Андрей Яхонтов вспоминал, как ему позвонили из «Книжного обозрения» и спросили, хочет ли он, чтоб его книга «Коллекционер жизни» была признана в рейтинге этой газетой лучшей книгой года. Он не стал лукавить и сказал: хочу. Тут же была озвучена сумма, в которую оценивалось столь высокое признание литературных заслуг. Он платить отказался. Тогда уже в следующем номере газеты книга была названа худшей книгой года. Вот так просты и незатейливы критерии оценок в нынешнем литературном мире. Так что не удивлюсь, если в скором времени обо мне появится «ругательная» статья той же журналистки, если кто-то из моих недоброжелателей догадается ей за это заплатить.

САМОИРОНИЗМЫ

Я, любуясь на экране певицей Валерией, Давиду:

– Когда я на нее смотрю, мысленно клянусь с завтрашнего дня заниматься зарядкой, не есть сладкого, бегать, худеть... Такой мощный стимул у меня, глядя на нее, для всего этого появляется!

Давил, деловито:

– Завтра же куплю тебе видеокассету с ее концертом.

Я, осознав, чем мне это грозит:

– Ну, это уже садизм.

* * *

Я, вспомнив С. Гандлевского («Это яблоко? Нет, это облако...»), спрашиваю Давида:

– Я для тебя кто – яблоко или облако?

(Перед этим кто-то из моих слушателей написал мне на брошюре с программой «Яблока»: «Вы не яблоко, а облако»).

– Ты не яблоко, и не облако. Ты – обло.

– ?!

– «Чудище обло, стозевно и лайй!».

– Сам ты «лайй!»!

Тут Линда присоединяет к нашим голосам свой визгливый «лайй», как бы заступившись за меня в этом наглom поклепе.

* * *

На вечере, посвященном Б. Рыжему, что-то видимо произошло с моей внешностью, ибо слушатели отмечали не только новизну материала и эмоциональность его подачи, но и... мою красоту. «Какая красавица!» – услышала я краем уха от одной старушки. «Ну, может быть, с высоты ее 80-ти...» – подумала я. Или освещение было плохое? «Она, наверное, актриса. Ну что вы мне говорите, это актриса!» – спорила с кем-то другая. Я невольно оглянулась: про кого это? Но говорили про меня.

Ольга Скотникова, с которой мы вместе учились, позвонила после вечера: «Ты что, подтяжку сделала?» Я чуть не упала: «Я?!» Оказывается, ее сестре что-то такое показалось. Это было какое-то коллективное наваждение.

Дома долго разглядывала себя в зеркале: все как всегда. А потом вспомнила, как Татьяна Догилева рассказывала по ТВ, что увидела в какой-то сцене Е. Майорову и была так поражена ее лицом, что решила: она что-то с собой сделала. Зашла к ней в примерку: «Нет. Обычная Лена». И поняла: это – вдохновение.

Наверное, и меня оно на какой-то миг преобразило. Из чего вывод: надо по возможности казаться такой всегда. Что невозможно.

РАЗГОВОРЧИКИ

Грубый попугай

Из разговора с Олесей:

Я: – Научился ваш попугай говорить?

О: – Нет. Мы на своем языке говорим, он – на своем.

Поясняет:

– Начнем с Леной ругаться, а он тоже ругается по-своему.

– Откуда же ты знаешь, что ругается?

– Ну... Чирикает грубо.

Танки

Давид читает японские стихи.

– Подумаешь, танка! Я тоже могу такую танку сочинить.

И с ходу выдает:

Глаза твои – небо.

Без дна... и покрышки.

Люблю тебя страстно...

Мешает одышка.

Да, такой танкой, как танком, задавить можно насмерть.

Скажи спасибо, что живой

Идем с Давидом по городу, читаем невразумительные надписи на рекламных щитах, заполонивших улицы: «Входящие – бесплатно! Теперь уже навсегда!», «Связь в большом городе», «Единство стиля», «Удаляем большие цены. Эльдорадо»...

Я: – Как они захлестили город этими бессмысленными лозунгами! Ну что это значит? «Ари100крат в русском стиле». А это: «Японский генерал у вас на службе». То ли дело раньше писали, четко, ясно: «Слава КПСС!», «Миру – мир!», «Дело Ленина живет и побеждает»...

Давид ностальгически подхватывает:

– Нынешнее поколение будет жить при коммунизме!

Я: – Нет, этого уже не напишут. Разве только так: «Нынешнее поколение будет жить».

Давид уточняет:

– И вопросительный знак в конце.

Суета сует

Давид решил читать Библию. Просил не тревожить.

– Давид, включи «Пока все дома».

Он, строго:

– Это суетная передача.

Эротические ножки

Разговор об Абраме Терце, «Прогулках с Пушкиным». В частности, о его знаменитой фразе: «Пушкин на тонких эротических ножках вбежал в литературу», наделавшей в свое время столько шуму.

Пашка, задумчиво:

– У меня вот тоже тонкие эротические ножки. И что?

Расцвет или закат?

Саратовская журналистка в интервью с каким-то престарелым деятелем в ответ на его реплику, что ему уже 75 лет, неуклюже льстит:

– Ну, для мужчины это расцвет!

(Что же тогда закат, спрашивается?)

В тот же день Путин поздравляет по ТВ патриарха с 75-летием. Тот шутит:

– В таком возрасте уже не поздравлять надо, а сочувствовать!

Собачьи поэты

Линда, пропадавшая где-то полдня, твякнула за дверью, извещая о своем прибытии. Я впустила ее. Шумно дыша, псина бросилась к чашке с водой, долго и жадно пила. Потом брякнулась на свой коврик и «отрубилась». Спала она беспокойно, взвизгивая и постанывая во сне. Мы с Давидом с интересом наблюдали. Я:

– Где была, что с ней приключилось, кого видела во сне – мы об этом никогда не узнаем. А ведь ей, наверное, хочется рассказать, поделиться впечатлениями...

– Ничего ей не хочется, – сказал скептически настроенный Давид. – Она и разговаривать бы с нами не стала. У нее там свои дела, свой круг общения.

– Не скажи, – защищала я Линду, вернее, наше собачье-человечье родство душ. – И за что Бог так наказал собак? Ни пооткровенничать, ни поплакаться, ни мыслями поделиться... А ведь у них тоже, наверное, есть что сказать миру. Может, даже среди них свои поэты, философы есть... Только мы об этом не знаем.

– Еще среди собак поэтов не доставало! – в сердцах затронул муж болезненную тему. – Их среди людей-то – как собак нерезаных...

Ты жива еще?

Давид, вернувшись из «рейда» по книжным магазинам, рассказывает, как девчонка в «Читающем Саратове» сидела на корточках и читала мою «Будьте Вы благословенны».

– У меня денег нет купить. Я прихожу сюда и читаю.

Из разговора обо мне с другой читательницей, в Доме книги:

– А когда она жила? Она жива?!

ДНЕВНИКОВИНКИ

* * *

Меня пригласили в 41 школу на встречу со старшеклассниками. Предупредили, что хотят провести её «в форме диалога». Я подумала, что это обычная форма вопросов-ответов, но оказалось, что под диалогом подразумевалось обоюдное чтение стихов. Я им – свои, они мне – мои же, но выбранные по собственному вкусу. Учителя в этом выборе не принимали никакого участия. Было любопытно слушать свои строки в ребячем исполнении, их интерпретацию, понимание смысла того или иного стиха. Вот что запомнилось.

Девочка читает:

Страны и дома добровольный пленник,
Гляжу в окно на сцену бытия,
На тот спектакль, что без копейки денег
Дает сегодня улица моя.

Говорит, что когда его прочла, подошла к окну и стала смотреть из него во двор уже не просто так, как раньше, а «совсем другими глазами».

– Я увидела, что все люди, прохожие – это действительно «народные артисты», и вся жизнь – как театр, мне стало так интересно наблюдать эту жизнь из окна.

Другая выбрала стихотворение:

Свидетели были у нашей разлуки:
Луна и ее поднебесные слуги,
Ночной переулочек, безлюден и мглист,
И с дерева рвавшийся в прошлое лист.
Ничто не запомнило мертвое место.
Теперь тут другие жених и невеста.
И вывески те же, и тот же фонарь,
Но нету там нас – не ищи и не шарь.

Любопытствует: «А что Вы конкретно имели в виду, когда писали это стихотворение? С каким событием Вашей жизни оно связано?»

Только дети могут задавать такие «любовые» вопросы. Такой, например: «А Вам когда-нибудь хотелось полетать верхом на Пегасе?»

Особенно активна была одна девочка, я даже запомнила ее необычное имя: Эсмирь. Она сидела на 1 ряду и не сводила с меня глаз. Прочла уйму моих стихов, делилась мыслями по поводу прочитанного, постоянно тянула руку. Видя такой живой интерес, я спросила, не пишет ли она сама. Ответ меня умилил:

– Я пробовала писать стихи, – сказала Эсмирь. – Но я... как-то стесняюсь их писать. Я лучше люблю читать их.

Мне подумалось, что из этой девочки скорее может получиться поэт, чем из признанных школьных виршеплетов, привычно срывающих аплодисменты на классных утренниках и районных смотрах.

В конце вечера дети преподнесли мне огромную, как пальма, розу со словами, которые меня растрогали и рассмешили: «Спасибо Вам за Вашу чувственность и доброту!»

* * *

Учительница литературы 9-х классов, которая пригласила меня на встречу с учениками, сказала в конце вечера, что представляла меня совсем другой, что ее поразил контраст между моим «лучезарным обликом – и стихами».

– Я, наверное, слишком много прочитала Ваших мрачных стихов, – виновато сказала она.

Инна Лиснянская написала мне в письме, что я «непохожа на свои стихи». «Вы не одиноки, как в своих стихах, активны, живете общественной жизнью». Я задумалась. А кто, собственно, похож? Ахматова, Пастернак, Блок, Есенин, Бродский... Их внешний облик органично вписался в характер их поэзии, удачно гармонирует с ней. А вот, скажем, Фет? Он был мрачным ипохондрикком в жизни, с дурной психической наследственностью, жил на грани самоубийства, а в стихах – ощущение счастья. Я. Полонский писал ему: «По твоим стихам невозможно написать твою автобиографию».

А Цветаева? Крупная, круглощекая, страдавшая от своего крепкого здорового вида, изнурявшая себя многочасовой ходьбой и курением, чтобы хоть немного походить на поэта в привычном нам образе и понимании. «Юноша бледный со взором горящим...» Пытаюсь вспомнить среди поэтов таких юношей. Ходасевич? Гм-м. «Разве мама любила такого?» Да и не только мама. «Змееныш», – называла его Цветаева в письмах Бахраху.

Чичибабин с его лицом русского мужика? Заболоцкий с обликом рядового бухгалтера? Но кому сейчас до этого дело? Неважно, в каком «сосуде» мерцает огонь. Было бы у чего погреться.

* * *

Нашему соседу С. К. Немцу поручили сделать доклад в мэрии для конференции, посвященной проблемам отстрела собак. Тема: «Нравственные аспекты убийства животных». Когда он мне это сообщил по телефону, я подумала, что ослышалась:

– Может быть, «безнравственные»?

Нет-нет, именно так. Жуткий смысл убийственного названия Сергея Клавдиевича почему-то не смущал. Он с жаром взялся за дело. А звонил он мне потому, что случайно в поисках литературы натолкнулся в Доме книги на мой последний сборник «По горячим следам», в частности, на эссе «...тем больше люблю собак».

– Большое Вам спасибо за эту статью, она мне здорово помогла.

Сергей Клавдиевич проштудировал целую кипу книг о животных, выучил наизусть мое стихотворение «Собачники приехали во вторник...», подготовился на ура. Но слова на конференции ему не дали. «Было не до того».

* * *

Одна моя читательница как-то написала мне в письме, что читает мои стихи в трамвае по дороге на работу, из-за чего 40 минут пролетает незаметно и путь кажется короче. Я помню, тогда неблагодарно подумала: вот если бы она проехала свою остановку, читая мои стихи, тогда – да... И вот недавно это мое каверзное желание осуществилось. Журналист и историк Ю. Епанчин, постоянный посетитель моих вечеров, вынужден был уходить с них на полчаса раньше, так как иначе не успевал на электричку. На заключительном творческом вечере я попросила его пересест с первых рядов поближе к задней двери, чтобы его преждевременный уход не был замечен, не спровоцировал кого-то еще. Он заупрямился, не пересел. На другой день звонит, выражает свой восторг.

– До какого часа просидели? – спрашиваю.

– До конца.

– А электричка?!

– Я опоздал на электричку. Забыл про нее. Я просто обалдел. (Это было искренно).

На том же вечере произошел еще один забавный эпизод. Подошла старушка лет 80-ти – моя однофамилица, которая раньше допытывалась у меня, нет ли у меня в Энгельсе и в Ростове родственников Кравченко. Пришлось ее разочаровать. В конце вечера к моему столу потянулись с букетами – розы, гвоздики, хризантемы, нарциссы, ирисы... И гляжу – моя старушка, торжественно держа в руке сиротливый садовый цветочек: «Это Вам от всех наших Кравченко! Вы нам теперь как родная!» Это было так трогательно, что я ее расцеловала.

Другая старушка, Вера Николаевна Устина, не смогла прийти на вечер, но прислала мне на него свою чудесную аппликацию бабочек. Мы поставили это панно рядом с моими книжками, и все подходили и спрашивали, сколько это стоит, хотели купить. Сейчас эти бабочки украшают стенку моего книжного шкафа. А позже эта же Вера Николаевна своими золотыми руками умелицы составила для меня уникальный зимний букет (она биолог) из редких растений и листьев, который был так огромен и пышен, что я не смогла его увезти и оставила в библиотеке. Водруженный в красивую напольную вазу, он служит теперь украшением читального зала.

Вообще подарки моих читателей и слушателей бывают порой весьма неожиданны и оригинальны. Римма Васильевна Красовская, например, привезла на первый вечер нового цикла (до этого она знала меня лишь по книгам) варенье из лепестков роз, считая, видимо, что поэту пристало питаться лишь амброзией, и эту «пищу богов» мы с Давидом с наслаждением вкушали вечером за чаем. А Галина Константиновна Семенова подарила забавную куклу с волосами и прической, похожими на мои. Ее имя Анна на коробочке было зачеркнуто и поверх него написано: «Маленькая Наташенька». Потом она мне рассказала по телефону, как долго искала по магазинам куклу с моим именем и не нашла, но придумала вот такой выход.

Нина Константиновна Думова на вечере Северянина подарила мне «ананасы в шампанском» (ананасы – консервированные, а шампанское – игрушечное, елочное, из шоколада), а на вечере Лорки – тоже символичный подарок – банку испанских маслин. Николай Васильевич Косолапов принес целый мешок яблок – мы еле его донесли. Собственно, эти яблоки он вез к себе с дачи, но по пути заглянул в библиотеку, заинтересовался темой вечера, остался и... в результате яблоки были преподнесены мне. С тех пор Николай Васильевич не пропустил ни одного вечера, причем перед каждым из них он мне вручает письменный отзыв о предыдущем. Купил все мои книжки, но прочел пока только «Собачью жизнь»: «Я думал, я только один такой ненормальный...» На день святого Валентина подарил мне три шоколадки.

– Сегодня такой день, что я Вас имею право поздравить.

– Вы меня имеете право поздравить в любой день.

На последнем – творческом – вечере подарков и цветов было столько, что унести все мы смогли, лишь утрамбовав в гитарный чехол. Косолапов ждал нас на улице целый час под проливным дождем. «Я подумал, может быть, помочь донести что-нибудь надо...» Проводил нас до остановки.

– Как поспеют яблоки – позвоню!

А Оля Борисова подарила роскошное издание «Жизнеописания и труды подвижников» с вложенной в него запиской: «Спасибо, Наташа! Здоровья, творчества, работы! А с любовью у Вас все в порядке».

СОДЕРЖАНИЕ

АНГЕЛЫ АДА (заметки об одиозной поэзии).....	5
1. «Грешен не так как вы – иначе»	6
2. «Стихи с истерзанными лицами»	52
3. «Тут конец перспективы»	86
4. «Он умер, но мелодия осталась»	115
5. «Тёмен жребий русского поэта»	129
6. «Счастлив, кто падает вниз головой»	152
7. «Мы останемся смятым окурком, плевком»	171
ГАРМОНИЯ НАД БЕЗДНОЙ (о поэзии Ларисы Миллер)	181
«ПО ЗДЕШНЕМУ СЧАСТЬЮ СПЕЦИАЛИСТ» (об Александре Кушнере)	206
ПЛАТЬЕ ГОЛОГО КОРОЛЯ (о псевдопоэзии)	
1. Искусство тотального приколлизма.....	245
2. Бредит сивая кобыла.....	257
3. Мёртвая вода	263
4. Эксперименты и экскременты	265
СВОРА или ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПОДЛОСТИ (о псевдонимах и анонимах).....	272
«ПАКОСТНАЯ» ГАЗЕТА	
1. Сталиниана (повествование в стихах и документах).....	297
2. Пятый пунктик	306
«НЕ ПРОШЛО И ПЯТНАДЦАТИ ЛЕТ» (заметки о концерте А. Дольского в Саратове)	311
НАБРОСКИ, ЗАРИСОВКИ, ШТРИХИ	
Зависть богов.....	321
Золушка, не ставшая принцессой	322
Вяз-самоубийца.....	324
Дар или удар?	326
Сиделки.....	327
Псевдонимы.....	332
РАДИОПЕРЛЫ или НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ	
Хотели как лучше	335
Что называть мозгом?.....	335
Забавный Достоевский	335

ИРОНИЗМЫ

Русские идут.....	337
Фаллическая тема	337
Платная журналистка	338

САМОИРОНИЗМЫ..... 339

РАЗГОВОРЧИКИ

Грубый попугай	340
Танки	340
Скажи спасибо, что живой.....	340
Суета сует	340
Эротические ножки	340
Расцвет или закат	341
Собачьи поэты.....	341
Ты жива ещё?	341

ДНЕВНИКОВИНКИ..... 342

Наталья Кравченко

Ангелы ада

Оригинал-макет подготовлен И. Ульяновой

Подписано в печать 1.10.2004. Формат 60 x 84 ¹/₁₆
Бумага офсетная № 1. Гарнитура школьная. Усл.-печ. л. 20.

Приволжское книжное издательство
г. Саратов, ул. Вольская, д. 58